



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года  
САРАТОВ

*11-12 (459)*

---

*2015*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<b>Василий Бородин.</b> Стихи 2015 года.....	3
<b>Валерия Макарова.</b> Мишенька. <i>Рассказ</i> .....	8
<b>Александр Авербух.</b> на солнце красном большом. <i>Стихи</i> .....	22
<b>Андрей Краснящих.</b> О них – о сторожах. ( <i>Глава из романа «О себе»</i> ).....	27
<b>Андрей Пермяков.</b> Стихи для Жени Коробковой.....	32
<b>Анна Останина.</b> Как поймать стрижа. <i>Рассказ</i> .....	38
<b>Ольга Брагина.</b> «эти бедные сироты дети “Сайгона”...» и др. <i>стихи</i> .....	44
<b>Дмитрий Калмыков.</b> Зов глубин. <i>Рассказ</i> .....	49
<b>Александр Мурашов.</b> Двойной человек. Исполнитель. <i>Рассказы</i> .....	61
<b>Владимир Тучков.</b> «усталая женщина...» и др. <i>стихи</i> .....	70
<b>Татьяна Грауз.</b> Литании августа.....	73
<b>Алексей Александров.</b> «По ошибке залетев, ракета...» и др. <i>стихи</i> .....	76

### ДЕБЮТ

<b>Владимир Панкратов.</b> Шестое января, вторник. <i>Рассказ</i> .....	81
---	----

### ПУТЕШЕСТВИЕ

<b>Михаил Бару.</b> Второй сон Любви Александровны.....	94
---	----

### ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

<b>Алексей Голицын.</b> Между адским ветром и нетленным Лениным <i>Материалы к биографии Валентина Ярыгина</i> .....	156
---	-----

### СТРАНИЦЫ ВТОРОЙ КУЛЬТУРЫ: ИЗБРАННОЕ

<b>Олег Рогов.</b> Штрихи к теме: <i>О журнале «Контрапункт»</i> .....	172
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

<b>Марина Кузичева.</b> «В увеличительной линзе – вербное воскресенье...» <i>О стихах Татьяны Грауз</i> .....	179
<b>Андрей Пермяков.</b> Вычитание времени <i>Д. Тонконогов. Один к одному; А. Дьячков. Игра воды</i> .....	180
<b>Александр Котюсов.</b> Свадьбы может и не быть <i>Алиса Ганиева. Жених и невеста</i> .....	187
<b>Анна Сафронова.</b> Восхитительные зигзаги <i>Игорь Савельев. Зевс</i> .....	190

### КИНООБОЗРЕНИЕ

<b>Иван Козлов.</b> Сказки Энского леса <i>«Страшные сказки» (реж. Маттео Гарроне); «Багровый пик» (реж. Гильермо дель Торо); «Убийца» (реж. Хоу Сяосянь)</i> .....	194
--	-----

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2015 ГОД.....	196
-------------------------------------	-----

## Василий БОРОДИН

### СТИХИ 2015 ГОДА

\*\*\*

в земной темной многости занемочь  
от счастливой сплошности ты-следов  
разнемочь о зрячесть их, о «помочь»  
и пойти ведом  
а по водам водятся взрыв на взрыв:  
бу! – садятся утки так, на житьё  
приземляясь, сутки, гордясь навзрыд  
говорят: моё  
но та как бы даль, где излёт и взлёт –  
как бы позади, и у лап-корней  
зренья спотыкается бег – о лед  
с полднем в глубине

\*\*\*

и ровным и огромным  
дыханием храня  
гудит – как нитки к ромбам –  
вся вечность к нашим дням  
– всей стройностью потупясь  
и дни ей не хотят  
ни нитей этих путать  
ни видеть как летят –  
в небывшее! – сквозные  
как голуби тополям –  
короткие стальные  
дожди к полям и полям  
и немо к ночи – некой  
печалью узелка  
упавшего, как в реку,  
небесного клубка

\*\*\*

кто б стал столь действительно человек  
чтоб с собой поссорившись помирить

---

*Василий Бородин родился в 1982 году в Москве, работает редактором, иллюстрировал стихи и прозу. Автор пяти книг стихов. Лауреат премии Андрея Белого (2015).*

именно счастливою стороною  
глупость и отчаянье – тишиной  
мы пойдем на площадь нести своих  
заблуждений птиц больных отпускать –  
они преображаясь в слои-слои  
золотое облако будут ткать  
до свиданья, дробность! мы все одна  
робкая бесследность, старенье без  
становленья, чуткая ложь-вина,  
веки её, вес  
неподъемный взгляду прямому – так  
площадью сутулой пройдем в дожде  
и табак повиснет сверкнет пятак  
в скачущей воде  
тирания, мы тебя сберегли  
а тебя, любовь, продержали на  
хлебе и воде – и почти пришли  
и весна, весна

\*\*\*

по перекопанному двору  
голуби ходят и клюют  
длинные семена травы  
в дутую грудь поют:  
– я выбираю тебя среди  
голубок, ты стройна и горда;  
будем пить воду, наклонив  
головы, из разогретой лужи  
да, доживем до хлеба  
в рыхлом снегу,  
чёрствого белого хлеба  
на чёрном льду

\*\*\*

если умное сердце стучится лбом,  
сильное – кулаком, и, ага, потом  
по лбу себя, а тучи летят ползут,  
то утреннее просто гонит мазут  
...в стриженных кустах, то есть, броский синиц;  
белый шиповник – с красным, так и росли:  
в каждом цветке по кругу желтых ресниц  
шмель пробежал и мечется у земли  
а о дороге с ливнем и на воде  
золотых искрах, кивках листка  
над головой – не только молчишь везде,  
но и глядишь – оттуда, издалека

\*\*\*

бригадир дворников Роза курит стоит  
небо прекрасной грозой набухает врёт  
дождь перебежками над рекой внутренне горит  
винный пакет малиновый на траве  
круглою булкой чёрствой играет кот  
это подходит лето – и жизнь орёт  
на любой вопрос: «я же себя живу»  
дождь от реки ходулями к нам и вдаль  
лёгкое солнце – робко так – на траву  
тень дерева кладёт, улыбаясь, как  
раненому – сестра; тень листвы быстра  
искрой течёт на вдохе жжётся табак

\*\*\*

1  
Жорж де ла Тур  
дружит с дрожью свечи  
и еще с тремя пользователями;  
включи,  
что ли, колбнки  
или воткни,  
что ли, наушники;  
эти дни  
тянутся, как чёрный провод,  
но там –  
музыка вертикалей,  
хоровых перемен  
нет, там сирена Летов:  
туман  
туман

2  
режем яблоки: на четыре  
дольки каждое, вынимаем  
середины, там семена  
в прилипающих к нёбу лунках  
чистим морковь, и запах  
земли похож  
то на звон чугуна, то на дождь

\*\*\*

кто лёг спать сейчас  
лёг и лёг  
лёг как чёрный пакет, кулёк

полетал полетал и лёг  
дышит выше  
полузрячих ветвей, слёзных звёзд  
отправляешь ночь каждый вечер  
новым письмом  
но она приходит и так

\*\*\*

дотянуть тень колючки до  
дальнего камня, там  
скоро деревня, перья на голове  
у вождя, серьги жены:  
легкие две ракушки,  
белые: ослепили,  
обожгли пальцы – на берегу,  
десять лет назад

\*\*\*

землистый – ну не на себе  
показывать же – цвет  
земли – собравшийся из лет  
не надо объяснять:  
хороший, небидный цвет  
...у ёлки на корнях  
после дождя круглы ежом  
хвойные вóлны, и  
на ветках капли вертят свет:  
не надо объяснять  
хороший неприступный взгляд  
счастливый летний лёд

\*\*\*

за опилки в ходах короёда  
или тромбы в прожилках листка  
пьёт Долгов кипяченую воду  
сколы накипи держит в руках  
за малинник: гнездо-корзинка  
ночью, в костяном феврале  
вздвогнув слётком, колет глазами  
дышит в снег и летит к земле

\*\*\*

кажется я  
существую огни в метро  
запятая огни в метро  
кажется кажется меня гонят огни в метро  
вот и ты  
существуешь среди огней  
запятая огней в метро  
ясно что? ясно что тебя гонят огни в метро  
а вот было изгнание из Эдема и вот Адам  
Еве говорил: ладно, как получилось  
так получилось, я тебя не предаю  
поле после дождя блестит; была ярость, а будет милость  
зря ли я называл зверей: вол откликнется и пойдёт  
голову наклонив, а я скреплю плуг: вот верные  
две верёвки верблюжьей шерсти, и мы, наверное,  
через год первый раз спечём хлеб и под деревом посидим, гнездо упадёт  
успокоим как-то птенца – а там наши дети  
побегут-побегут погодки по полю – так  
сами годы будут бежать, плыть как лодки, сети  
с золотой чешуёю будущего тянуть а мы будем думать, что это так  
хорошо: без слов думать, что пришла старость  
можно никуда не смотреть  
вот закрыли глаза а там кружатся милость, ярость  
как большая листва в прощающем ноябре

## Валерия МАКАРОВА

### МИШЕНЬКА

#### *Рассказ*

Мух в сарае он морит газом.

Первая уже баламутит в гранёном стакане, что складывается из отражений зачаженного потолка, и стен, и скатерти, и больничной справки на ней, – вот последний водопой старой мухи, и потрёпанные крылья перестают вздрагивать. Все грани сжимает крепко-крепко одна рука: смуглая, костлявая, с суставами тугими, будто морские узлы, – отодвигает стакан и переворачивает справку на чистую сторону.

Он, помуслякав карандаш, принимается с усердием по букве: «Бо-бо, го-го» – ни черта не разберёшь. «Плохой карандашонок», – слабым голосом бормочет Мишенька.

*Господи*

*Господи*

*Помоги вернуть их домой завтрашним днём.*

– Иди встречай, – раздаётся женский голос. – Батюк, кажется, приехал... – в дом, где морозно искрятся рюмочки на столе и фальшивый хрусталь люстры – всё вымыто, чисто – только смуглокожие византийские образы в тенётке – высоко до них, не достали. Щёлкают все три замка, с грохотом она отворяет, и – ах! – холодный ветер; мальчишечье лицо перед ней и белый сор мельтешит с неба – накрыл провода и перила; она пугается и закрывает дверь, а через мгновение, опомнившись...

– Батюк, поседел неужто?..

Он проводит рукой по белым волосам и, как сахар, подмоченный водой, седина ставит; он смеётся звонко, каким-то жадным московским смехом – и прямо на морозе.

– Иди же обниму... Нет, постой, войди в дом скорее. Галя, дочка, Батюк приехал!

Он нагибается, чтоб зайти, – высокий, как Мишенька, с унаследованной от него военной выправкой; Батя или ласково Батюк, вечно безработный и оттого ли вегетарианствующий, ныне – аспирант; сын певицы местной филармонии и любимец бабушки и Гали, потому что любить им больше некого.

В красном углу, среди флакончиков с иерусалимским маслом и среди партитур Цацы, матери Батюка, висят его детские медальки по ходьбе – серебро и бронза – ему сложно было постоянно, как это называется, сохранять контакт ноги с землёй, ходить сложно было, бежать – проще; и как любил говорить сам Батюк, оттуда и началось его хождение по мукам. Висели эти выстраданные медальки рядом с фотографией из ателье – «Улыбочка», 1962 г. – со скидкой в две копейки – производственный брак – на ней юные новобрачные Мишенька и Машенька и чёрное пятно меж ними. Никто не любил

---

*Валерия Макарова родилась в г. Саранске в 1993 году. Студентка 5 курса Литинститута им. А. М. Горького (отделение прозы, семинар А.Е. Рекемчука).*



смотреть на эту фотографию, потому что брак всё портил; и когда Батюк подменил свои медалки на шоколадные, в жестяной обёртке, чтоб настоящие продать мальчишкам, – не заметили. Как и не хотели замечать, что одного президента подменяли другим. Неважно кто, главное, чтоб в единственную ночь, когда веришь: наутро проснёшься, и всё станет по-другому, – с экрана сказали что-нибудь особенное и от души, хотя бы... лучше не станет, душитесь, граждане.

– ...Я смотрю, у вас и топор под шторой... Опять прячете? – спрашивал Батюк, сбрасывая в сени модное пальто. Галя ерошила его мокрые от снега волосы, обнимала его долго, не давая Маме. – А что же вы меня текилой с солью не встречаете?.. Хватит, Галь, перестань. Ну, как он, совсем плохо дело?

– Со вчерашнего дня в сарае сидит. А как забрали его – бегал, топор искал. Совсем шальным приехал. Но как не забрать? – плакал, домой просился, письма писал, как год назад, когда мы у тебя на новогодних были.

– Письма? Никаких писем не видел.

Ворох исписанной бумаги и голуби, много нарисованных голубей, сидящих на полях тетрадных листов, засеянных корявыми буквами. Голубиные глаза продырявлены насквозь – от настойчивости сделать потемнее.

1

*Задают одной вопрос кто из вас больше получает он или вы. Ответ он. А чем вы недовольны. Часто курит. Такой стал и я. Больно много денег на курьво уходит.*

*Прости меня дорогая во всём виноват я. Я знаю с чего это пошло но мы некто нибудь а люди. Да делаем много по дурости и глупости.*

2

*Ой миленьки! Какое я себе страдание предаю. Не могу. Только бы были вы со мной всегда в тихим порядки. Я не переживу. Когда вы теперь вернётесь. Пожалста прошу вас штоб были всегда вместе.*

*Што делать не знай. Што-то наговорил. Дурак. Машенька миленька моя...*

*Всё болит. Ты сама знаиш и Галя знат. Я бы што хоч сделал но всё подорвалось во мне. Это болезнь во мне всё подорвала. А болезнь жадность. Сейчас ничего не могу.*

*Прошу тебя Господь верни их домой. Жду. Пришли.*

3

*Здравствуйте Маруся и Галя!*

*Опять хочу описать хотя изорвал 4 леска вчера. Всё лезит день и ночь в голову страх. Когда приехала Галя и зашла я сидел и писал. Зачем это всё писать и кому это надо. Маруська как мне плохо. Што делается внутри.*

*Заснул. Повидему в семь часов разбудила неприятная темнота. Вспоминаю всё всё с детства. Мать и тещу и Маньку Писареву. Маруська прости меня если сумею дождаться. Некак непойму сам што за дурак. Молока нет остался один хлеб и нешто не хочу.*

*Ну всё Маруська неужели ушла совсем прости вернись*

*Желаю вам хорошей жизни. А всё же.*

4

*Жду. Время 5 час. Поглядиш на дверь в передню избы думаиш дома но нет. Не могу нешто не могу. Всё болит. Болит ну ладно. Жду.*

*Как плохо одному. Дурак! Прости. Всё дрожит во мне.*

5

*С чervo наченать леч и лежать не мог день не ноц. До Гальки мылся не помню какого числа. Всю ноц чембы отвлечся отовсех дум и мыслей но некак не могу. Жду.*

*Всё ладно не могу. Жду я всё. Жду я всё жду.*

*Жду же жду.*

*Ой оёй*

6

*Маруся какой я есть. Ладно жизнь ушла. Изломался с детства а сейчас всёж годы и мои и твои. Сперва наговорил кричим а потом сильно жалкуеш.*

*Маруся ты вспомни што я творил в деревни и в городи и на службе. Вспомни и раскажи Хрёстни. Страм! Не могу сам себе вспомнить об всём. Время 20 м 1 часа ночи.*

*Поделом вору и мука.*

7

*С новым годом! Крепкого здоровья вам в новом году и в следующие годы.*

*И лежать нележитца вот и боюсь страм божий и не умру.*

*Молока нету хлеба нет куда идти кому нужно. Это я.*

– А что, – отхлёбывал Батюк дымящегося чаю, – он сам эти циферки понаставлял?

– Да, у него каждое письмо на учёте, как и он сам.

– И сколько он написал за год?

– Да где ж их пересчитать. Они у него все. Он никому не даёт, хранит как в сейфе, не украдёшь.

Батюк невесело рассмеялся.

Последний год он снимал маленький домик в бедном подмосковном посёлке по Новорижскому шоссе – «по-нуворишки» – горделиво думалось ему, – а когда его спрашивали, где живёт, отвечал, что неподалёку от Кембриджа и Crystal Istra. Летом ходил купаться на эту самую Истру – мутную и живописную; подолгу и мучась писал диссертацию о защите информации, а кормился фишингом – выуживал данные и вскрывал банковские карточки. Жить можно; там и хороший монастырь рядом есть, одно время, когда рыбалка не ладилась, Батюк даже думал всё бросить и уйти в него на пару лет. Приходил к иеродиакону, и иеродиакон, доставая из кармана струящейся шёлковой рясы толстую стопку своих визиток, принимался рассказывать ему, как ездит на симпозиумы и сидит в скайпе – общается с миром, но не в миру; и что раз нет московский прописки – не возьмут в монастырь. Батюк, не показывая расстройства, сядил на автобус и ехал обратно по шоссе, мимо светящихся билбордов и пока ещё сырых, похжих на выжженную пустыню полей, где в скором времени должен был вырасти какой-нибудь Оксфорд.

Темно, зябко. На деревянном полу валяются мухи, похожие на шпульки чёрных ниток: мух в сарае Мишенька до сих пор морит газом – за год поколений пятнадцать-двадцать. Последняя живая из недавнего выводка таится по углам. Мишенька сидит под рыжей самодельной лампой в жёлтой майке и застиранных кальсонах, с важным видом ковыряет часовой механизм.

Радио стрекочет где-то: «По словам Минфина средняя пенсия в стране к 2033 году составит 2,5 прожиточного минимума. А теперь к остальным новостям. В 2032 году с Землёй столкнётся гигантский астероид...»

Глаза Батюка начинают слезиться: так крепко в сарае пахнет табаком, что он въедается, потом – носить его с собой в волосах и одежде.

– Давно не виделись, – подаёт он Мишеньке свободную руку, в другой – пакет с фруктами; но дед руку пожать не торопится. – Сколько уж?..

– Лет сорок. Сорок лет. А Мишеньке сегодня сорок дней. Сегодня сорок дней Мишеньке. Свечку буду ставить за упокой души его. Ааа... Ты, Бать... Приехал? Приехал! – не смотрит на него дед; и совсем тихо: – Приехал, встречайте интеллигента.

– Приехал. С новым тебя. И со старым – тоже. – Сказал он и понял, что больше говорить не о чем.

– И Краля с тобой приехала?

Батюк стискивает пакет, целлофан начинает трещать под его пальцами – он не замечает этого. «Про Кралю, как ты её зовёшь, ничего не знаю. Она сама по себе», – отвечает он и швыряет пакет на кровать. Высыпаются оранжевые, с блестящей гляцевитой кожей шары, Мишенька долго не может разобрать, что это такое.

– И Цаца твоя тоже не знай где. А ты бы лучше соли принёс, не ем я сладкого – нельзя!

– Они не сладкие, попробуй сначала.

– Ничего ты не понимаешь, Бать. Дурак, одним словом. Молодой пока, поэтому ничего не болит и ничего не боишься. Сладкие, я тебя говорю, слишком сладкие!

Мишенька сказал – и как замкнуло: краской на стенах домов и остановок «Соль» и одиннадцатизначный номер, по которому звонить и искать эту соль. – Ишь ты, уже дойти купить не могут! На стенах пишут. – Это, дед, химия для школьников... – И замкнуло: сколько же можно писать на стенах! – «Я люблю тебя, Катя. Сарыгин» – и на следующее утро: «Сарыгин – гандон»; всё семейство влюблённого ищет краску, чтоб замазать фамилию, реками льётся на это муниципальная... И, конечно, цвета не совпадают, и на домах, на остановках, на заборах появляются цветные заплатки, стены становятся разношёрстными. И замкнуло: перед Новым годом белые пакеты в синих кубических ромашках – «Сіль» – Мама всегда боится, что цены после праздников взметнутся, и Мишенька идёт в супермаркет, набирает в тележку пакетов и вместе с тележкой увозит домой, грозя охраннику – попробуй останови, осиль старика, прапорщика советской армии! – и никто не хочет с ним связываться. Разве что сама Мама, когда-то обвенчавшаяся с ним на веки вечные.

– Он сначала болел, печень и лямб... лямб... лямбдб... тьфу ты! Нервы то бишь. Злой ходил. Вишь, с кех пор, – рассказывала она ещё маленькому Батюку, когда они шли после ходьбы, но Батюк всё равно бежал. – ...И вот он пошёл к старухе, сказали ему сходить полечиться. Старуха ему велела обвенчаться, не будешь тогда болеть. Ну, и что делать – надо венчаться. А денег у нас не было, у меня только десять рублёв было, а надо идти в церкву... им много нести надо. Даже колец не было... да даже хрестиков не было!

– Что же вы, – спрашивал маленький Батюк, – не по любви, а по болезни? А я думал, что так сильно любите друг дружку.

– Не-ет. Слушай ты! Платье на мне был штапельный – нарядный, в красненький цветочек. Красивый был, хороший. Сейчас бы материю такую. И вот пришли мы с нём в центрально саранску церкву. Кольца, говорят, есть? Нет. Хрестики есть? Нет. Пошла в магазин: золото, говорю, не надо – у меня всего десять рублёв, а ещё батюшке надо дать. Купила тогда из железа по рублю. И вот, пошли мы венчаться... Никому не сказали – ни его, ни казаринским – пошли венчаться тайком ото всех, вдвоём, – показывает один указательный палец. – Из деревенских увидела нас только Панка Крайнова. Свечи купили. Не помню уж, сколько я батюшке дала и чего дала?.. Свечи жгли, красиво было. Над нами держали... как уж называют?

– Вёдра, – смеялась Галя, встречая их на пороге.

– Короны, абишь? Как цари стояли. А потом батюшка водил нас вкруговую. А колечки, колечки не знай куда дела. Галя с Цацей их изломали маленькими, – она долго сидит молча в сенях и не раздевается. Потом: – А сейчас бы ни за что не пошла венчаться. В таком-то платье.

– А как бы пошла? – вопрошал Батюк.

– Никак бы не пошла. Пошла бы Мишеньку в Берсеневку класть.

– Дед, говорят, лечили тебя? Что врачи-то сказали? – спросил, наконец, Батюк.

Муха в углу засуетилась, тысячи фасеток её глаз заблестели: глядели на всё, да не всматривались – среди тёмных цветов её привлекало только жёлтое пятно мишенькиной майки. Батюку показалось, что Мишенька стреляет в муху своими выцветшими глазами – неужели видят друг друга?

– Садись, – задумчиво кивнул Мишенька на кровать. Батюк опустил на продавленную пружину, оказавшись около стола: гранёный стакан, ворох бумаги, карандаш, заточенный как игла, и механизм стародавних советских часов – безжалостно разобранный; в стакане Батюк увидел какое-то насекомое и брезгливо отвернулся. Мишенька вышел из оцепенения и наконец-то протянул руку, чтоб поздороваться, – так крепко, что Батюку стало больно.

– Знаешь, что я тебе скажу? Всё сгубили, паразиты, и всех сгубили. И тебя тоже сгубили, поганые рожи. Потому что чем больше человек учится, тем дурнее становится. А ты не верь никому, Бать, не верь, я тебе говорю. Послушай меня, не верь! Никого не слушай, если что в душе есть. Люби только себя... Помню, когда ты маленьким был, Бать, на руках тебя носил, в сенях к небу подбрасывал. Мать твоя, Цаца, с тобой больно-то не возилась, и я брал тебя и ходил с тобой по дому, на плечи сажал. Ты, миленький мой... Умный, не по годам умный был. Я понял ещё тогда. Такой уж беспокойный... Ручонки всё к технике, всё лишь бы нажать, изломать. И я беспокойный был и есть, а про меня говорят – дурак. В Берсеневку отвозят. А там их всех так много – и все такие умные, слишком умные и беспокойные. Смотри, что пишут про меня, эти ваши врачи... (Мишенька из вороха выуживает больничную справку, на другой стороне которой письмо № 8.) Ай, неправда это ничто, я тебе говорю, неправда, Бать! Не верь им. Давай-ка, умеешь читать? Прочитай, что там написали?

– Краткий анамнез, диагностические исследования, течение... (дальше, дальше читай!) Жалобы на боли во всём теле, плохой сон, общую слабость... (это так оно, дальше!) Со слов дочери: не спит, разбивает окна, выбивает двери, угрожает физической расправой ломом и топором, высказывает нелепости на сексуальные темы, считает, что его хотят отравить, обобрать, отказывается от приёма лекарств.

– Ай-яй... неправда, миленький, это... Всё неправда! – Мишенька закрывает лицо костлявыми ладонями и весь как-то сжимается, делается маленьким и острым, жеребьячи его колени упираются в подбородок.

– Не буду дальше читать, дед. Ни к чему это, – и, перебарывая отвращение, положил руку на его плечо.

Батюку вспомнилось: Краленька сидит на этой же грязной кровати и гладит старица по голове, успокаивает: «Чего же ты боишься, дед? Ну, не плачь, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Что говоришь – в землю боишься уходить?.. Её боишься? Да нет её, земли! Не существует. Как так? Слышал ведь – пшено в землю уходит, чтоб преобразиться? И человек тоже», – и целует Мишеньку в висок; и не видел Батюк его глаз, только гадкую улыбку видел. «Ну, и хорошо, – думается Батюку, – пусть астероид упадёт, пусть! Пусть нас всех разом...»

– Порву! Дай сюда её, – вырывает Мишенька справку и на мелкие кусочки, на слоги рвёт и вязкое мышление, и эмоциональную неустойчивость, и сниженную продуктив-

ность, и Господа Бога на оборотной стороне – всё рвёт с немой яростью. А потом молча сидят – не о чем больше. Мишенька заговаривает первым: – Что там в Москве есть, чего у нас нет? – Он берёт стакан и осушает его.

– Всё есть.

– Вот и у нас всё есть, водка только закончилась.

Батюк так горько плакал, как только наёмные плакальщицы сабрируют похороны в мордовских деревнях. Он шинковал горькую луковицу к утопленникам. «Это всё лук, Галь, это всё лук... – а потом сам с собой: А Краля-то наверняка не придет, не придет Краленька».

– Да уберите же кто-нибудь этот лук, – кричала Галя, – не видите, ребёнок плачет!

Когда утопленники всплыли, приехали Казарины – Нина в каракулевой шубке со стрижкой каре и Валентин, раздобревший и свирепый – машина сломалась, и ехали на троллейбусе; без Крали.

– Как Мишенька-то, набрасывается?

– Как?.. Как всегда. Вон топор под шторой прячем. На днях бегал, искал, где его топор, зарубить хотел.

– Второе воплощение Раскольникова.

– Кого это я слышу? Батюк, что ли, приехал? Батька! – и сразу же со сладкими улыбками прячут ему в карман голубую купюру, «вот тебе за праздник» – и Батюк не отнекивается, как раньше, молча берёт.

За столом сидят долго: глотают живьём утопленников – «как их есть, такие большиё?» – удивлялся Валентин, «молча» – отвечала Мама; пьют водку и вермут, спрашивают у Батюка: «Ну что, после аспирантуры вернёшься в Саранск – жить, работать?» – «Ни за какие деньги!» – открещивается Батюк, а через полчаса, хмельные, заново: «Вернёшься?» – открещивается, открещивается, открещивается. «Вот и наша, тоже ни в какую не хочет. Смётся, что если и придет, то танцевать гоу-гоу в “Хороводе”». Батюк вспоминал и немел от злости: «Краленька в “Хороводе”?! А ведь возьмёт и пойдёт... Танцевать она любит», – и снова вспоминал и немел...

Как каким-то летом Краля приезжала к ним погостить: позагорать на огороде, испупаться в баке... Развеселилась и стала танцевать в зале, Мишенька бормотал проклятья в соседней комнате, а она всё не могла успокоиться – танцевала и танцевала, динамики на полную мощность, и пол готов обрушиться в преисподнюю, где зреют закатанные банки огурцов и помидоров. «Хватит! Хватит, паразиты!» – кричал Мишенька, а Мама как будто вступила в стовор с Кралей и заявила: «Чихайте! Кашляйте! Смейтесь! Пусть слышит». И они танцевали, а потом плескались в бачке и поливали соседние огороды из шланга, от озорства; развесили посреди двора на верёвках бельё и сидели, укутанные в полотенца, пили чай с чабрецом. Мишенька ходил по двору, путался в бельевых верёвках и цеплялся к Мамае:

– А эти вот... маленькие, с бабочками, это чьи?

Краля уходила в летнюю душевую. Плеск воды завораживал и напоминал что-то истринское, нахальное, наудачу. Батюк заметил, что любителю живым трепетом душевой штورки, тем, как играет на ней тень, и до сих пор помнит свои догадки: ах, вот это, должно быть, ручка... ножка... – и ветер гонит складки...и на мгновение стал виден Краленькин локоток, красный, в мыльной пене. И что-то тёплое, нехорошее скрутилось узлом у него внутри.

«Нет, никогда уж больше не придет Краленька. И не мечтай!» – одёрнул он себя. Нина пила вермут, Валентин хохотал – они ничего, совсем ничего не знали.

– Вальк, – будто очнулась Мама, – поговори с ним, с этим зверем. Свечки ставит каждый день, а за нас молит, чтоб мы подошли скорее. Тебя послушает – может, хоть в

разум возьмёт. Совсем с ума вышел... Поубивает же... Бать, иди сходи за Мишенькой в сарай. А ты поговори с ним, поговори. Может, изменится чего?

В сарае всё такой же молочно-сизый табачный туман, и в нём, сгорбившись, сидит Мишенька – руки опустил на колени, смотрит куда-то перед собой; безынтересный уже часовой механизм валяется под столом – так и не отремонтирован, только изуродован зазря, а сам Мишенька преобразился: успел переодеться и был теперь в праздничных чёрных брюках и клетчатой рубашке, а змеи его дешёвой сигареты оплетали его руки и кирпичную шею со вздутыми венами.

– Всё ещё «Приму» куришь, дед?

– Её. Умру – «Беломорканал» буду. После смерти всё правильным делается.

– Откуда ж тебе знать, как после смерти?

– А мне сестра твоя сказала, Краленька, – растянул он губы. – Тебе ль это, Бать, знать? А вот она – другое дело. Такая беспокойная с детства была! Умненькая. («Он большой человек, – говорил сам себе Батюк, – послушай, ведь он просто большой человек! Один, два, три, четыре...») Такое в лабораториях не выводят, в учебниках не пишут. Нигде не прочитаешь. Не двадцать лет я прожил, всё знаю, всё пережил.

Батюк не нашёлся, что сказать. «...Семь, восемь, девять. Успокойся!» – и на выдохе:

– Праздник сегодня, дед. Хорошо бы было всем вместе посидеть, семьёй, так сказать.

– Где же ты семью видишь, Бать? Книжки читать научился, вот и сиди читай. А я и без тебя знаю, что сегодня праздник. Видишь: вырядился, всё новое надел.

– Пойдём к столу, а? Бабушка зовёт. Там Казарины приехали, утопленников наварили.

– Самому хоть топись! Надоели паразиты. Подожди ты, не побрился ещё. Одеколон найду и надухарюсь.

– Душиться он собрался, духами. Не идёт.

– Ишь, какой... Он сегодня потребовал рубашку с брюками, что на смерть отложили, а он наряжаться вздумал.

Все в этом доме были прекрасно знакомы с чёрным кожаным чемоданом, много лет лежавшем под Мишенькиной кроватью. Чемодан был старше Мишеньки, ещё отцовский, он являлся свидетелем его знакомства с Мамой, тогда ещё молоденькой черноглазой девицей. На этом чемодане она сидела, когда в первый раз пришла к Мишеньке в военное общежитие: стульев не было, одни казарменные кровати – предложить девице сесть на кровать Мишенька не решился. Он поил её чаем с молоком, а утром, один, ел кашу на воде – и не жаловался. Тогда они были молоды, не замечали лишений, и им хватало друг друга. Тогда они не знали, что этот чёрный чемодан будет кочевать с ними по военным городкам, пока не задвинется под кровать их собственного деревянного дома в Саранске. А потом его будут считать чемоданом на смерть, и содержимое его – все простыни, венчики искусственных лилий, атласные ленты с молитвами – Мишенька каждый год будет доставать и разглядывать, а парадный костюм, в котором он должен лечь в гроб, наденет и истаскает в тот же день, и Мама, сокрушаясь, поедет на рынок за следующим. «Что, воскрес?» – будут смеяться продащицы.

Весной, незадолго до Воскресения, Мишенька ходил на перекрёсток Базарной и Градской – Мама посылала его за сахаром на Ярмарку, что уже лет триста проходила на этом самом месте. Туда привозили атемарские туши и свиные копыта, ичалковский сыр в жёлтом парафине и – с недавних пор – мордовский Parmesan; вёдра стужённого молока и мешки кукурузных палочек.

– Кой те сахар? – плевался и морщился Мишенька. – Эту отраву! – но всё равно привозил ворованную из супермаркета тележку и плёлся к цветным брезентовым па-

латкам, сопровождаемый лязгом заржавевших колёс о сухой, проветренный весенний асфальт.

«Вон, чешет, – шептались краснощёкие продавщицы-мордовки, – совсем, говорят, из ума выжил, в Берсеневку катается». Многие на Ярмарке знали Мишеньку в лицо и по фамилии, и что он с Базарной, и что каждый день на всю Базарную грозитя спалить свой дом. Только вот половина саранского центра – дома деревянные, с резными наличниками и спутниковыми антеннами, и ветер в городе неистовый – подхватит что, так понесёт, – не заметишь, как с горизонта пойдут чёрные клубы дыма, а потом поднимется красно-розовое зарево. Дом на Николаеве, – безошибочно определит Мама, – а это вот в Лямбуре. И ни один дождь не погасит, хотя дожди бывают такие, что по полтора месяца носишь в сумке документы, закутывая их в целлофан, и диктор с экрана каждые два часа: «Погода улучшится к середине недели, пообещали нам в анонимном телефонном разговоре с синоптиками».

– ...Иду как-то с рынка с новым костюмом. Подхожу к дому – грохот какой-то. Гром, что ли, думаю. Смотрю: сковородка под окном лежит. Думаю: откуда взялась? А это Галя кинула от дождя.

– Так от дождя же нож надо кидать?

– А у неё только сковородка под рукой была. И ведь прошёл!

– Испугался, наверно.

– Вот бы Мишенька так испугался и делся куда-нибудь.

– Так как он, ходит? Он как-то жаловался, что ноги боле...

– Болят! – закончил Мишенька, неслышно подошедший к залу. Он побрился, нашёл в шкафу сарая склянку с сомнительным содержанием – тройной одеколон. «Святая троица», – бормоча, накапал он на жилистые запястья. В зал Мишенька заходил приотпывая.

– Здравсте-здрате! Приехали.

– О, дед, здравствуй. Как здоровье?

– Еле хожу. Покамест без клюшки, а то бывает так, что доползти не могу.

Мама, поджав губы, смотрела на Мишеньку: вчера вечером прапорщик советской армии, получив от неё полтинник, побежал в магазин за водкой, как бегал двадцатилетним женихом на свидания. Вечер был поздний, Мишенька радовался тому, какие теперь магазины стали. Раньше были с прилавками и счётами, потом с кассами, потом – самообслуживание, постоянный писк штрих-кодов, время закрытия: 22:00, 23:00, круглосуточно: и окна горят до рассвета, и все слетаются на огонь.

– Ты держись, дед, надо как-то жить.

– А житья собаки не дают.

– Какие такие собаки? Что ты придумываешь? Давай лучше за наступающий по рюмочке.

– Я не пью, мне нельзя.

Валентин достал из-под стола запотевшую бутылку, срезал с неё акцизную марку – та цветочной лентой упала на пол – и стал наливать всем по кругу. Батюк водку не пил и Маме не разрешил – она тихо причитала, сидя рядом: «Житья мы ему не даём, собаками величает, вот, значит, как».

– Это вы Бате в такие рюмочки наливайте, – после второй выпитой разозлился Мишенька, – Мать, принеси-ка мне стопку.

Чистенький стакан в руках Мишеньки отразил в своём стекле заиндевевое окно и бракованную фотографию с медальками, висящими серебристой чешуёй, и белёный потолок.

– Давай доверху! – и вот уж окна, стены – до самого потолка – всё заливается водкой.



– Ещё!

Заиндевелое окно, бракованная фотография с медальками, висящими серебристой чешуёй...

– Ещё!

Заиндевелое окно, бракованная фотография с медальками...

– Ещё!

Окно, фотография с медальками, потолок...

– Ты хоть закусывай, миленький! – застонала Мама.

– Я не закусываю, я запиваю, – и жажнул ещё – раз! – и потолок опрокинулся, потолок на дне.

Вилкой он проткнул утопленника, из дырочек засочилось масло.

– Чего насажали вы, я вас спрашиваю?.. За свою-то жизнь! Это ли картошка?

И Батюк, и Галя вспомнили одно: как каждое лето Мишенька съедал несколько ведер картошки и всё кричал, что она не молодая, что его обманывают и подсовывают старьё с прошлого года. А картошка, клялась Мама, свежайшая, только из земли вырыли – ещё землёй и червяками пахнет; с утра Мама ходила в огород «выкапывать курень». Мишенька всё жаднее до всего становился, даже дышал глубже, как будто хотел больше воздуха в себя вобрать.

– Да, не то, что раньше было. Сейчас закатываешь помидоры, а потом они аспириновые на вкус.

– А ты больно-то не рассуждай, Валечка, ты этого ничего не знаешь. Молодой ещё, а я вот всё видел. После войны даже в деревнях есть нечего было. Картофельные очистки варили, траву, коноплю всякую.

– А конопля-то какая была, – вмешалась Мама, – сладь! И лепёшек из неё наделаешь, и каши.

– ...И поэтому все такие радостные и счастливые были, – усмехнулся Батюк.

– ...Траву, говорю, ели, сорняки. Правда, Мать? («Траву, ели, сорняки, шишки, иголки, – думал Батюк, – кокос и марихуану».)

И ничего, все выросли сильные и здоровые, умные. Вот это да, жизнь была, пока змею на груди не пригрел. Приворожила, ведьма. С тех пор и жизни никакой не даёт... Как что – так Мишенька огород копай, снег чисти, городьбу городи. А потом выкобеживаются, что он не делает ничего, на кровати лежит. А они ездят, как министры, обучаются, песни поют на сценах. Вот наука, я вам говорю: живёшь, пьёшь, а завтра всё равно помирать.

– Все там будем.

– Э-э, нет, не встретимся мы там, у нас дорожки разные. Не пойдёте вы за мной. Лучше... А вспомните-ка лучше, как я городьбу принёс огород городить? Нашёл же, украл! Заводские, аль смотрят? Да и не только оттуда, ещё с Ламзурия... А как три ящика карамели утащил для вас, тоже не помните? Как бежал потом по Базарной, думал, что охранник догонит. И всё им Мишенька дурачок, Мишенька не делает ничего, Мишенька на кровати лежит. Змея! Я тебе покажу! Я вам всем покажу, паразиты.

Прапорщик вдруг замолк, озирается по сторонам, а в зале один только Валентин остался.

– В магазин, что ли сходить, папиросы закончились. Или мать надо заставить, а то не дойду, – Мишенька достал из кармана пиджака шапку и надел, вставая.

Валентин не собирался его отпускать: «Дед, какая шапка у тебя смешная, прям как у разбойника!» – «Это почему как у разбойника?» – «Ну, как у террориста». – «Чего это ты вздумал молоть, дурак? Какой я тебе террорист? Я в советское время чекистом был». – «Да похожа просто. Чёрная, опустил её, а там только прорези для глаз». – «У меня она



ниже бровей не опускается, я её пришил. Вздумал калякать...» – «Ну, раз не опускается, значит, хороший человек». – «Чекист, я тебе говорю!» – «Хороший чекист. Да ты не обижайся, у меня у самого такая же». – «Не-ет, нехороший человек я... Слышал песенку такую?.. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с советского ЧК? Вот так и начинается всё, так и заканчивается. А ты – молодой пока, не кончаешься». – «Какой молодой, пятый десяток доживаю». – «Это ли годы? Вот доживёшь до моих... Мишенька – и то всё работает. Хотя эти паразиты говорят, что ничего не делает он. Ест – плохо, не нравится. Ходит – надоедает. Мишенька свет не включай, Мишенька полымицами не скрипи, Мишенька не дыши! Э-э, життя! Дыхнуть нельзя».

Прапорщик затянулся воздухом и как смахнёт все бутылки со стола – грохот стеклянный, и в окнах стёкла задрожали, запели. Он уже замахивается на Валентина, но не успевает... худенькая рука в каракулевом рукаве останавливает его: каре растрепалось.

– Что смотрите, что? Прибежали? К армейской жизни приготовились? Будете стоять в нарядах, бабы нарядные! А Мишенька у вас лишний, отжил. А ты чего смотришь, толстый? Отрастил брюхо и рад? Вот доживёшь до моих лет, будешь на карачках ползать! Экономный экономист, старика вздумал учить!

– Валь, пойдём, а...Мы домой как раз собирались.

Прапорщик ухмыляется и изображает Валентина, подбоченившись, притоптывая: «Вот такой толстосум эдакий! Иди-иди, проваливай! Чтоб тебя каток...С новым годом!»

Щёлкают все три замка, и Мама, рыдая, спешит в свою комнатку, больше похожую на чулан, – с Мишенькой они давно живут порознь.

– Ой, стыд-то какой, позор! Так представил нас. Совсем совесть потерял, чёрт. Удушусь! Как я устала, удушусь! Хоть в лес уходи и вешайся на суку.

– Зачем в лес? И в городе деревья есть, – заметил Батюк, его терзало другое: «И Казарины теперь не придут, значит, прогорело всё, не будет Краленьки».

– Всё, хватит с меня твоей семьи! – в последний свой приезд кричала она: волосы мокрые – только из душевой, глаза красные.

– Она и твоя вообще-то тоже.

– Это полынья! Замкнутый круг...

– А какой ещё бывает круг? Незамкнутый? Так это и не круг тогда уж. Все так живут.

– Все по-разному живут, а вы так и будете жить – долбя и долбя, захлёбываясь и не замечая, как ширится полынья, как сеете пустые споры.

Всегда, как приезжала Краля, Мишенька тенью ходил по комнатам и подглядывал, подслушивал их разговоры, сыпал проклятия. «Э-э-ка Краля...» – шептал он, видя, как та расчёсывает волосы или смотрится в зеркало, а потом – Ой, мамочки! – пугается, видя в зеркальном отражении позади себя Мишенькино лицо. Он, радостный, что напугал, уходил, бормоча: «Матерь Божья, как похожа-то, как похожа! Только б волосы в косу», и вот однажды ворвался к ней в летнюю душевую.

– Господи! Зачем ты так со мной? Господи! И с этим чёртом я перед алтарём стояла!

– Давай, ведьма, реви громче! Приворожила, ей-богу, приворожила...

– Не могу я так больше. Не могу! Зачем ты пытаешь меня, Господи? За какие грехи? Всю жизнь я была верна этому чёрту.

Так оно и было; когда Мишенька служил, молодой Машеньке было стыдно перед солдатами: она была приветлива и всем нравилась, а муж её по-звериному, с какой-то нечеловеческой яростью ревновал и обещал всем шею свернуть и ноги поотрубить.

– Нехорошо, дед...

– Нехорошо! А что есть хорошо? Что есть хорошо, скажи ты мне? Опять лезешь! Раз лезешь, Бать, осиль старика! – Мишенька резко хватает Батюка за ворот рубашки, сжимает своими крепкими руками его шею, Батюк от неожиданности даже не сопротив-

ляется и как картонный висит на стариковских руках. – Чему тебя учили, руки холить и девкам подол лизать? А?! А ты – не подходи! Не смей. Ребёнок семи... и ещё сорока лет. Свою семью...

Не имела Галя, да; лаборантом из лаборатории – ушла; целыми днями ходила по дому и заглядывала в разные окна, скрывалась за шторами и прислонялась лбом к холодному стеклу, высматривая на улице что-нибудь интересное. Так, в конце девяностых она увидела, как в огороде рыскает молодой человек и рвёт их мак. «Дурак, это же декоративный!» – хотела она крикнуть ему, но не успела – убежал; а в начале двухтысячных увидела, как этот же парень взлетел на лысую берёзу и замер на макушке; снимали его на пожарной машине. Больше ничего интересного не происходило.

Не имела, да; но Батюка Галя вырвала из отцовских рук, как обезумевшая мать, как тот парень, которому ничего не стоило взлететь на берёзу (а ничего ли?).

Головокружение:

– Мама! – зовёт Батюк бабушку.

А она ему видится... Прикладывает руку к сердцу и говорит Мишеньке: «Я тебя очень прошу, пожалуйста, отъе.ись!» Это день, когда Батюк поехал учиться в Москву. И Мама – какой она была миленькой в ярко-голубой курточке, оттеняющей её смугло-бледное, почти китайское личико, такой маленькой она была, что хотелось взять её на ручки и не отпускать; но она не птичка. Провожать к такси вывалились на улицу все, даже Мишенька, которому Мама говорила: «Не ходи, нечего тебе, не ходи!» Стояли в дверях и махали. Ехал Батюк по Базарной на вишнёвой восьмёрке, всё оглядывался и оглядывался на свой дом и видел дедовскую руку; она не останавливалась, как заведённая.

Батюк заматывает шею маминым платком, чтоб скрыть следы Мишенькиных пальцев. Мама теребит скатерть, Галя долго и упрямо смотрит ей в глаза, та молча кивает; накладывают на поднос еды и просят Батюка сходить на кухню Мишеньке за вином, на деле – за водкой – но говорят, что за вином. Возвращаясь в зал, Батюк видит странное оживление: Галя прячет что-то под диван. Когда они обе уходят из зала, он нащупывает на дощатом полу что-то железное и холодное – эмалированную коробку в лимонных розах – щелчок – внутри пакетик с чем-то белым, в московских клубах подобный сахарный порошок неистово втирают в дёсны. Под пакетиком – стопка купюр, бережно перетянутая канцелярской резинкой; ловким движением он раздевает её, и пять тысяч ныряют в глубокий аспирантский карман. Щелчок и дощатый пол.

Взволнованным голосом Батюк говорит пришедшей Маме:

– Пойду-ка я перед Новым годом свежим воздухом подышу.

– Иди-иди, а то дышать с каждым годом всё тяжелее.

Чтоб не шуметь, Батюк дышит ртом, выпускает белёсые пары. Снег весь день и весь вечер сыпал и сыпал, сухой и холодный, как будто раскрошенный пенопласт, и когда перестал, за двадцать две минуты до Нового года, оказалось, что дома лишились крыш. Из всего густого снежного полотна выделяются только стены с тёмными провалами окон и редкие чёрные ветки, как будто нечаянные росчерки капиллярной ручки. Чёрная земля неба засеяна звёздами, но Батюку по подмосковной привычке думается, что это мигают самолёты.

– Образованный!.. Йк...йк. Сукин ты сын, я тебе говорю. Кто отец твой? Кто? Поминай, как звали. А как поминать, если она его, поди, и не спросила об имени. Мать твоя не знает! Нагастролировала. Вот где она сейчас? Она такая же, как и бабка твоя. Цаца! И Краля ваша такой же будет. Ведьмы! На костёр вас... и водкой полить... нет, жалко. Из столицы он приехал. Посмотрите на него! Тут такого и в дворники не возьмут. Мундаринов попробуй, Мишенька. Сам ты муд... И такую же ведьму в жёны возьмёшь. Ты её молоком пои, ага-ага. А я её застрелю.

Наваждением в глазах Батюка загорается чёрное звёздчатое небо – алым, синим, анилиновым... В карманах пальто он скрещивает пальцы и уходит в дом. Он знает: нигде его не нагастролировали, отец его всего лишь незаслуженный артист Мордовии, известный в ультраузких кругах; а Краля никогда не будет Цацей – птичкой певчей, филармонической; знает – год назад, когда приезжали к нему в Москву ещё до его фишинга и Истры, рассказали – что на исходе двадцатого века Мишенька застрелил человека.

После армии прознал про вышки за Пушкинским парком и пошёл устраиваться стрелком на военную базу – сутки через трое – привозил оттуда на стареньком велосипеде патроны и зеркальца, скрученные с танков – продавал. С какими-то патронами Батюк игрался – помнит – помнит и то, как дежурные сутки Мишеньки как-то затянулись втрое – он вернулся домой пешком, не на велосипеде, и молчал, а маленькому Бате невдомёк было, почему. В ту смену случилось ЧП, была объявлена тревога – захват военной базы, – огонь! – и предупредительный выстрел в небо, но пуля из Мишенькиной винтовки взмыла не к небесам, а в человека. Насмерть; комиссия говорила, что невозможно застрелить человека с такого расстояния, да ещё и с такой точностью! – Это чудо! – восклицали они, – воистину, убил! Это чудо! А Мишенька на тюремной скамейке одними губами: «Не целился я! Не целился, не целился, не цели, не цел...». Звонили из Москвы, велели отпустить, извиниться. А потом и приезжали, вызывали всю смену (товарищи шептались: «Ты ничего плохого не сделал, не убивайся же так!»), благодарили за то, что хорошо защищают родину. От кого – от загулявшего слесаря, на четвереньках ползущего под проволокой, перепутавшего небо с землёй. Премию дали, Мишенька от неё отказывался, но заставили – и стал на неё высчитывать церковными свечками и молебнами: девять дней, сорок дней, полгода, год... А я живой! Придите и застрелите меня. Всё сгубили! Сразу после ЧП все саранские газеты своей грязной типографской краской стали голосить: «В наше мирное время... человек человека... как же он будет теперь смотреть в глаза своим детям и внукам...», а жена убитого приходила на базу: «Вы его застрелили – вы его и хороните» – и проклятая Мишенькина премия шла и на похороны – на могилку, на крест, – а в похоронной процессии никто не шёл, никому не нужен был слесарь. И когда на базу принесли эскизы таблички с надгробной фотографией – прапорщик заплакал: у них было одно имя на двоих.

И как замкнуло.

#### *Эпикриз к истории болезни № 14*

*Краткий анамнез. Наследственность психопатологически неотягощена. Родился в Мордовии в семье заводских рабочих младшим из двух детей. Раннее развитие своевременное. Закончил четыре класса средней школы. В армии отслужил полностью, остался сверхсрочником. После демобилизации работал на разных работах: сторожем в колхозе, шофёром, грузчиком, стрелком. В настоящее время нигде не работает. Является инвалидом 2 группы по общ. Женат. Живёт с семьёй.*

*Болен около 2-х лет. Стал подозрителен, плохо спал. Считает, что у его жены есть любовники и в этом ей помогает дочь. Считает, что они обе имеют много мужчин. Высказывает нелепости на сексуальные темы. Конфликтовал с женой, считал, что они хотят его отравить. Закрывался в комнате, перестал выходить на улицу. Состояние ухудшилось за последний месяц: не спит по ночам, раздражителен, агрессивен, угрожает дочери и жене расправой, утверждает, что от него хотят избавиться.*

*Состояние больного по ходу лечения:*

*При поступлении. В сознании. Внешне опрятен. На месте неусидчив. Правильно ориентирован в окружающей обстановке, пространстве, времени. Двигательно заторможен. В контакт вступает самостоятельно, на поставленные вопросы отвечает со злом. Выра-*

*жается нецензурно в отношении дочерей. Дистанции не соблюдает. Обманов восприятия не выявлено. Мышление ускорено, по темпу непоследовательное. Эмоционально неадекватен. Негативистичен к окружающим. Фон настроения неустойчив. Критики нет.*

*На момент пребывания в стационаре.*

*В ясном сознании. В контакт вступает по вопросам, отвечает после паузы. Правильно ориентирован в месте, в собственной личности, а во времени грубо. Расстройств в сфере восприятия не выявлено, бредовых идей не высказывает. Память снижена. Мышление тугоподвижное, замедленное по темпу. Эмоции лабильные. Агрессивных проявлений нет. Походка шаткая, неуверенная. Речь замедленна по темпу, с малой модуляцией голоса. Фон настроения ближе к среднему.*

*При выписке.*

*Сознание ясное. В контакте вступает по вопросам, отвечает тихим, слабым голосом. Плачет. Правильно ориентирован в месте, в собственной личности, а во времени грубо. Память снижена. Интеллектуальный уровень снижен. Обманов восприятия, бреда не выявлено. Эмоции лабильные.*

– Мам, а Мам... Сиди-сиди только, не вскакивай... Мишенька-то... кажется, ой, отец... кажется... того кажется... Стой! Куртку хоть надень!

Руки Мама застывают на скатерти, потом расплёскиваются, как вода по столу, и она уже бежит. Вместо шампанского к полуночи Галя принесла... Это...

На деревянных досках, в снегу, посреди двора, неподвижно раскинувшись, как морская звезда, лежит прапорщик советской армии Михаил Корнев и открытым ртом смотрит на луну. В кулаке его зажат солёный огурец, и Мама, плача, берёт этот кулак в свои руки и целует его.

– Миленький, миленький. Как же так... Куда же ты, как я без тебя теперь буду?

Она наклоняется над телом прапорщика и тормошит его, словно хочет вселить в него свою всепоглощающую нежность и оживить, она целует его лоб, и крепкий Мишенькин лоб становится мокрым.

На пороге замирает дочь и внук, внук и дочь – растерянные. Мама встаёт с колен и начинает долго и протяжно выть – Аааа! Миленький мой! – она падает в сугроб и мнёт его – Весь год, весь год... – сыпали эту дрянь... и ничего тебе не было! Мы же так, чтоб ты буйным не был... Вернись только, не желаю больше ничего! Вернись, миленький!..

– Пожелай ему на день рождения, – несколько лет назад говорила Галя, – дожить до восьмидесяти лет.

– А сколько ему исполняется?

– Восемьдесят два.

Мишенька лежит на кровати в сарае и рассуждает: «Вот были египтяне-планетяне, и где они сейчас?» Батюк дарит ему из московского секунд-хенда рубашку в красную полоску, на что Мишенька хмурится: «Я по молодости зелёные носил, не нужна такая». Учит Батюка армейскому строевому шагу, отжимается, пытается на мостик встать...

Или ещё раньше. Батюка разбудили в шесть утра. Выходит он сонный, Мишенька уже сидит на табурете в тужурке и шапке, рыскает по сторонам глазами. Батюк желает имениннику счастья, здоровья и долгих лет жизни (Мама с Галей косятся на него), тогда Батюк меняет русло – желает жить в покое и мире, быть добрым... «Не озоруй, веди себя хорошо», – Мишенька сидит и кивает, как неваляшка. Батюк всучивает ему подарок – термокружку – вода из неё всюду сочится, стенки тепло не держат, но не выбрасывать же вещь. Батюк похлопывает Мишеньку по костлявым плечам, дерёт красные стариковские уши, горячие и сухие, Мама шепчет: «Сильней давай, чтоб горели». После полудня Мишенька лежит на своей кровати за жёлтой шторой, руки под головой,

хрипло мурлычет себе под нос какие-то песенки, путает слова, придумывает их сызнова и zaczynaет вновь, плетя и плетя одно и то же.

– Что, паразиты? Обрадовались? – кричит со снега вполне живой Мишенька, про-  
снулся. – Иди, костюм покупай, старая ведьма!

Мама утирает слёзы, а те всё текут, и – с удивлением: «Ожил старый чёрт!» – она  
плачет ещё сильнее, но теперь как-то по-другому: «Я так больше не могу, я удушусь!»

Мишенька с небывалой ловкостью поднимается и начинаеt замахиваться на них,  
гонит в дом, бежит, а в сенах спотыкается – жёлтая штора путается у него в ногах – вот  
где прятался! – видит он топор и радостно: «Зарублю, зарублю!» – Они запираются в  
зале на ключ; «Откройте, откройте, я вам сказал!» – и звонкий клинок грызёт деревян-  
ную дверь.

– Включайте телевизор, сейчас начнётся.

Из телевизора лётся речь президента, ей вторит вой Мишеньки:

– Па-ра-зи-ты! Сво-лочи! Псарню тут развели! Всех убью!

Куранты бьют двенадцать, и Батюк, открывая шампанское, обливаеt Маму и Галю,  
те, плача и смеясь, подставляют бокалы. Себе же наливает водки и закусывает – Мама с  
Галей столбенеют – медальками за ходьбу закусывает.

– Проломил дверь... Мишенька дверь проломил! – видит Мама. – Открывайте окно,  
выпрыгивайте. Быстрее!

Галя распахивает ставни, и улица, с ветром и грохотом взрывов, озаряющим окру-  
гу страшным разноцветьем, входит в их дом. Они выпрыгивают в сугроб и закрывают  
окно снаружи.

Мишенька рубит дверь и подпевает гимну, надрывая горло:

– Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна... Ах, суки, за-  
крылись! Славься, страна! Мы гордимся тобой! Паразиты... Нам силу даёт наша вер-  
ность отчизне. Вот пацды! Так было, так есть и так будет всегда!

Прорвав блокаду, прапорщик видит, что в зале никого нет. Он находит под столом  
нераскупоренную бутылку и уходит в сарай счастливый.

Он долго не пьёт: стоя поёт гимн, путая слова и положив ладонь на правую грудь.  
А потом берёт пятернёй стопку и видит, что на самой поверхности, где водка перели-  
вается хрусталём, плаваеt муха, последняя; он легонько толкает её пальцем, и она на-  
чинаеt барахтаться. «Вот муха-то! – радуеtся Мишенька, как умел радоваться только  
в детстве; ещё днём он видел, что она утонула и спала на стеклянном доньшке, – те-  
перь живая!»

Александр АВЕРБУХ

НА СОЛНЦЕ КРАСНОМ БОЛЬШОМ

I.  
вычитаем судьбу ее  
цветает зрелы сады  
тьмы путаюсь  
день на ночь предельно  
неточные величины  
забудемся вновь

отворим же и  
проступят  
околенные лики  
трутся в объятьях сосцы

всё это – не наше  
оступимся глубже  
вникнем и не было нас  
реже болит аль навечно?

как жила она тут?  
время тянула  
дыхи ткала

сверяем приметы:  
полуторка жизнь  
вторим судьбу  
а найдем и на гвоздик повесим  
и себя не бывало

*а она-то – жила!*

оголтелая пела, пила?  
разговоров неточные нити  
преступай по субботам вела

а теперь под накатом гранита  
тонет горстка седого тепла

---

Александр Авербух родился в 1985 г. в Украине. С 2001 года жил в Израиле, с 2015 – в Торонто. Публиковался в журналах «Двоегочие», «Воздух», «Октябрь», «TextOnly». Книга стихов «Встречный свет» (2009). В 2006 году вошёл в шорт-лист премии «Дебют». В 2009 году вошел в шорт-лист премии «ЛитератураРентген» и в лонг-лист «Русской премии».

2.  
разное было вчера на руках  
кто его вынес большие ворота  
в почиваю замятых садах  
господи и разговор наш короткий

видишь уже рассветает домой  
купим яиц и вчерашнего хлеба  
если забудешь и дело долой  
был ли ты не был

встанешь наружу холщевой души  
стройных обочин кромешного вида  
мелочь отсчитывай на пол не кроши  
скоро рожденья забылась обида

3.  
затихали сады  
проступали броды  
брадобреи воды  
нас ровняли  
и в зазеванный воздух роняли

а заехали так  
вологодский пятак  
а пришли по дары  
и нутро в нашу землю подмяли

из под вод ангары  
красной кромкой по белой эмали

дай им шмат да другой  
да осьмушку себя  
за азовской дугой  
вырвут и застолбят

и подушную дай  
и поденный ага  
чтобы в горле вода  
и щетиной тайга

схаркнул и протрезвел  
за имперский бугор  
по луганской траве  
уходил ревизор

4.  
аня заговорила  
вот-вот

гости уйдут  
заскрипела заголосила  
воевать с крымским народом  
пить канадскую водку  
чай все тогда замолчали  
когда аня не аня  
билась о деревянную ножку антикварного кресла  
а вы, владимир, хотели бы себе  
канадскую водку в таком графине  
от нее не блюют  
на четвереньках  
лакала из черепа  
ссикала в туфли  
не собачатся  
украинские ученые используют ее  
для передачи государственного гимна  
басом пропела  
чтобы время ушло  
куда-то свернулось  
перескочило – с темы на тему  
мордой уткнулось – в огонь  
наше утро разбилось  
хрустальным осколком  
застряло стыдом заиграло  
на солнце красном большом

5.  
тряслось и рябело  
облачко боли

прошлой ночью визжало

всё наступало на память

боле мы не будем править законы  
падать в крапиву дружбы

хохлиться над увечьем  
смаковать салонные букли

и поделом нам – расхристанным  
рядиться в павлиньи перья

всё не зачтется  
а небо смолчит

облако свет не застит



вот тебе и заигрались  
по локти  
в мушином счастье

б.  
а дрожать  
не дорóгой –

дрождá восходить

постной жизнью

нашей                      ранены сидья  
распустились              в убой

этот мой

нехотя впился

и нега взбурлила,  
пенной красной из губ    изошла

он же мой

май да август до крóви

что сорвался              заврался

вырвал клоч

ржавого неба мякину

времени счет заволок

в потолок

тихо выйти уйти

мутный век запрокинуть

отдышаться              в оглоблях

впереди

взаперти

7.  
назови и уймись  
эту бархатну чернь  
в непробудную высь  
по кишашей парче

пьяным шорохом вялым  
тянут хохочущие котлы  
на себя одеяло  
могил выплеснули углы

похоть молитвы опальными строчными  
в спелы горячечны рвы  
сонными кучными клочьями  
тонет в живых яровых

8.  
расходятся  
моря складки  
сядем напротив света  
человек без мнений  
он был  
новая жизнь  
уткнулась в колени  
скоро любовь

## Андрей КРАСНЯЩИХ

### О НИХ – О СТОРОЖАХ

(Глава из романа «О себе»)

*Ты можешь писать совсем фантастическую картину, но пуговица – хотя бы пуговица должна быть абсолютно реальной.*

М. Врубель

Земля-то, конечно, круглая, но мой личный опыт подсказывает, что она квадратная – квадратная, крутится и отсвечивает себе потихоньку.

Лучше всего мне спалось, когда я работал ночным сторожем. Сторож – с ружьём или без, а у нас его не было сроду – должен обходить территорию каждый час, я не появлялся там годами, не вылезал из своей тёплой, да что там тёплой – жарко натопленной сторожки. Вместо меня это делал дед, он выходил на двор курить вонючие сигареты с мусорки – недалеко была свалка табачной фабрики – и, возвращаясь, произносил одну и ту же фразу: «Хуйова бэз радива». Радио и вправду у нас забрали – чтоб прислушались к звукам тишины за окном, а не к тому, что оно бубнило. Когда оно у нас ещё было, дед слушал его с вечера до утра, всё равно что, любую волну, и если я выключал, говорил: «Навищо? Увимкны його – нэхай брэшэ».

Территория авторемонтной базы «Биосервис» была огромной, её ширь и гладь не сжимали даже окружавшие колхозные поля, с которых мы все кормились. Сварщики, слесари, газовщики, автомеханики, нет-нет и начальство – выходили за территорию прогуляться и подышать чистым воздухом, а возвращались кто с мешочком огурчиков, кто – кабачков, кто – лука. У всех были жёны и дети, все были добытчиками.

С дедом – из-за радио и вонючих сигарет, да и сам дед порядком вонял – кроме меня, никто не хотел дежурить. Его это ни капли не обижало, ему было всё равно. Всё равно было и мне: я спал, читал, читал, спал, изредка выходил на свалку проветриться или покормить собак; получал за это зарплату и, в общем-то, был доволен такой жизнью.

---

Андрей Краснящих родился в 1970 году в Полтаве. Окончил филологический факультет Харьковского госуниверситета. Сооснователь и соредатор литературного журнала «Союз Писателей». Автор сборника рассказов «Парк культуры и отдыха» (2008; шорт-лист премии Андрея Белого). Главы из романа «О себе» публиковались в журналах «Новый мир», «ШО», «Черновик», газете «НГ – ExLibris», альманахе «Абзац», интернет-издании «В моей жизни», в переводе Сергея Жадана на украинский – в коллективных сборниках «Готелі Харкова: Антологія нової харківської літератури» (Харьков, 2008) и «Харківська Барикада № 2: Антологія сучасної літератури» (Киев, 2008); в переводе на английский – в журнале «The Massachusetts Review» (США). Лауреат «Русской премии» (2015), финалист литконкурсов «Нонконформизм» (2013, 2015), им. Даниила Хармса (2013), им. О. Генри «Дары волхвов» (2012) и др. Живёт в Харькове. В «Волге» опубликованы интервью (совместно с Юрием Цаплиным) Юрию Соломко (2014, №5-6) и глава из романа «О себе» (2015, №3-4).

Иногда к нам в сторожку приходила уборщица – она искала не деда и не меня, а Костю Гончаря, в которого немножко влюбилась. Чтобы выразить или, быть может, доказать ему свою любовь, она приносила Гончарю котлеты. Костя смущался и потихоньку скармливал их собаке – котлеты, как и всё здесь, жутко воняли какой-то гадостью. Дед говорил, что за свалкой табачки – свалка мяскокомбината, откуда всё и берётся. Дед называл уборщицу «эта мандёха»: возвращался с обхода, видел – в сторожке чисто; и спрашивал: «Эта мандёха приходила?» Она, когда выпивала, дразнила его: «Дед-дед на х.й надет», – и заливалась смехом. Дед на неё не обижался: они дружили с незапамятных времён, и он ей прощал всё, даже её влюбчивость в студентов.

Нас было человек семь. Миша Лившиц – наш однокурсник и начинающий миллионер – арендовал на автобазе склад. Склад стал кожевенным цехом. С директором Толстым (а фамилия его заместителя была Худецкий) они договорились, что Миша посадит своих сторожей: так мы на последнем, дипломном курсе филфака влились в рабочий коллектив. Толстый взял нас к себе на работу, с зарплатой сторожей. Ещё столько же нам доплачивал Миша – от себя. Девяносто первый год, всё только и только началось.

Дед не был героической личностью, он боялся грабителей. Когда ночью подъезжала машина и в ворота светили фары, дед замыкал дверь сторожки на ломик и звонил Худецкому: «Богдан Иваныч! Цэ вахта, тут хто-то прыйыхав». Ему говорилось, чтоб пошёл и открыл, и дед, кряхтя и отплёвываясь, шёл открывать. Приехавшая машина загружала газовые баллоны – два или три – и уезжала. Дед возвращался в сторожку, снова зачем-то закрывался на лом и садился к окну – смотреть на ворота дальше. Он должен был каждый час обходить базу и, если что, звонить начальству, остальное его не касалось. Где-то, дома, деда ждала старуха, своя, а не служебная собака – это и был весь его капитал. Дед ни разу не поинтересовался, что я за книжку читаю, где учусь, что буду делать потом, не лез ко мне с разговорами – и это меня устраивало. У Кости, Емца, Вазыка, Степанюка напарники были помоложе и пообщительней, иногда мы менялись сменами, и мне приходилось всю ночь отвечать на их вопросы или, кивая, вполуха выслушивать истории их жизней.

Все наши хотели попасть на смену с Рокитянским – худым, весёлым, прикольным, совершенно не похожим на мрачных и быстро напивающихся бывших афганцев. Рокитянский не пил вообще, у него была машина, на которой он ездил в город за проститутками и всё время привозил самых облезлых и зачуханных – «обсосин» и «ковыренок». Те делали ему минет – за перегородкой, где стоял поломанный диван, – и он их отвозил обратно. Он любил послушать и поговорить, все – хоть мы, хоть проститутки – были для него просто людьми, собеседниками. Ещё у Рокитянского лежало в машине ружьё, из которого он иногда давал пострелять – в деревья и по забору. К нашей глупой сторожевой собаке Рокитянский относился как к своей собственной и привозил ей из дома не только кости, как многие из нас, но даже суп или борщ. Собака была глупой, потому что радостно приветствовала всех без исключения – и своих, и чужих, – лаяла только на кошек и никогда на тех, кто подъезжал вечерами к воротам. Она совершенно не годилась в сторожа. Собственно, как и все мы.

Рокитянский рисовал карикатуры – живые, с очень похожими физиономиями, все – с сексуальным сюжетом. У него была целая папка таких рисунков – на Толстого, на Худецкого, на бригадиров и на каждого рабочего. Они стояли со спущенными штанами, держа в руках огромные, с резьбой по всему стволу члены и пытаясь их засунуть, ввинтить в выхлопные трубы машин, замочные скважины, горлашки газовых баллонов, в пасть Шарикю и друг в друга. Словом, в любую дырку. Все – и кто засовывал, и кому засовывали – с жутко довольными улыбающимися физиономиями. Огромный

член и улыбающееся лицо были фирменным знаком рисунков Рокитянского. У Кости – срубившего под Новый год в Ботаническом саду ёлочку, пойманного с поличным возле общежития и благодаря первому в Харькове коммерческому телеканалу «Тонис» ставшему звездой экрана – до сих пор где-то хранится рисунок, где он – понятно, во весь рот улыбаясь, – согнувшись, замахивается топором на маленькую ёлочку, а сзади его уже натягивает на чудовищных размеров член жизнерадостный милиционер. Ни тени конфликта. Полная идиллия.

Один раз Рокитянский от минета заразился триппером и не знал, что сказать жене: они занимались сексом каждый день, отказ выглядел бы подозрительно. И придумал: сунул член в банку с растворителем – «чтоб пошла аллергия: перебирал мотор, пошёл отлить и взялся грязными руками». Когда Рокитянского увозила скорая, он улыбался.

«Пойихав дали охуйки збыраты», – сказал дед. «Охуйки збыраты» – значило у него ничего не делать или заниматься ерундой. В его глазах все мы «збырали охуйки»: Толстый – в своём кабинете; сварщики – в цеху; я – на диване в «отсосочной», с книжкой в руке. Даже Миша – как вихрь появляющийся, чтобы посмотреть, как дела, и уехать.

Сварщики, шофёры, рабочие один за другим переходили к Мише: полдня они теперь работали на Толстого и полдня, как только Толстый уезжал, – в Мишином цехе. «У Моисеича», – говорили они. Миша уже не только красил кожу, но шил из неё куртки и плащи. Чёрные, коричневые, тёмно-серые, тёмно-зелёные, они стопками, грудями лежали на складе, который Миша недавно взял в аренду у Толстого в придачу к цеху. У нас, сторожей, обязанностей прибавилось: теперь мы должны были по очереди дежурить возле склада и следить, чтоб ни свои, ни чужие из него ничего не вынесли.

Выносили, конечно, но так, не слишком наглея. Договаривались с нами, с завскладом, давали деньги. Дед всё видел, но деньги брать отказывался. И отказывался охранять склад: «У тэбэ твий начальник, в мэнэ – свий. Ото такэ».

Через какое-то время мне, правда, надоело слоняться у склада, и я вернулся в сторожку, к деду и книжке. Дед не одобрил моего возвращения: «Ты ж маэшь буты там», – но никому ничего не сказал.

Завскладом теперь управлялся один, и весь приработок доставался ему. Мне к стипендии вполне хватало двойной зарплаты. Дед обходился своей одной и пенсией.

Миша продолжал расширяться: теперь он уже арендовал полбазы – под меховой цех и новые склады. Рабочих рук не хватало: он давал объявления в газетах. Недавно как раз появились «Реклама», «Премьер», «Харьковский курьер» и другие, отводившие много места объявлениям о найме. Да и старые газеты – «Красное знамя», ставшее «Временем», «Ленінська зміна» – «Событие», – всё больше отдавались рекламе.

К концу нашей зимней сессии в «Биосервисе» не осталось работника, включая бухгалтеров, кто бы ни работал параллельно и у Миши. Разве что Толстый и Худецкий, хотя, конечно, свою зарплату у Миши получали и они.

Старые автобазовские сторожа тоже теперь числились и у Миши, получая зарплату такую же, как и мы. Целиком, безраздельно «Биосервису» оставался принадлежать только дед. Он упорно стоял на своём: «Мени досыть отиейи базы. И пыздэць». Дедов «пыздэць» был твёрже железа. Миша не настаивал. У него хватало забот: завести новое оборудование, расширить сферу сбыта – найти немцев или шведов; краска, химикалии, гарнитура... А к весне ещё ферму для норок – чтоб выращивать, а не закупать.

Всё так и получилось. К весне, еле-еле находя время для диплома, а писал он, если не ошибаюсь, что-то по русской литературе, Достоевский или Толстой, Миша арендовал уже весь «Биосервис» и ещё гектаров пять рядом лежащих колхозных полей – под будущие фермы и цеха. К нам приезжали шведы и немцы – смотреть, вкладывать или не вкладывать в нас инвестиции. Миша поменял «шестёрку» на иномарку – тогда только-

только появились перегоняемые из Германии «вольво». Ещё он купил переделанный под автобус оранжевый «КрАЗ» – развозку для рабочих. Она по утрам забирала их у метро «Комсомольская» и вечером привозила обратно.

«Биосервис» ещё значился везде как коммунальное предприятие, но фактически существовал лишь на бумаге. Ни авторемонтом, ни газоустановкой он уже не занимался, а вся прибыль шла от аренды. Базовская техника понемногу распродалась, и в старые мехи вливалось новое вино: шведское, финское, японское. Рабочим выдали специальную форму – оранжевые комбинезоны со множеством больших и маленьких карманов. Сторожа, которые теперь назывались охранниками, – тоже: только без карманов и тёмно-синие. Ещё Миша пообещал нам всем ружья – помповые, но стреляющие почти как настоящие, громко.

Дед комбинезон не надел и ходил по базе в старой, вонючей, вылезшей клоками фуфайке. Он возвращался в сторожку, садился у окна и говорил: «Хуйова бэз радива», – хотя в углу, прямо напротив стоял маленький телевизор, привезённый Мишей. Впрочем, я телевизор тоже не смотрел. Читал. Спалось мне всё хуже: каждую ночь снились какие-то грабители, вооружённые, в масках, как в кино, и я, просыпаясь, долго не мог заснуть и бродил по базе. В лунном свете казалось, что их не одна, а две: посмотришь так – вроде всё знакомое; посмотришь чуть-чуть по-другому – и вдруг фантастический пейзаж, везде затаились монстры. Дед читал где-то подобранную старую газету, сплёвывал на пол и смотрел в окно. На пустую дорогу. Иногда он искоса поглядывал на телефон, но звонить было некому, от Худецкого давно уже никто не приезжал, и ничего не вывозилось.

Вернулся из больницы Рокитянский, и сразу как афганец – в начохраны. Рассказывал о медсёстрах, показывал пачку новых рисунков – с докторами, больными, открученными и прикрученными не туда членами, просто членами, гоняющимися по коридорам за санитарами.

Однажды мы с Рокитянским стреляли по деревьям и подстрелили нашего пса. Он издох у ворот; я видел, как они плачут – он и Рокитянский. Утром мы зарыли его у дальнего забора.

Нового пса через неделю привёз Вазык. Огромного, чёрного, бешеного, на всех кидающегося. Вазык добирался на работу на каком-то грузовике, по дороге они заехали в детский сад, где сбесившийся пёс искусал воспитательницу и несколько детей. Водитель – оказалось, что это живодёр из санслужбы, – еле поймал его петлей и затащил в кузов: воспитательницы просили не убивать пса на глазах у детей. «Щас отъедем», – сказал водитель Вазыку. «А может, его нам – в “Биосервис”», – сказал Вазык.

Так на базе появился Демон. В первый же день он перегрыз цепь, искусал трёх рабочих и Худецкого, сожрал живьём уборщицкую кошку, загнал всех в административный корпус и улёгся у ворот, рыча и никого не впуская и не выпуская. Это был абсолютный охранник, только и вправду сбесившийся и не различающий своих и чужих.

Кое-как его изловили и снова посадили на цепь – на двойную. Три дня он терроризировал базу, кидаясь на всех без разбору, и на четвёртый снова сорвался, выдернув цепь из стены. «Сделайте что-нибудь», – просил закрывшийся в своей машине Миша. Через полчаса должны были приехать немцы, времени ждать живодёрку не оставалось. Это как раз должна была быть моя – моя и деда – смена. Но я тогда поменялся с Костей. Костя звонил Рокитянскому – Рокитянского не было дома. На пса бросились с палкой, пёс её вырвал и вцепился рабочему в ногу. Рабочий катался по земле и визжал. Костя метался в сторожке.

Изорвав ногу одного рабочего, пёс бросился на другого, целясь схватить за горло. Наверное, этому его тоже учили. Рабочий отмахивался ножом для разделки шкур и

несколько раз удачно задел пса. Костя, полуоткрыв дверь сторожки, кидал по собаке белые кирпичи, но не попадал. В это время из-за бывшего монтажного цеха вышел, завершая обход, дед – в своей старой серой фуфайке. Пёс, как верный Руслан, или Альф, отреагировал на фуфайку мгновенно. Деду был конец. Он остановился, замер и смотрел, как пёс гигантскими прыжками несётся прямо на него. Все видели, как за несколько метров до деда пёс, оттолкнувшись от земли, вытянулся в линию – от морды до хвоста, словно завис в воздухе, а потом, сгруппировавшись, обрушился на деда и свалил его с ног. И все видели, как через секунду пёс облизывал деда ярко-красным большим языком. Дед умер или тогда, или раньше – то ли от удара, то ли от страха, то ли время пришло. Рассказывали, пса долго не могли отогнать от трупа. Рассказывали, что приехал Рокитянский и пристрелил его, но пёс странным образом ожил. Рассказывали, что пса забили палками, но он оказался живуч и снова открыл глаза. Говорили, что ему удалось убежать и он до сих пор где-то бродит, пугая ночами сторожей, – говорили те же самые люди, что видели его мёртвую отрезанную голову, водружённую на кол, со свисающим языком и открытыми глазами. Я ничего этого не видел и никакого воя по ночам, как другие, не слышал. Когда я вышел на смену, остались только рассказы. Ночью я не спал, ходил вместо деда по территории, возвращаясь, сидел у окна. Без деда было немного... грустно, что ли, – как деду без радио. Уныло.

Костя проработал ещё месяц и ушёл писать диплом. Уволились все наши – Вазык, Емец, Степанюк. Теперь оставшиеся дежурили по одному. Я проработал дольше всех – до самого лета, и кто знает, – может, застрял бы здесь на всю жизнь, если бы как-то на моей смене – я снова спал спокойно – не разобрали новенький Мишин трактор. Остались только колёса. Рассчитывая меня, Миша, смущаясь, выдал ползарплаты, хотя трактор, думаю, стоил тысячу моих зарплат.

Через полгода я узнал, что Мишу вела СБУ и поймала на взятке. Он её кому-то давал. «Биосервис», точнее, Мишино ЧП перешло к новому, неизвестному мне хозяину.

## Андрей ПЕРМЯКОВ

### СТИХИ ДЛЯ ЖЕНИ КОРОБКОВОЙ

#### **Нагельфар следует поперёк Волги**

В городе будто море, но в городе только река.  
За это в реке – почти настоящие корабли.  
Львы из плохого металла, из слабого известняка  
Обороняют подъёмы мокрой и сизой земли.

Девочка ногтем чертит странный корабль на окошке.  
Маршрутка пересекает Оку, идя через метромоет.  
В кораблике точно черти, но она утверждает – кошки.  
«Видишь вот это ушки? Видишь, вот это хвост?»

Вижу вот эти рожки, вижу эти ботинки,  
Похожие на ботинки из необычной кожи.  
Вроде, под шапками, лица, но в отражениях – рожи.  
Стёкла – они такие, стёкла – фотопластинки.  
Особенно если зимою. И на закате тоже.

Девочка чертит чёрта, девочка чертит кошку,  
В окна плывёт закатный, гномами взбитый лёд.  
Девочка хнычет маме: Ну, помоги немножко.  
И, говорит, кораблик. И, говорит, плывёт.

#### **Мещёра**

Эта, другая, которая после жизни,  
вдруг прорастает в ягодах и больше всего в рябине:  
ночью почти всё растает и только на маленькой льдине,  
почти в середине большой металлической бочки  
три красных кружочка. А свет на них брызнет,  
так прямо брызнет, что ...  
А, нет, ничего. На печке проснулась дочка.

---

*Андрей Пермяков родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Жил в Перми и Подмоскowie. В настоящее время проживает во Владимирской области, работает на фармацевтическом производстве. Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «Алконостъ», «Арион», «Вещь», «Воздух», «Знамя», «Графит», «День и ночь», «Новая реальность», «Новый мир» и др. Автор книги «Сплошная облачность» (2013). С 2007 года постоянный автор журнала «Волга». Лауреат Григорьевской премии (2014).*



Тёмноволосая оборачивается в дверях, чуть ждёт.  
Облако слишком прозрачно, это, наверное, бабке пора.  
Давно собиралась.  
...В бочке на дне рябина, жимолость, ещё разная малость.  
Пёрышко сверху плавает, представление им играет.  
То тень его – тигр полосатый, то домик для комара.  
Такая игра.  
Жуть ждёт.

### Туман садится

Ветер с плохой луны  
по заповедным ночам  
носит плохие сны  
детям и палачам.

В первой и жёлтой мгле  
вдоль золотого стекла  
ветер стекает к земле,  
будто бы сам он мгла.

Тянется вникуда,  
прячется глубоко  
тоненький ветервода –  
золотомолоко.

### О началах

Уходили в плохое вечное маленькие детские армии.  
Девочки на переменах сочиняли сказку о роботе.  
В его несуразном топоте, в их торопливом шёпоте,  
жили особые звуки, звуки ходили парами.

Это оттуда, из школьного, это оттуда, конечно.  
Прочее будет дольше, прочее будет тише.  
Дальше, конечно важно: запах скользкой черешни,  
может, ещё важнее цвет облетевшей вишни.

Запах картонных вишен, мелочь латунных черешен,  
звуки картонных шагов робота с именем, «двойка».  
Самый такой ненужный, самый горький-прегорький  
вкус фиолетовой пасты, если прокусишь стержень.

Словом, стихи оттуда, где мел перепачкал руки,  
где громыхают медовые в серой коробке краски.  
Падает мел на брюки, девочки пишут сказки.  
Завуч глядит картонный, парами ходят звуки.

### Про казанских

«К рюмке давали закуску, газету и папиросу»:  
то есть, платили за рюмку, а остальное – бесплатно.  
То есть совсем бесплатно, то есть вот просто даром.  
Дворники – да, наблюдали. Трезвые такие татары.  
Смотрели на пьяных косо, думали, не вызвать ли городского.  
Потом говорили: «Да ладно, но ты зачем так снова?  
То есть зачем так снова ты, русский, сегодня выпил?  
Ты ведь опять выпьешь, ты потому что ты русский».  
Отводили домой, это у дворника как бы нагрузка.

Жаловались конечно. Просили на чай.  
Но хозяева кабаков не принимали жалоб.  
Обидное говорили: «Не нравится дело – прощай!»  
...  
Всё прекратилось, точно кому-то мешало.

### Святки

Выходишь у эстакады, смешно говоришь: «Зур Рахмет».  
Марат отвечает: «Гуляй, самому тебе Зур Рахмет».  
Так улыбается, будто тебя ругает.  
От уходящей машины проистекает свет,  
от ломкого фонаря проистекает свет,  
а более ниоткуда свет не проистекает.

Влажная, колкая тьма сильно мешает дышать.  
Ты слабый такой, точно тебе пять лет.  
Думаешь: если волки, так ведь и не убежать.  
А снег с фонаря летит рыжий такой, крупный.  
Смотришь на этот снег, вдруг произносишь: «Свет».  
Тут понимаешь про тот свет и этот свет.  
Тут понимаешь, что снег это тоже свет. И волк это тоже свет.  
И самая эта вот тьма это тоже свет.  
Свет неприступный.

### Свердловское

*Versus cum auctoritate*

*Днём в два часа уснуть на два часа.  
Непосвежев, проснуться ровно в полночь.  
За штору убегают чудеса  
и зеркало глядит как будто сволочь.*

*Всё – зеркало, всё – свет, всё – отражение.  
Всё темнота, и темноты так много.  
На кухню за какао и печеньем.  
Там зеркало опять и два порога.*

(А путь и далек и долог  
и повернуть назад вполне себе можно.  
Время хороший лекарь, очень плохой стоматолог,  
совсем никакой специалист по омоложению кожи).

Ещё уснуть и продолжать игру  
за уходящей в горизонт доскою.  
Пускай, как человек я не умру,  
но дальше *всё такое, всё такое*

### Закулисное

Звуки дождя неотличимы от звука аплодисментов.  
Режиссёр-постановщик был хитрый, вот и придумал такие звуки.  
В саду перед домом Сорина – Маша и Медведенко.  
Молчат, улыбаются, тянут куда-то руки.

В самом финале, на «Константин застрелился» упал кофейник.  
Занавес тоже упал под аплодисменты зала.  
Надпись на оном: «При постановке ни одна чайка не пострадала» –  
действительно, режиссёр оказался большой затейник.

На улице чайки страдают от слишком раннего снега.  
Актёры были плохие, оттого захотелось чаю.  
(Вино это для веселья, а чай – настроенье поправить).  
Пишешь в большой телефон: «Приходи, я в трактире Телуга.  
Столько не виделись, очень люблю, скучаю».  
Потом выбираешь долгую полуминуту: кому отправить.

Пока не получен ответ, вспоминаешь худшего всё же актёра:  
Он сам по себе плохой, а ещё у него порвалась сорочка.  
Ему из партера про это какие-то дети кричали.  
И тут вот приходит не первая, но важная строчка...  
Да: чаще всего они растут из такого примерно сора.  
Из такого плохого Сорина, из такого остывшего чая.

### Методы вычитания

#### I

Строчка Василия Бородина  
«Я люблю тебя так, что вода начинает сиять»  
была исполнена сегодня дуэтом  
в электричке «Москва – Петушки».  
Состав дуэта: Он (далее «М»);  
Лена (далее, чтобы не усложнять «Д»);  
Аккомпанемент: обычное железнодорожное,  
кое, впрочем, как раз прекратилось  
в связи с остановкой «87-й километр»;

повзякивание бутылок, поставленных рядом.  
Персонажи нетрезвы, М чуть более.

М: «Я люблю тебя».

Д: «Так... что?»

М: «Вот, да».

Д начинает сиять.

Если совсем уж честно, первая реплика звучала как «Я же люблю тебя».  
Но с точки зрения художественных практик, вселенских гармоний, оживающих к марту трав, и тем более электрички ЭД4-М, сие весьма маловажно.

## II

Строчка Василия Бородина  
*«Я люблю тебя так, что вода начинает сиять»*  
была исполнена сегодня дуэтом

М: «Я люблю тебя».

Д: «Так... что?»

М: «Вот, да».

Д начинает сиять.

## Петербург в наушниках

Дважды вывернутая наоборот строка:  
Не выговорить такую строку, а постараться, так можно:  
Бчон ацилу ьраноф акетпа.  
Дальше опять живёшь, только уже осторожно.

Звуков не слышно, но белые с розовым вспышки.  
Нет, не гроза, а салют, поскольку обильная гарь.  
Песня кончается, как закрывается книжка.  
Белым глаголом ночулитса белый фонарь.

\*\*\*

Ангел издалека немножко похож на ангела,  
на аккуратного ангела маленького осеннего дня.  
Справа от ангела буквы «Посёлок Новая Англия» –  
белые домики тех, кому хорошо без меня.

Лес в октябре это капли нестрашной крови.  
Можно тихонько смотреть и по-стариковски мечтать.  
Я хотел бы жить и умереть, допустим, в Тамбове,  
но если честно – совсем не хочу умирать.

Впрочем, жить в одном месте тоже противно,  
получается такая смешная, неправильная игра:  
будто в хохляцком такси меняешь рубли на гривны,  
а рядом лежат монеты из белого серебра.

Вот поэтому говорю не церковному недотроге,  
но тебе, светлый ангел рекламного цветного щита:  
То, что со мной случится, пускай случится в дороге  
а дальше – невидимая дорога и прочая красота.

### Сбывается

«Нарисованным на шёлке лягушкам  
Снятся цапли, нарисованные на шёлке» –  
Потому что дождь через сетку прыгает в кружку,  
Потому что дождь этой ночью необыкновенно колкий,  
Потому что сейчас не уснёшь – так уже до утра,  
Потому что кровать коротка, а бельё на ней очень большое,  
Потому что сыро снаружи, а в палате жара и жара.  
А ещё на чужом обязательно снится чужое:

Чужие какие-то цапли, совсем чужие лягушки.  
А у соседа нечеловечьи повёрнута голова.  
А у соседа не так голова лежит на подушке.  
Давишь квадратную кнопку. Лампочка будто игрушка,  
Яркая очень игрушка, красная слишком игрушка.  
И сирена как будто игрушка, громкая очень игрушка:  
КВА – КВА – КВА.

### Сотворение

Происходила почти какая-то ерунда.  
Маленькие совсем люди в маленьком доме.  
Что-то витало такое, как термин «беда».  
Что-то не самое нужное, точно кубики льда.  
Хотя ничего не происходило кроме  
обычного, чего происходило всегда.

Вспомнили даже про «бесноваться под бременем».  
Ребята были литературные, Хлебникова любили.  
Отвлеклись в окно: «А это что за планета?»  
«А эти звёзды там правда есть?» – «Правда были».  
И они целовались, *и тьма летала над бездною.*

Знали уже полгода: интересна только борьба со временем –  
видимо оттого, что она самая бесполезная.

КАК ПОЙМАТЬ СТРИЖА

Рассказ

И сама Настя, и Нюша, будучи уже взрослой, любили вспоминать, как летом ходили смотреть стрижей. С утра экипировались – повязывали косынки, чтобы не напекло, в плетеную корзинку складывали хлеб, головки лука, куски домашней брынзы. Худые, загорелые, обе в одинаковых платьях, сшитых Настей из ситца, много лет лежавшего в ящиках, мать и дочь выходили из дому, запирали калитку и большими, радостными шагами шли к лесу.

Идти было недалеко, но все равно маленькая Нюша на полдороге начинала хныкать, плюхалась задком на траву, и Настя вздыхала, поворачивалась спиной, позволяя дочери влезть, уцепиться за шею, поднималась, и так продолжали путь. Никакого пункта назначения у них не было, но они привыкли останавливаться на лысой поляне, возле большого камня, на который вылезали греться зеленые ящерики. Пока Настя раскладывала покрывало, Нюша старалась подкараулить и схватить за хвост одну из ящериц, ей никогда не удавалось, а так хотелось! – мать ведь рассказывала, что проворная змеевидная тварь ускользнет, оставив в руках Нюши законный трофей – хвост.

Стрижей в округе было много, легкие, быстрые, носились они по воздуху, то забиваясь в воздушные сферы так, что пропадали из глаз, то камнем падая вниз, Нюша даже прикрывала глаза от испуга – разобьется же! Но и сама знала, что не разобьется, делала так для общего удовольствия, переглядывалась с матерью, картинно смахивая с лица пот – мол, пронесло, а я и не ожидала. Смеялись. А стрижи будто знали, что за их представлением наблюдают, – мастерски поворачивались и крутились в воздухе, разрезая его серповидными крыльями, схватывались и боролись прямо на лету, с криком, напоминаям визг.

– Вот бы и нам домой такого! Вёрткого! Мама, мама, а как поймать стрижа?

– В воздухе никак не поймать, а вот... – и Настя рассказывала Нюше, что – вот дела! – эти быстрые ловкие птички на земле совершенно беспомощны, не могут ни ходить, ни даже ползать. Нюше их было жаль – как так, у них что, совсем нет ножек?

Возвращались в хорошем расположении духа, слегка разморенные от жары, делам в тот день предстояло спориться – по поверью, стрижи сулил удачу.

Верить приметам у них было самым обычным делом, само собой разумеющимся. Приметы изобретались совершенно обыденным образом, и трудно было вспомнить, откуда что повелось. Да и не только у них, – и что там приметы, – ни об одном вишнёвце нельзя точно было рассказать, кто он и что он, а в датах и вовсе была страшная неразбериха, паспорта терялись, на их место заводились новые, данные в которые вписывались со слов вишнёвцев, и вполне могло оказаться, что год рождения сына пришелся на год раньше рождения отца. Не то чтобы вишнёвцы небрежно относились к времени, просто

---

Анна Останина родилась в 1989 году в городе Семипалатинске Казахской ССР. Закончила филологический факультет в Институте русского языка имени А.С. Пушкина. В 2013 году закончила магистратуру по специальности «Коммуникация и пиар» Бухарестского университета. В 2013, 2014, 2015 годах принимала участие в Форуме молодых писателей в Липках. Публикации в сборниках «Новые писатели» (2014, 2015), журнале «Знамя» (№3, 2015). Живет в Бухаресте (Румыния).

и время у каждого было своё – у одного день пролетал перед глазами, у другого – тянулось до вечера бесконечно, и общей системы координат здесь нельзя было вывести. Некоторые плевались и уезжали, что за гиблое место такое, в котором часов не наблюдают! – а вот Настя нет, наоборот, привыкла и покидать эти места не собиралась.

Жила она в Вишнёвке уже одиннадцать лет, а Нюрочка и вовсе здесь родилась, под присмотром бабы-акушерки. И обе срослись со здешней землей, которая на вкус – уверяла Нюрочка – сладкая! – и с домом, заросшим по бокам изумрудными розетками мха, с гнездами, которые повадились клеить ласточки. Деревянная мебель в доме – старинный платяной шкаф, ореховый комод и напольные сундуки – медленно изо дня в день, из года в год точилась упорными жуками-брунетами, а стоило приоткрыть тяжелую полированную крышку или дверцу, как начинал плыть по воздуху крепкий нафталиновый запах, которого здешняя слепая перламутровая моль боялась как огня.

С утра Настя обычно занималась простыми ежедневными делами – кур покормить, обед сварить, подмести на кухне, но одновременно и напряженно прислушивалась. Вот так терпеливо, даже со смирением ждала она, когда уже пронесется по дому отчаянный предсмертный вздох, завоюют тетки, зашелестят обувные подошвы по полу, встречая и чувствуя смерть, иногда ей даже снилось: лежит на столе в центре комнаты покойная, широко раскинув ноги, в нарядной шуршащей синей юбке, сшитой несколько лет назад специально для подобного случая.

– В ней меня и закопаете, – говорила Филипповна, и становилось немедленно ясно: зажилась старуха на белом свете. Старожилы твердили, что быть ей первой долгожительницей во всей области, Филипповна шла на рекорд.

И вот то, чего ждала Настя, все-таки случилось в один из апрельских дней. На грядки Филипповна выходила по-прежнему каждодневно, хоть Настя ее и ругала, и отправляла в дом. Ранним утром старуха вынесла из сарая ведро, поставила на землю, хотела на него сесть верхом и вдруг согнулась, скрючилась в узел, одной рукой стала рвать воротник толстой вязаной кофты, но растянуться не выходило. Испуганная Настя было к ней – а потом давай кричать Нюру – беги, Нюра, к соседям, скажи, чтобы звонили в скорую. Врачи добрались до их стоящего чуть в отдалении, на холме, дома нескоро, недовольные – на холм карабкаться нужно было самим, машине не проехать, делали реанимацию – пихали в горло Филипповне резиновую трубку. Насте было ее жалко – до последнего дня держалась старуха гордо, охая и держась за спину, ковыляла до нужника в конце участка, вешала занавески, замешивала тесто для лепешек, а теперь, опозоренная, с резиновой трубкой в горле и задравшейся юбкой, лежала распростертая у себя в огороде.

Так Филипповны не стало, и дом сразу посвежел, обновился, Нюра, точно резвая козочка, скакала по комнатам, громко топя, что раньше делать ей строго воспрещалось, а Настя потягивала чай из кружки, добавляла малинового варенья из подпола, любила послаще, и за праздность – что за чаепития в разгар бела дня? – некому больше было ей пенять.

Двадцатилетняя Настя появилась в Вишнёвке случайно, ее тут никто не знал и не ждал, из вещей – один чемоданчик с небогатými трикотажными кофточками да начинающий проглядываться живот. Филипповна тогда большое дело сделала – накрыла ей протыстый уголок возле печки и несколько дней не трогала – дала отлежаться, прийти в себя. Старухе и соседям о своем прошлом Настя рассказывала разное: одним – что в прошлом была актрисой, вторым – что уехала в Вишнёвку, спасаясь от ухаживаний назойливого старика-миллионера, рассказывала и тут же забывала, а те охали, покрывали и на несоответствиях не ловили, родившуюся Нюру обожали и баловали безбожно то конфетами, то зарубежными мультяшками.

И мечтавшая о другой жизни, не сельской – столичной! – Настя успокоилась, обжилась, обросла вещами, как это бывает на новом месте, – одно подарили, другое нашлось само. Вещи были не новые, с историей, как и сама Настя, у которой в предыдущей жизни осталось много нерадостных воспоминаний. В младших классах звали ее по-разному, и Врушей, и Мельницей, а то и натуральным Треплом: жалуясь на боли в животе, Настенька уходила с уроков, за углом покупала мороженое, глазела на детей с мамашами, прогуливающих по аллее, в обед приходила домой. Отец, прознавший про ее «недомогания», визверился и вытащил из брюк ремень. Битье стало повторяться, ибо дурочка Настенька, надеясь избежать наказания за одну ложь, выдумывала вторую, третью, а когда все раскрывалось, она, битая, лежала пластом на постели и дня два не могла подняться. Автослесарь Зимин не был злым человеком, но и не хотел признавать несостоятельность своих педагогических методов, лупастил уже не просто ремнем, а ладонью, розовыми скакалками и еще бог знает чем, что подворачивалось под руку.

В шестнадцать Настя ушла из дому. Смешной и грустной одновременно была причина: родитель выпивши не нашел в кармане тысячи. Решил, что это была Наська, отметелил ее со всей дури полотенцем и добавил фингал под глазом. Самое обидное было в том, что денег этих Настя не брала, – через два дня папаша вспомнил, куда их сам же из кармана переложил, но было поздно. С фиолетовым глазом съехала Настя из дому, ночевала у подруг, потом зайцем села в электричку, даже не зная, куда едет. Вышла на вокзале, покрутила кудрявой головой по сторонам, и решила податься в официантки привокзального кафе. Там же познакомилась с веснушчатым Василием, любовь, стали жить вместе. Но страсть рассказывать небылицы, выворачиваться, врать о мелочах никуда не делась. То придумывала, что родители ее богачи, живут в семикомнатной квартире в столице, то начинала описывать дорогие подарки, которые ей никогда не дарили. Василий выгнал непутевую, как он любил повторять, подругу из дома, когда она принялась трезвонить о якобы намеченной свадьбе.

И вот, беременная, с легоньким сухим чемоданчиком и зареванным лицом, она оказалась на железнодорожной станции. Жалеть Настя не жалела – такая родилась, по другому не могла, но слезы сами катились из глаз – и куда ей теперь?

Напротив нее, на неудобном вокзальном стуле сидела женщина, плохо одетая, в старой линейной панаме на желтых свалевшихся волосах. Изредка она вставала, подходила к очередному разомлевшему от ожидания пассажиру и наклонялась к нему – от нее шарахались, мало ли что на уме у помешанной. А вот Настя осталась сидеть, как сидела, даже головы не подняла, и тогда женщина зашептала ей прокуренным голосом:

– Что, плохо? Вижу, плохо. Ничего, оно бывает и хуже. Люди тут злые, не помогут, не обернутся, уезжать тебе надо.

– А вы что же не уезжаете?

– А я не могу. У меня сын на Юбилейном живет, я за ним хожу смотрю, как он и что он. И внук маленький, четыре годика, Витек. Я к ним не приближаюсь, конечно, то-то скандалу было бы от невестки, издалека смотрю. А ты поезжай, вместо меня.

– Куда?

– В Вишнёвку. Слышала про такую? Нет? А то, мало кто слышал. Богатое место, землицу хоть на бутерброд вместо икры мажь. И люди там другие, живут по совести.

– А мне там что? У меня ни друзей, ни родственников, кто приютит?

– А откуда знать, кто? У кого душа ляжет. Ты по улице пойдешь-пойди да свой чемоданчик и поставь там, откуда по-доброму позовут. Поняла?

И тетка вдруг ласково погладила ее по голове.

– И как же добраться до этой Вишнёвки?

Ни в какую Вишнёвку она в момент самого вопроса и близко не собиралась, но как только спросила, стало вдруг ясно – поедет. И как тетка сказала – сделает.



– А пойдём, я покажу. С другого выхода тут будет автостанция. У самого края слева останавливается газель, ты – туда, и скажи, что до Вишневки, а то не остановит. Остановка эта по требованию.

И не обманула. Была и газелька, был и водитель – усатый армянин, который высадил на дороге у указателя «Вишнёвка», только вблизи указателя ничего и близко не было – заросшее бурьяном и полевыми цветами поле луговое. Водитель закрыл дверь, и она в испуге выкрикнула:

– А куда теперь-то?

– Тропинку в поле найдёшь – и по ней. До деревни выведет.

С трудом нашлась узенькая тропка в поле, выведшая прямо к этому холму, где Филипповна жила. Сама она, старая, согнувшись, тащила в гору ведро – наверху питьевой воды не было.

– Давайте помогу, – вызвалась Настя, хватая у нее ведро.

– А ты откуда? – подозрительно спросила старуха. – Я тебя не знаю.

– Приезжая я, только с автобуса.

– К родным, что ли?

– Нет у меня родных.

– А зачем?

– Место, говорят, у вас хорошее. Мне в городе жизни нет. Надеюсь у вас в Вишнёвке пока остаться.

– Ну оставайся, – сказала старуха, – ляжешь у печки. Только я ночью храплю сильно. Это ничего?

– Ничего, – ответила Настя.

И вот так-то и осталась у Филипповны. Помогала по хозяйству, потихоньку выучилась вышивать свадебные фаты – так и зарабатывать немного начала.

А когда старухи не стало – походила-походила и стала заглядывать в потайные места, хозяйские тайники, куда раньше ходу не было. Покопалась в сундуках – повиытаскивала на божий свет лежалые старинные кружева, лисьи воротники, заглянула в кладовую, что под замком, – вынесла фарфоровые крынки. Богата была Филипповна, но и скупа, даже хлеб из магазина не покупала, свой пекла, на рынке торговалась за лишнюю рубль и всюду со своим безменом, если что – то в крик: недовесил сто грамм! А тут у нее, за дверями и под крышками, ценные вещи, многие раритетные уже, так это даже и дороже встанет.

– Что делать-то с этим? – спрашивала, скривившись, Нюша, пиная ворох хозяйских вещей, лет которым было о-го-го.

– На рынок вынесем и продадим, – ответила Настя, подумав, – кто-нибудь да купит.

И понеслось. С утра грузили вместе тележку – в руках нести тяжело, – на дно укладывали обмотанную тряпками посуду, чайные чашки, вазы, сверху хозяйские платья, что побогаче, меха, пряжу, – и Настя впрягалась в тележку и катила, изредка останавливаясь и вытирая пот с лица, до самого рынка. Рынок в Вишнёвке был оживленный, особенно субботний, – выскакивали рыжие мужики, точно петухи, с молочными просьятами в руках, громко зазывала на рыбу усатая толстая торговка, шелкали семки и смеялись громко молодые. Настя вставала с той стороны, где каждый со своим бараклом приходил, с детскими вещами, ненужными книгами, растениями в пластмассовых горшках, и раскладывала на тряпке сокровища Филипповны. Сначала боялась, держалась скромно – начнут судачить, что сразу после смерти вынесла продавать вещи, а потом почувствовала себя свободнее – кто там смотреть будет, Филипповны вещи или еще кого. Подходили женщины, шевелили вещи, пробовали на себя. Настя отдавала дешево – да и не знала настоящей цены, все лучше, чем в ящиках им пылиться.

На вырученные деньги они с Нюшей покупали сладостей, фруктов, безделушек – ко-сынку Насте, сережки Нюше. Дочка про Филипповну не вспоминала, да и Настя предпочитала не говорить – похоронили, так тому и быть, и готовить старухе больше не надо, и развлекать ее разговорами. Поднимала их Филипповна до зари – мол, дел не переделять, отправляла за водой, топить печь, на огород, а теперь и повалиться можно было часиков до девяти, когда слаще всего спится.

В один из утренних часов, когда нежилась Настя на мягкой кровати, а Нюша сладко похрапывала под одеялом из гусиного пуха, в дверь принялся кто-то ломиться, стучать и громко звать: «Мама! Мама!» Перепуганная, разбуженная Настя в одной ночной рубашке бросилась к окну, высунула голову, морщась от солнечного света, спросила:

– Кто там?

А ей ответили:

– Сын я Марьи Филипповны.

Был он высок, черен от загара и от грязи, космами лежали на голове и плечах волосы, борода не густая, но перепутанная, с кусочками и косточками, застрявшими в ней. И одежда – кто так ходит? – грязная, с дырами. Поросший мхом, нечесаный, но добрый – улыбался, глядя на Настю, приглянулась она ему, это сразу понятно стало, оглядывал ее голые руки и ноги, она спохватилась, убежала и закуталась в платок. Новость о том, что Филипповна умерла, он принял с удивлением, с грустью протянул:

– Вот-те на...

– А вы все это время где были? – спросила Настя. – Я у Филипповны одиннадцать лет живу и никогда она мне про вас не рассказывала. Откуда мне знать, сын вы ее или нет?

– Да у нее и документы где-то лежат, в серванте, – неуверенно протянул лесной человек, – я-то давно от нее ушел, не только от нее, а вообще, из Вишневки. Жил в лесу, у меня там свой дом, охочусь, рыбу ловлю, – слова подбирал он с трудом, шевелил губами.

Настя не успокоилась, полезла в сервант, стала рыться в папках, – просто так любовью прийти может и сыном Филипповны назваться, доказательства пусть предъявит. Проснувшись от звука голосов Нюша, выглянула из комнаты, с неодобрением окинула взглядом незнакомца, сразу он ей не приглянулся, медведь какой-то. От нервов Настя искала и все никак не находила нужный документ, пока из одной из папок не выпала красненькая книжка.

– Вот он, паспорт! – обрадовался лесной человек. – Там и фотография моя есть, только это давно было.

Фотография и вправду была, с нее глядел безусый юноша с прозрачными глазами, год рождения, место...

– Назовите имя и дату, – потребовала Настя, не выпуская книжицу из рук.

– Марков Сергей Петрович я, шестьдесят девятого года... дату рождения плохо помню, кажись, в начале января...

– И как же вы без документов ходите, Сергей Петрович? – спросила Настя.

– А зачем они мне, в лесу? Я у себя на полном обеспечении был. Только понял вдруг – не могу больше, к людям тянет. Собрал пожитки, два дня – и я тут.

– И что хотите? Тут мы с Нюшей живем, матери вашей больше нет, могилку вам показать могу на кладбище.

На последнее замечание лесной человек не отреагировал, пожевал нижнюю губу и спросил:

– Так она что... дом вам оставила?

– Да, то есть... бумаги никакой не было... – потерялась Настя и закрыла лицо руками, – это кошмар какой-то. Падаете как снег на голову...

– Вы извините, если что не так... – пробасил он, – только по моему мнению, вас все равно этого дома лишат, рано или поздно, раз бумаги нет. А я сын, законный наследник.

– У вас паспорт просрочен давно.

– Поменяю.

Настя заплакала, сначала сдерживаясь, а потом не выдержала, зарыдала в голос. Сергей подсел к ней, погладил по плечу:

– Да не гоню я вас, оставайтесь, места хватит...

До вечера Настя ходила, точно пришибленная, на автомате варила еду, стирала белье, Нюша окликивала ее:

– Мам, ну кто это? Ну чего он здесь делает? И воняет от него...

Но к вечеру, когда они снова встретились в доме, Николай выглядел уже приличнее – вымылся с ведёрка, подстриг бороду. Настя наложила ему поесть, улыбалась сквозь силу, а сама в своих мыслях была, – а что, если завтра передумает? Выбросит их, как котят, за дверь, и останется Настя ни с чем, а ведь лет ей уже не двадцать, как тогда... ночью она не спала, ждала, когда уляжется и засопит Нюша, потом откинула решительно одеяло, встала и пошла в дальнюю комнату, где постелила Сергею. Скользнула к нему на матрас, лежащий на полу, дотронулась ласково рукой до волосатой груди. Давно не было женщины у Сергея. С тех пор ложились вместе.

Так бы и жили, может, и сложилось бы, но вот была одна проблема нерешенная. Нюрочка. Она невзлюбила «лешего» сразу, бурчала ему в спину, точно порчу наводила, да и на Настю принялась огрызаться. Настя попробовала было взять лаской, спросила:

– Ты чего, глупая? Ревнуешь меня? Ты же одна у меня такая, единственная...

Дочка окинула презрительным взглядом, ушла к себе. В кого такая, раздумывала Настя, я в нее всю душу, все для нее...

Была на рынке, купила кое-какие вещи для Сергея, сам он пока на люди не выходил, да и не в чем было – одни лохмотья засаленные от его прежней одежды остались. Купила рубашку, брюки посвободнее, домашние тапочки резиновые. Белья тоже взяла нижнего. Денег было жалко, можно было на них Нюру в школу собрать, в пятый класс идет, а у нее все та же холщовая сумка болтается вместо приличного рюкзака, и кроссовок нет. Зашла в дом – и обомлела.

Закрыла Нюру лешего в подполе. Тот полез за пустыми банками – попросила накануне Настя спуститься, а Нюша подбежала, носком лестницу, в подпол ведущую, отпикнула и закрыла люк – а он тяжелый, с той стороны просто так не откроешь, особенно, что лестницу к краю теперь не прислонить. И остался леший в подполе. Метался поначалу, кричал, люк пытался выбить, но не вышло. Насте вроде и жалко его было, но не сильно, ходила она по дому, слушала, как он внизу стучит, скребется, зовет ее, все слабее и слабее.

Одежду она сходила вернуть. По дороге к дому на тропинке увидела птенца стрижа – плюгавенький, с острым носиком он еще не умел летать, рано выпрыгнул из гнезда. «Надо бы взять для Нюши», – решила она, поймала, уложила неуклюжего в сумку, пришла домой – и на те – оказалось, раздавила, пока несла.

## Ольга БРАГИНА

\*\*\*

эти бедные сироты дети «Сайгона», зашитые в сквоты законно,  
с потолка не вода на столе, а болгарским крестом оброненная скатерть-икона,  
говорят, что «Одигитрия», лубок «Смерть царевича Димитрия»,  
Родина сеет плашмя, кровью своей кормя  
комиссионки и терема, развернутое высказывание – зима,  
зимний санный след, из которого выхода нет,  
словно заяц, плутал мимо Спаса, запутывал и завлекал,  
и последние моды Европы везли на Варшавский вокзал,  
но тесна колея, на открытках пестрит вечно юный Растрелли,  
из которого выпустить дух на апрельском снегу не успели,  
потому так твои перспективы длинны и себе не равны, только что же  
остается внутри, словно устье Невы под гранитными сфинксами Юга,  
и гранит прорастает из мерзлой травы, и они обнимают друг друга.

\*\*\*

словить такси до Преображенской площади в дожде, а прежде Новый Арбат,  
привлекая рекламным неонем и выпелом «Дети Арбата»,  
разметая завалы значков «Тридцать лет комсомолу», куда-то  
все же силась уехать из этой оси ординат – Ближний Космос, меха из Поволжья,  
и портреты твои все равно не пускаю под нож я –  
ведь что-то же было в них, высокий стиль и знакомый стих,  
бледный сурик из каталогов Третьяковской галереи – думали, что так продадут скорее,  
казармы Преображенского полка сквозь дворники видишь издалека,  
красный кирпич, малокровье, на зебре поземка,  
станций, которые выроют здесь, объявляют названья негромко.  
снова сквозь двери фонит эхолалия детских наречий,  
или пакет на перроне забыт, возвращаться к забытому легче.

\*\*\*

мимо очереди в храм, где под стеклом не Дары волхвов.  
алкоголик с полтиной похваляется, что переплыл Волхов  
в лютый мороз крещенский, погиб на первой чеченской,  
протягивает тебе: «На, не побрезгуй».

---

*Ольга Брагина – поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Киеве. Автор книг «Аппликации» (2011) и «Неймдроппинг» (2012).  
Публиковалась в журналах «Воздух», «Новая Юность», «Дети Ра», «День и ночь», «Зинзивер», «Южное сияние» и др.*

на седьмой день года, который отнял все силы,  
доедаешь салаты, смотришь «Снежное чувство Смиллы».  
за окном разверзлись хляби, а после остались лужи.  
отключи телефон, пока абоненту не стало хуже.

мимо храма Христа мигалками скорых для постовых,  
чтобы гул, когда вносят их, на минуту затих –  
обсужденья погод и жалобы на тарифы,  
призывы сравнять с травой и сжечь все книги.

ты вытираешь горячую жидкость с трещинок губ.  
а что за ларец там? все говорят, что дуб.

\*\*\*

в окне твоём бетонные коробки, взгляды робки  
прохожих в черном из китайских рынков сбыта.  
хоть список дел прочла и до конца, всё будет позабыто.  
пройдутся строем мимо склада стройматериалов  
обратно и туда, где спички в снеге талом  
размокшие найти хотелось бы, но тщетно.  
не бросила курить еще за столько лет, но  
знакомый дом опять манил каверною подъезда.  
оратор римский говорил... уже не интересно.  
в окне твоём бетонный блок с огнями – супермаркет.  
несут пакеты с головой капустною, и капнет  
на талый снег еще воды, разбавленной портвейном,  
остаток. новые бинты купить в галантерейном.

\*\*\*

читаю заголовок «Полицейский сбил пешехода на Северо-Западе Москвы»  
вспоминаю, что сегодня от тебя не было писем  
пытаюсь разглядеть лицо пострадавшего на фото, но он лежит к нам спиной  
вокруг толпа зевак демонстрирует живой интерес в сочетании с брезгливостью  
нет, ты не мог переходить дорогу по пешеходному переходу, это не ты  
жители древних Помпей или жирафов  
все эти positive thinking коучи с их тайм-менеджментом  
без малейших следов опьянения, буде кто-то  
захочет проверить их кровь или заставит подышать в трубочку  
архангела Gabriel, Росгидромет призвал  
готовиться к магнитной буре, возможно, ты  
уже переходишь дорогу на какой-то столичной зебре  
и размышляешь, каково на вкус мясо жирафа

\*\*\*

Русалки вод и соков задунайских, минералки, мелки, жалки пузырьки.  
Бурление кровей с фольги медалей Франца Фердинанда шины лопнувшей пробелы далеки.  
Русалка молится, крещеным детям отменили, ангел света, ты ли милости и света.  
Я знаю, что ты делал, никогда не начиналось лето.  
Я зачерпну тебя, поскольку снова бак мой с дождевой водой и обло за кормой,  
Стозевно, соль и клей на сердце, не чета твоей, под именем Никто зеница, лоб циклопа.  
Я вырасту, куплю велосипед и красный мячик с Минти.  
Здесь выход есть, да кто сказал, что нет, окошко отодвиньте.  
Русалки соды воки эскимо смятение небывших испаренья грунта.  
Она бежала на вокзал, махала вслед кому-то.  
Не ешь в корзине пирожки, зачем прощать славянку, серый волк, где тамбур,  
И перечеркнут серым «вход», разобранный на ямбы.

\*\*\*

и самозванец в трактире под Вязьмой ест шанежки, просит напрасно  
крупных купюр по рублю разменять, и дозорные ночью опять  
кости бросают, что ворон клевал у соленых озер.  
вплыв не пускаются, разве что только на спор.  
и воротник от крахмала седой с белой шеи срывает Марина,  
ворон роняет ребро и стекает по краешку глина,  
и самозванец в трактире под Вязьмой, надзор обмишулив негласный,  
вышел на свалку с подножного хода, и ветер срывает стенгазету,  
родинку свел со щеки жабьей кровью – особую меру приметку.  
выбора нет – мимо бивня с отметкой «вы здесь» и цветочных рядов забубенных  
с волосом черным нафабранным, с чистой душой непременно  
он не вернется – и зеркало треснет Марины,  
как под степным батогом пастушков половецкие спины.

\*\*\*

вот девушки, которые шьют замечательную одежду, просвещают меня, невежду,  
насчет новых трендов и юбки в пол несут через металлоискатель.  
под стенами города горькую пьет окопавшийся неприятель.  
девушки больше не шьют из ситца – только из чистой бязи,  
и чистой крови князя обсуждают, что в этом теле явиться на бал нельзя  
Золушкой с простреленным левым виском, укутанной в тыкву,  
но постепенно я к новой роли своей привыкну.  
ташат под стены города мортиру, сорок лет не плачено за квартиру.  
блуждать в лабиринте, картографов честных кляня.  
скоро одна эта бязь и останется от меня.  
вот переулочек, который огнем заливает за чистый ворот.  
опознавательный знак был недавно с фасада спорот.  
вот девушки, которые шьют мешок за сорок минут,  
и, если нужно, лишней ткани тебе завернут.

\*\*\*

«Разве можно уснуть на подобной опере? – пишет Марсель швейцару. – Нет, сейчас она уж не та, а тогда мы любили Сару с костяною ногою липовой и со стеклянным глазом, и крестились в любую грозу, что гремела здесь медным тазом. Я мальчонка был бедный вдали от родни, и не знали они, как ложится на сопки Маньчжурии пудра все летние дни, как проводит над клюквенным соком соломкою яда – и публика спит головою как перья от стенки, над домом тенистый иприт». Швейцар открывает двери дамам с павлинами на затылке, последнее из желаний находит в пустой бутылке из-под лимонада «Золотой ключик», война никогда ничему не учит, но можно сдать по пять копеек за штуку и купить неиспользованный конверт, коллекционную марку с портретом Мизии Серт, и куда его не отправить, потому что прекрасна она, как ничем не смущенная память. мирно режет петрушку, в своих сизарей набивает, им шейки свернув, и последнюю форму ее разбивает слепой стеклодув.

\*\*\*

она садится на шестнадцатый номер, до конечной не доезжая, видит – это шапка чужая, бобрик, это пальто с опушкой из нервных животных, он уже не обернется – она почти что бесплотна. здесь отродясь не бывало подобных зим, у нее порошок был от кашля где-то в аптечке, но точно просроченный, кашель надрывный вчерашний, вдоль по периметру линий отреза пунктирных частот дама ломает ферзя и в домашнее рабство возьмет. она спустится по ступенькам со следами бетона к морю цвета одеколона, перебирая гальку, как чайка, что вырвет сонно детские тени свои вместо яблочных незрелых для сока в венах, и «трамвай не следует дальше, покиньте состав» – говорят ей слова, за резьбой по стеклу не застав. и черемуха пахнет черемухой, липа – присыпкой, и она существует, хотя предпоследнее зыбко, зябко кутает плечи в нейлоновой куртки слепое пятно, и с конечной вернется, но это уже всё равно.

\*\*\*

мы катались на чертовом колесе, внизу, где скучали все, ели сладкую вату, везли самокат куда-то, взятый на час напрокат, однородны на первый взгляд эти деревья парковой лесокультуры, мерзлой лепнины выжившие амурь, острой высотки косыбы, промахнувшейся мимо корня, терем Измайловский, где от лапты отдышаться дворян больше не может и режет картон сувенирный плотный.

площадь торговая снова сдается, всегда свободна.  
мимо чертежных рядов, где расцветку среды принимают магниты,  
годы, когда только самые первые будут убиты,  
прочие в среднем ряду красок холи седеющей бронзы  
не проиграют в лапту, чтоб отмерить все детские слезы.

\*\*\*

да, я знаю поезд «Москва-Петушки» от «Серпа и молота»,  
и за столько минут отсюда была моя жизнь расколота  
на двенадцать стекляшек зеленых, сквозь которые на затмение,  
если их хорошо прокоптить, не насмотришься, тем не менее.  
да, я знаю поезд «Москва-Петушки», из которого дух лавандовый,  
и колбасная снедь, от которой любви не надо им  
никакой, он проходит сквозь станцию, зритель в буфете  
разложил свой газетный обрывок, в картофель укутаны дети.  
этот жареный, солью посыпанный и отварной.  
он моторную лодку купил и развелся с женой.  
да, я знаю поезд «Москва-Петушки», из которого проходящим  
помахал бы немного еще, если б он расписание чаще  
согласился менять ради нужд опоздавших на поезд последний,  
и колесиком сломанным сумка звенит, принесенная с мойки намедни.



## Дмитрий КАЛМЫКОВ

### ЗОВ ГЛУБИН

#### Рассказ

Степан появился в деревне неожиданно. Как ни странно, его появление не вызвало ни у кого удивления. Просто однажды днем по главной улице прошелся незнакомый человек с рюкзаком за плечами, открыл калитку одного из участков, отпер ключом замок на двери давно пустовавшего дома и поселился в нем. Несмотря на то, что в деревне у него не было ни родственников, ни знакомых, вопросов Степану никто не задавал. Может, дело в том, что дом, в который он въехал, стоял бесхозным так давно, что мало кто помнил, кому он вообще принадлежал. А главное, Степан как-то сразу влился в общий пейзаж. Выглядел таким же жителем российской глухомани, как и все остальные. Спустя неделю его уже все знали, при этом ничего не зная о нем. Никто и не стремился узнать. Чего там? Мужик как мужик. Пожилой, но не старый, полноватый, но не рыхлый, борода с проседью, большая белая лысина ото лба к затылку. Не такое уж диво, чтобы что-то вынюхивать. Со всеми Степан был дружелюбен, но откровенничать не спешил, даже когда выпивал. Деревенская среда невероятно быстро приняла чужака, скоро на Степана смотрели так, будто он от рождения жил в том доме, на той улице, то есть вообще никак не смотрели.

Сам Степан воспринимал это как должное. Всюду, где бы он ни оказался, ему сразу находилось место, будто мир специально держал для него небольшой пустующий отсек, который только и ждал, чтобы его заполнили. И в этот раз он просто сел на электричку во Владимире, ехал час, потом, повинувшись ногам, сошел на станции, даже не расслышав ее названия. Не тратя много времени на обозрение перрона, отправился в бывший сельсовет, ныне администрацию, безошибочно отыскал ее на улице Ленина, поговорил о чем-то с главой и вышел из обветшалого здания с ключом в кармане. И так случалось всегда. Сколько бы Степан ни колесил по равнинам и взгорьям большой до упомощаения страны, он никогда не выглядел бродягой или, как говорили в дни его юности, – бичом. Куда бы он ни приехал, его как будто ждали. Дело в том, что он давно постиг один очень важный секрет: принимают или отвергают вовсе не люди, принимает – земля.

Еще в детстве эту истину открыла ему бабушка. Как и многих детей, Степана на лето отвозили в деревню. Вместе со Степаном к бабушке приезжали большие сумки с продуктами. Бабушка недоверчиво осматривала городские свертки и упаковки, спрашивала:

– Чего навезли-то? Я и не знаю, что с этим делать.

– Что делать? – переспрашивал отец, раздраженный и усталый от долгой дороги. – Есть!

---

*Дмитрий Калмыков родился в 1986 году в Элисте. С 2004 по 2010 год учился на заочном отделении Литературного института (проза, семинар Орлова В.В.). Публикации в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Юность», «Империя духа», «Гвидеон», альманахах «Тверской бульвар, 25», «Литеры», «Белкин», «Кольцо А», сборнике «Согласование времен 2011». Лауреат Волошинской премии (2012). Участник совещания молодых писателей Союза писателей Москвы (2011, 2014). Автор романа «Записки уездного учителя П. Г. Карудо» (лонг-лист «Русской премии-2013», издан в 2015 г.).*

Эти вопросы он считал обычными неблагодарными капризами тещи.

– Ничего, земля прокормит, – отвечала бабушка и с хитрецей поглядывала на Степана.

Он не понимал, что это значит? Зачем – земля, когда весь стол деревенской кухни завален пакетами с крупой, коробками серых макарон, банками консервов и прочим?

Отец выходил во двор, покурить, а бабушка принималась распахивать в буфет привезенные продукты. Брала в руку пакет гречки и бормотала, запихивая подальше, вглубь ящика:

– Мертвая крупа, мертвая...

И так с каждым предметом.

Степан знал, что практически все из того, что они привезли, бабушка обменяет у соседей на «промтовары», консервами и подсолнечным маслом заплатит за отремонтированный забор, и все в таком духе. Родителям он этого не рассказывал, понимал, что они расстроятся и будут ругаться на бабушку. Сам для себя Степан объяснял это обычной деревенской дикостью и недоверием к плодам цивилизации, хотя знал, что в молодости бабушка сама жила в городе и даже работала учителем истории. Однако еще до его рождения и даже до маминой свадьбы бабушка подалась «на землю» и безвылазно осела в глубь псковской области, работала в колхозе, сначала как образованная – счетоводом, потом попросилась «в поле». Хоть подобные поступки и объяснялись «солидарностью трудовому классу», но все-таки бабушку и соседи, и все остальные колхозники считали немного ку-ку.

Впрочем, сам Степан не слишком заморачивался размышлениями о мотивации бабушкиных поступков. Ему даже нравилось, что она немного странная. И уж конечно ему нравилось есть огурцы с грядки, выскивать их в плотно сплетенных зарослях, между шершавых широких листьев, аккуратно откручивать хвостик, чтобы не повредить растение и самому не исколоться короткими черными иголками, торчащими из плотных пупырей молодого огурчика. Куда там вялому магазинному огурцу с болезненной желтизной по бокам и прозрачной хлябью в сердцевине! Да и не одними огурцами сыт был городской мальчуган. У бабушки и скотина имелась, а главное – росло всё. На жидких суглинках – да что там, почти болотах! – псковской земли она умудрялась вырастить даже перцы. И никаких там особенных парников. Откуда? Давалось это садово-огородное изобилие непросто. Выйдя на пенсию, бабушка вкалывала даже больше, чем в колхозе, с рассвета и до звезд. Труды ее всегда вознаграждались. У бабушки не бывало ни неурожайных годов, ни нашествий колорада или долгоносика, мучнистая роса, казалось, нарочно огибает бабушкин участок, опасаясь даже слегка коснуться листа смородины. Конечно, это замечали соседи, завидовали, но не пытались подгадить, если не считать мальчишек, воровавших сливы и яблоки. К бабушке даже приходил советоваться агроном из колхоза, но после беседы уходил расстроенный и озадаченный. Словом, никто не ведал ее секрета. Кроме Степана. Случилось это в последнее его лето в деревне. Ему было десять. А бабушке... Он никогда не спрашивал, а выглядела она всегда одинаково, как презимовавшая и слегка повядшая картофелина. Что-то разбухло Степана раньше обычного. Он прошелся по тихому дому, выглянул в сени, везде тишь и пустота. До слуха только донеслось, как в сарае перетопнула по сухому навозу коза и коротко хлопнула крыльями курица. Степан вышел во двор. Солнце еще не успело переплавиться из красного рассветного в желтый. Сквозь утреннюю дымку сквозил морковно-оранжевый свет. Он обошел дом, пролез через колючие и влажные от росы кусты крыжовника, с этой стороны кустарник заменял секцию забора, и можно было попасть в огород в обход калитки. Там он сразу увидел бабушку. Она ничком лежала на земле, руки широко раскинуты, как будто обнимают рыхлую серо-черную грядку. Был конец августа, и вчера они вместе вскопали две грядки под озимый чеснок. На одной из

этих грядок и лежала бабушка. Сначала Степан испугался, хотел звать на помощь, но в утренней тиши расслышал бабушкин шепот. Он стоял, не зная, что делать, почему-то он опасался подойти к ней. Лицо ее было отвернуто от Степана, но вдруг она позвала:

– Подойди, Стёпа.

Степан подошел, присел рядом.

– Бабуль, что с тобой? – спросил он.

– Ложись-ка рядом.

Степану не хотелось, но он подчинился, лег так же, как бабушка, раскинув руки и щекой прижавшись к земле.

– Слышишь? – спросила бабушка.

Сначала Степан ничего не слышал, ему было не по себе, даже немного страшно, но вдруг земля... нет, она не говорила. Она пела! Откуда-то из глубины до слуха Степана поднялись мелодия и голос. Слов разобрать он не мог, слишком тихий и заунывный мотив. От усилия он зажмурился, но разобрать так ничего и не смог. Только заметил, что песня время от времени прерывается. В одну из таких пауз он открыл глаза и увидел, что бабушка отвечает земле. Они лежали лицом к лицу, но и ее слов Степан разобрать не мог, до него доносились только влажные цокающие звуки, когда её язык касался неба. Но стоило сомкнуть бабушкины губы, как песня возобновлялась. Степан уже не пытался разобрать слов, он просто наблюдал за тем, как бабушка разговаривает с землей.

Кончилось все довольно быстро и даже обыденно. Бабушка слегка улыбнулась, как в конце приятного разговора, и поднялась на ноги. Степан тоже. Бабушка оглядела мальчику и стала отряхивать от налипших комьев земли. Как ни странно, на ней не было ни крупинки почвы, поднялась она совершенно чистой.

– Что это? – спросил Степан, выглядел он ошарашенным.

– С землей говорить нужно, – ответила бабушка. – Не все умеют. Вот ты услышал, а другой – нет. Говори, Стёпа. А еще лучше – слушай! Тогда земля тебе помогать станет. Только это секрет большой. Просто так не трепись, а то осерчает. Втянет, разжует и выплюнет. Понял, что ли?

Степан кивнул.

Зимой бабушка умерла. Эта новость дошла до них спустя неделю после похорон, кому-то из соседей понадобилось на почту, только тогда и позвонили.

С тех пор прошло больше сорока лет, и все это время Степан оставался верен полученному от бабушки завету. Сначала он решил, что должен так же, как и бабушка, посвятить себя жизни в деревне. Каждый год упрашивал родителей съездить на лето в бабушкин дом, но все тщетно. Родителям не хотелось тратить недолгий летний отпуск в деревенской глуши. Ташится из Рузы в такую даль, чтобы что? Весной они туда выезжать не могли, так что никаких посадок не делали, дом стоял заброшенный, только на то, чтобы привести его в жилой вид, ушла бы половина отпускных дней. К тому же отцу от предприятия выделили участок – шесть соток в Волоколамском районе. Степан попытался было там устроить огород. Неумело копал грядки, пачкался, злился, что не получается, упрашивал родителей купить ему семян.

– Ну и воспитала тебя маркиза де Сад-огород! – удивлялся папа, он искренне полагал, что бабушка истязала Степана огородными работами, не понимал, как это может приносить удовольствие.

Кончилось тем, что Степану просто запретили копать в земле. Ему нужно было подтянуть успеваемость, подналечь на алгебру и физику, а садовые развлечения отнимали все свободное время. Родители хотели, чтобы сын вырос технарем, инженером, еще лучше – врачом, но никак не сидельцем на грядках. В качестве компенсации дет-

ским капризам отец разрешил посадить на участке три яблони, несколько кустов смородины и черноплодной рябины, сделать одну грядку клубники, на этом – всё. Позже Степан понял, что и это было не для него. Вести хоть минимальное хозяйство требовал устав их СНТ, в то время садовых товарищей еще обязывали сеять и растить.

Однако к собственному счастью он скоро понял, что служение земле вовсе не заключается в посадках растений. Так делала его бабушка, но это не значило, что и он должен. Рано утром или, наоборот, на закате, он убежал в поле, падал в траву, обнимал землю и рассказывал ей о своих бедах и переживаниях, но когда почувствовал, что земля начала отвечать ему, решил не грузить ее своими проблемами, а просто рассказывал что-нибудь или пел песни из мультфильмов и фильмов. Ему казалось, что когда он поет их земле, то смысл у них полностью меняется. В песнях уже не было «крылатых качелей» или «секунд», о которых нельзя думать свысока, в мелодию и тексты он вкладывал чувства, как будто бы давал обет преданного служения. А какими именно словами это сказано – не так уж важно.

Стоило применить этот метод, и земля ответила Степану. Это не было как в тот раз, с бабушкой, никаких грустных песен из глубин не поднималось. Степан услышал только утробный рык, глубокий, но не угрожающий, даже наоборот, звук этот притягивал, гипнотизировал басовой тональностью, заставлял крепче прижаться к неровной и еще холодной земле. Степан потерял счет времени и вернулся домой уже в сумерках. Мама возмущенно всплеснула руками, а папа мрачно потянул ремень из петель брюк.

Неловко переминаясь уязвленным местом по табуретке, Степан ковырял остывшие макароны и думал. Он понял две очень важные вещи: первая – он должен сделать своё служение как можно менее заметным, ибо никто не поймет, и, скорее всего, выпорот еще раз, вторая – его связь с землёй гораздо шире пределов огорода, и теперь земля будет помогать ему, где бы он ни находился.

Так оно и выходило. Даже с пресловутой алгеброй и физикой. Степан не стал лучше разбираться в предметах, просто обстоятельства складывались для него наилучшим образом. Перед городской или итоговой контрольной работой он вставал пораньше:

– Перед уроком еще раз тему повторю, – объяснял он родителям свое рвение. Отец довольно кивал и гладил его по голове, всячески одобряя то, что сын так серьезно взялся за ум. Степан тоже оставался доволен – родители сами строили вокруг его тайны выскокй забор из собственных представлений, лучшего прикрытия и придумать нельзя.

Вместо школы он шел в парк, выбирал место поглуше и ложился на землю. Неважно, какое было время года, – поднимался он чистым и уверенным в себе, как и бабушка, он теперь не пачкался о землю.

На контрольной его ни с того ни с сего пересаживали к отличнику, или учитель, прохаживаясь между рядами парт, вдруг останавливался рядом со Степаном, заглядывал в его работу:

– Повнимательней, Степа, – говорил он и тыкал пальцем в то вычисление, куда закралась ошибка.

На вступительные экзамены в МИРЭА Степан принес горстку земли, завернутую в бумагу. Во время письменного экзамена он удачно списал, а на устном ему достался настолько простой билет, что даже не понятно, как он попал в программу вуза.

Прочитав свое имя в приказе на зачисление, он отнес горстку земли на то место, где взял, лег рядом и подробно рассказал о своей удаче и долго, благоговейно слушал ответный гул земли.

За время обучения в институте Степан женился, у них родилась дочь. После окончания он устроился на предприятие, должность не бог весть, но с перспективой, хорошая «семейная» комната в общежитии, очередь на жилье, в целом – неплохо. И все это время он не прекращал своего служения. Правда, ему стало казаться, что в подземном

голосе слышится какая-то незавершенность, недосказанность. Как-то раз он зашел в гости к однокурснику. Тот ухаживал за дедом, парализованным после инсульта. Старик с трудом мог подниматься с кровати, и язык отнялся почти полностью. Пытаясь сказать что-то, он мучительно долго тянул согласную, пока за ней не прорывалась гласная и так далее. Степан забеспокоился, он узнал эту интонацию. Конечно, в рыке земли не было того мучительного надрыва, как у больного старика, но все же Степан понял, что слышит он нечто незавершенное. Инстинкт подсказал ему, что нужно поговорить с землей в каком-то другом месте, подальше от Москвы, Рузы или Волоколамска – его обычных мест общения.

Неожиданно для своей семьи Степан увлекся турпоходами, байдарочными сплавами и альпинизмом. Всюду, куда бы он ни отправлялся, Степан отходил подальше от места стоянки, ложился и обнимал землю. Очень скоро он осознал свою правоту, – за долгим, протажным «рррр» начал проклевываться новый звук. Разобрать его Степан все еще не мог, его размывало подземное эхо, слух никак не мог собрать его в единый пучок. К тому же на эти опыты у Степана оставалось не так уж много времени, нужно было работать, кормить семью, поднимать дочь. Впервые он столкнулся с неприятной дилеммой – или решать бытовые задачи, или отдаться служению земле. Совмещать уже не получалось. Степан задумался об увольнении, но очередь на квартиру вроде бы подходила, да и на какой должности он мог бы совмещать? Также в первый раз он с досадой подумал, что зря подчинился родительской воле и не пошел учиться на геолога. Вот бы раздолье было! Однако тут же кольнула мысль: пойдй он на геофак, глядишь, не встретил бы жену Настю, не было бы чудесной девочки... В общем, сплошное раздвоение и шаткость, столь непривычное и новое для Степана.

Как бы то ни было, но ситуация разрешилась сама собой. Личные страсти и переживания Степана потонули в глобальной пучине. Советский Союз перестал существовать. А вместе с ним – очередь на жилье, рабочее место и само предприятие. Степан вздохнул с облегчением, хотя под тревожными взглядами жены и пытался напустить на себя озабоченный вид. Позаботиться, и правда, было о чем. Однако Степан не суетился. На ум пришли бабушкины слова – «земля прокормит». Конечно, он не собирался поднимать из праха детские мечты о собственном приусадебном хозяйстве. Нет. Земля богата и может прокормить тысячью других способов. После долгого сеанса общения Степан вернулся в пока еще их общежитие и начал собирать вещи. Подсказка пришла неизвестно откуда. То есть известно, просто Степан не переставал удивляться, как гулкий подземный рык кристаллизуется в его уме в абсолютно ясную мысль.

- Ты куда? – спросила Настя.
- В Калининград.
- Зачем?
- Нужно зарабатывать, Насть. Время изменилось и обратно не повернется.
- А как же мы?
- Ну, я же не навсегда, – Степан обнял жену, услышал, как она всхлипнула.

На балтийском побережье Степан легко влился в бригаду копарей и стал добывать янтарь. Сначала обычным чернорабочим, как и все, таскал самодельную помпу из мотоциклетного мотора, орудовал длинным шестом с привязанным шлангом, стоял по ноздри в серо-желтой жиже, пока мощная струя размывала песок, добираясь до синей глины, вылавливал в мутном потоке «солнечный камень». Не забывал он, конечно, и говорить с землей. На первых порах это было неудобно. Бригадный метод работы и открытость местности практически не давали возможности уединиться. Время от времени другие рабочие натыкались на распластанного по земле Степана.

- Стёпа, ты что? Нажрался, что ли? – спрашивали они.

– Слушаю, – коротко отвечал Степа и в дальнейшие объяснения не пускался.

А послушать ему было что. Звук здесь действительно стал чище. За протяжным «ррр» Степа потихоньку стал различать гласную, – пока не мог точно определить, какую, но рык стал отчетливее.

Рабочие же быстро перестали обращать внимание на причуды «москвича». Гораздо сильнее их занимало другое. Со всей простотой и непосредственностью они поняли, что копать нужно там, где скажет Степан. В указанном им месте слой песка был тоньше, а глиняная жила богаче, часто попадались крупные фракции, а уж «коробки» – ведрами. Когда добыча не задавалась, рабочие сами просили:

– Стёп, сходи послушай.

Степан шел, и его указания оказывались вернее всякий дедовских примет и геологических расчетов. После штормов на Балтике Степан «угадывал» место, где море выбросило больше всего янтаря. Такая добыча была для бригады отдыхом. В сущности, это считалось сбором, а не добычей, и даже штрафом не каралась. Степана стали по-настоящему ценить. Не раз и не два их бригада вынимала куски янтаря весом до килограмма. После такой удачи Степан обычно отправлялся домой.

Жена и дочь радостно встречали, обнимали, с восхищением слушали увлекательные «браконьерские» истории. Из общаги их все-таки выселили, пришлось вернуться в Рузу. Пока жили у родителей Степана, но деньги он зарабатывал хорошие. Хватило бы на доленое участие. Ночью, когда все засыпали, Настя рассказывала Степану о своем житье-бытье, полном насущных проблем. Дочь уже заканчивала первый класс, нужно было ее в музыкалку пристроить, сама она собиралась выйти на работу, тогда и Степану не пришлось бы мотаться и пропадать месяцами черте где. Степан слушал и отговаривался обычными «посмотрим», «поживем-увидим», «там ясно будет». Как мог он объяснить, что вовсе не ради заработка месяцами мерзнет на балтийском берегу, что уже много лет посвящен земле и что вот-вот ему откроется полный слог?! Кто бы смог это понять? Да и с чисто практической точки зрения: земля кормит, лишь пока Степан ей служит. Разве дойдет такое до Насти? Скажет, голову тебе надуло.

Степан снова вернулся в Калининград. В своей бригаде он обнаружил трех новичков, поступивших взамен выбывших. Одного убили, двоих посадили. Всё за янтарь. Про убитого особо не распространялись, а вот те, что сидят... Незаконная добыча тогда еще считалась административным правонарушением, но тех двоих взяли на контрабанде. Какой-то доброхот посоветовал им самостоятельно вывезти партию янтаря в Польшу, – мол, в Гданьске с руками оторвут, а тут перекупаю платить – дело лоховское. Ну, на границе их и повязали. Подстава, конечно. Всех гнули под общую крышу, а кто кобенился, тех вот так.

– Так что будем осторожны, – подытожил бригадир.

И не зря. О «слухаче» давно шли разговоры. Одни мечтали переманить Степана к себе, другие, и таких большинство, хотели положить это сокровище туда, где место всем сокровищам, – чтобы уравнивать шансы.

На первой же добыче их ожидала удача. Небывалая. И даже не по меркам черных копарей, а в масштабах мировой добычи. Степан вынул из песчаной жижи фракцию весом в два килограмма! Даже чуть больше. Когда янтарный оковалок отмыли, рабочие замерли в каком-то благоговейном молчании. Бригадир поднял над головой солнечный камень и перекрыл им небесное светило. Даже не полированный, янтарь чудесно ловил свет, преломлял его и радужно светился изнутри. Заскорузлые, грубые работяги смотрели на него, раскрыв рты, словно дети, впервые увидевшие игрушку калейдоскоп. А Степан тихонько отошел от группы, сделал пару аккуратных шагов, потом повернулся и побежал. С разбегу он грохнулся на землю и что было сил прижался ухом. Чистый, ясный звук в то же мгновение поднялся из глубин. РААААА! Земля,



родящая солнечный камень, отзывалась слогом «ра». Степан не мог подняться, не мог оторвать от земли ухо, не мог перестать слушать чудесный внутреннюю, земляной звук. Не мог он сдерживать и слез радости. Наконец-то его поиск закончен! Правда, он заметил, что в конце звук «а» необычно закругляется. Как будто за ним следует еще что-то. Радость несколько осеклась, но тут же Степан воодушевился еще больше. Он все делает правильно. Сейчас ему открылся первый слог того главного слова, которое хочет сказать ему земля. Он будет искать дальше и однажды найдет. Полные энтузиазма размышления прервались шумом, идущим отнюдь не из глубин, а с поверхности земли. Шум этот не предвещал ничего хорошего. Степан аккуратно подкрался к стоянке их бригады и тут же залег в жиденькой траве. Маски-шоу грубо трамбовали работяг прикладами «калашей». Старший равнодушно взирал на побоище, поставив офицерскую берцу на кусок подземного солнца, еще недавно сулившего Степану и остальным немалого житейского счастья в виде круглой суммы в твердой валюте. Мысль о материальных потерях не особо тревожила Степана. Так или иначе, услышав слог, он понял, что на этой земле для него все кончилось. Теперь главное было уйти. Затолкав копарей в ПАЗик, омовцы стали прочесывать местность. Убегать по открытому побережью было невозможно. Степан забился в небольшую песчаную ложбинку под бугорком, и земля его укрыла, не выдала.

Сколь сильна ни была бы защита земли, но собственный ум отключать не полагалось. Рассудок подсказывал Степану, что убираться нужно как можно быстрее. Поэтому, когда ОМОН увез несчастных копарей вместе с оборудованием и гигантским куском янтара, Степан вылез из своего укрытия и осмотрел место добычи. Каратели не стали заморачиваться со сбором мелких фракций. Видно, тот оковалок солнечного камня застил им глаза. В размытом песке нашлось приличное количество «коробков», да и фракций побольше. Степан быстро собрал их и отправился в ближайший поселок. Свою добычу он сдал знакомому перекупу, тот, конечно, уже знал о судьбе Степановой бригады, но все равно дал хорошую цену. Не тратя времени даром, Степан отправился в столицу области, и к вечеру стоял у кассы аэропорта Храброво. Тут ему пришлось довериться судьбе, и спустя пару часов он уже садился на рейс до Петрозаводска.

Степан не сомневался в том, что земля ведет его в нужном направлении, и никакой ошибки быть не может. Иначе вся его жизнь – сплошная ошибка и ложный путь. В воздухе он больше думал о значении разгаданного слога. Первая ассоциация, конечно, с египетским богом солнца. В этом была логика, земля, родившая солнечный камень, назвала имя бога Ра. Но ведь и дальше что-то следовало. Быть может, первый слог не стоит воспринимать как самостоятельную единицу? Степан решил не ломать над этим голову, – в конце концов, его дело служить. То, что скажет ему земля, от него не зависит, повлиять на смысл услышанного он никак не может. Однако ему необходимо разгадать значение, потому что слово земли определит всю его жизнь. Он обязан понимать то, что слышит. Перво-наперво Степан решил подтянуть знания в мифологии и основах древних языков. Причем в изучении этих вопросов он решил не пренебрегать ничем, прошерстить все, что только можно, от академических трудов до самых нелепых на первый взгляд конспирологических теорий, которых к тому времени развилась тьма.

В Петрозаводске Степан не задержался. Он быстро осознал, что там ему делать нечего, а ждут его совсем в другом месте, и отправился на север, в Медвежьегорск. Неподдалеку от этого городка работал комбинат по добыче тальковых сланцев. Степан вспомнил о своем инженерном образовании и, отбросив сомнения, переступил порог отдела кадров этого предприятия. Внезапно оказалось, что комбинату как раз необходим специалист, профиль, конечно, у Степана был не самый подходящий, но кадровик не сомневался, что он всему научится по ходу. Так оно и вышло. Степан буквально дневал и ночевал на карьере. Начальство не могло нарадоваться на служебное рвение нового сотрудника.

Правда, они не понимали, что там, в глубине разломов Степан проникает вовсе не в тонкости производства, а в личную, сокровенную тайну.

Окрыленный успехом на балтийском берегу, Степан был вынужден натянуть повода. Он осознал, что едет к своему великому открытию вовсе не на легкой колеснице, а на большой и тяжелой телеге, и если чересчур ее разогнать – недолго и шею сломать. Карельская земля была совсем иной, она не спешила выдавать свои тайны. Слишком твердая, каменная, никакой мягкости, одни кости. Сначала Степан нервничал. В его обращениях к земле появились требовательные нотки, он как будто торопил ее, и однажды получил недвусмысленный знак. Лежа на дне карьера, Степан слушал землю, долгий, повторяющийся слог «ра», вот уже несколько часов. Внезапно он не выдержал, занес руки и, не вставая, грохнул по земле кулаками. В ответ снова послышался рокот, но шел он сверху! В землю рядом с головой Степана ударилась каменная глыба, крошка больно брызнула в лицо, из небольшой ранки под глазом вырвалась алая змейка. Степан перепугался не на шутку. Не того, что ему чуть не расплющило голову. Он испугался самой этой размолвки. Что если земля от него откажется, отвергнет его служение? Степан еще долго не вставал, моля о прощении. Земля молчала. Степан смирился с этим молчанием, осознавая собственную вину. Как мог он торопить землю? Что вообще могло значить для нее человеческое время? Даже один слог – это уже подарок. Вдруг вспомнилась бабушка. Ей земля пела целую песню! Сколько времени потребовалось, чтобы она сложились? Сколько преданности нужно было выказать, чтобы земля так расщедрилась! Степану стало по-настоящему стыдно за свой нелепый и мелочный гнев, он даже сморщился от физического переживания этого позора, и тут земля успокоительно зарокотала.

Отныне он решил не торопиться. Да и не было необходимости. Деньги на новом месте зарабатывались тяжелее и медленнее. Из-за этого домой Степан почти не ездил. Хорошо, если удавалось вырваться раз в два месяца. Волей-неволей приходилось оставаться на карельской земле. Конечно, укреплению семьи это не способствовало. Из-за меньшего заработка Настя перестала видеть смысл в постоянном отсутствии мужа. А Степан не мог объяснить. Хотел перетащить их с дочкой в Медвежьегорск, но Настя наотрез отказалась. Во-первых, им удалось, наконец, решить квартирный вопрос. Во-вторых, не хотела выдергивать дочь из сложившейся среды, увозить от друзей. Степан вдруг как будто очнулся, он привык думать о дочери как о маленькой девочке и с недоумением слушал слова жены о том, что Алина на следующий год уходит в экстернатуру и через год сможет уже поступать.

– Что еще за экстернатура? – спросил Степан.

– Ну, экстернат, когда ребенок в школу ходит только зачеты сдавать. Сейчас многие так делают, чтобы на вузовские курсы ходить и время не тратить, – пояснила Настя.

Время. Куда оно провалилось для Степана? Он даже зашел в комнату Алины. Она спала с наушниками от плеера в ушах, никаких игрушек или кукол, по стенам плакаты музыкальных групп и постеры, вырванные из середины журналов. Степан посмотрел и на себя. Волосы сильно поределели, особенно надо лбом.

Однако, чтобы там ни было, бросить дела всей жизни Степан не мог. Выправить ситуацию он решил усилением материального потока. Помимо своей работы на комбинате он организовал небольшую кустарную мастерскую. Таких кустарей вокруг комбината, да и вообще по всей республике, было много. Из талькохлорита чего только ни делали: и облицовочные плиты, и декоративные изделия, даже «ледяные» кубики, которые бросали вместо льда в виски или другие требующие поддержания низкой температуры напитки. Его маленькое предприятие начало приносить доход, и все вроде бы устаканилось. Земля снова помогала, Степан легко доставал камень и не испытывал никаких сложностей с надзорными органами, хотя, следуя общей тенденции, официально свой бизнес никак не оформлял. С Алиной Степан начал переписку, обыкновенную



«бумажную». В то время интернет в Карелию еще не завезли. Даже сотовые телефоны только-только стали появляться в массах. Мастерская Степана в основном работала на местного потребителя, они резали плитку для облицовки банных печей и каминов. Огнеупорный и температуроёмкий талькохлорит как нельзя лучше подходил для этих целей. Правда, тут Степану пришлось столкнуться с перенасыщенностью рынка. Но выход нашелся. Получив заказ, Степан лично отбирал плитку в партию, нумеровал ее, определяя расположения каждого прямоугольника. В результате получалось, что естественные белые прожилки в сером или зеленом теле минерала складывались в декоративный узор. Заказчик не всегда понимал, что именно он видит в узоре, но неизменно замирал при взгляде на готовый портал или бок облицованной печи. Так что довольно скоро о мастерской Степана пошла молва как об эксклюзивном производстве. В сущности, это было правдой, пусть и слегка искаженной в умах обывателей. Почему-то «эксклюзивный» подбор плитки в сознании заказчика предполагал, что исполнитель выбросит девяносто процентов материала, а из оставшихся десяти сложит нечто. На самом деле Степан ничего никуда не выбрасывал, свои узоры он складывал, комбинируя плитки, как будто заранее зная, какая куда ляжет.

Был у него в мастерской и «художественный» отдел. Здесь кустари резали из того же талькохлорита всевозможные поделки – фигурки людей и животных, разнообразные шахматные фигуры, делали кулоны и серьги. В их работу Степан практически не вмешивался, давал волю творческой фантазии резчиков. Однажды, зайдя в их цех, Степан увидел в руках у молодого мастера кулон. Простенькая вещица, камушек каплевидной формы на простом черном шнурке, но что-то в нем такое было – притягательное, или даже магнетическое.

– Дай гляну, – попросил он мастера.

Повертев кулон перед глазами, Степан убедился в своем первоначальном впечатлении.

– Хорошая вещь, – подытожил он.

– Да, только он парный, – сказал мастер и достал вторую, почти идентичную каменную каплю на таком же шнурке.

– Почему парный? – глядя на брата-близнеца в руках мастера, Степан не сомневался в правоте его слов, ему только хотелось узнать, как резчик до этого дошел.

Мастер пожал плечами:

– Не знаю, показалось просто, как будто... – он явно смущался, словно говорить приходилось о чем-то стыдном или очень личном. – Ну, как будто слезы это. Земля как будто плачет такими. Вот...

– Правильно, – сказал Степан.

Оба кулона он забрал себе, а мастера щедро премировал. Эти кулоны отправились Алине и Насте в следующем же письме.

А земля по-прежнему не спешила. Как когда-то в юности, Степан решил больше путешествовать по краю. Стал уходить в леса или бродил вдоль берега Онежского озера, выискивая укромные места, где можно было бы пообщаться с землей. Со временем ему стало казаться, что на сланцевых разработках земля вскрыта слишком грубо. Опускаясь на дно месторождения, он хоть и проникал вглубь, но слишком уж там все было изрыто и исхожено не посвященными в его тайну людьми. Степан снова предпочитал оставаться на поверхности, но зато и в полном уединении. Также он пристрастился к сбору грибов. Он считал их таким же даром земли, как и минералы, тем более карельская земля была столь богата и тем, и другим. Постепенно его походы и уединенное слушание увенчивались успехом. Звук «а» в конце первого слога закруглялся все больше, за ним почти отчетливо слышался следующий, губной, сонорный звук. Степан жил предчувствием, это уже не было то нервное беспокойство, которое так горько отозвалось ему однаж-

ды. Нет, он просто знал, что очень скоро случится то, чего он ждет уже годы. Событие назревало, пухло где-то в подземной глуби и вот-вот должно было прорваться наружу. В предвкушении грядущего Степан как-то не заметил, что на его письма уже давно перестали отвечать. Время снова играло с ним. Во всем, что касалось его общения с землей, не чувствовалось спешки. Всё шло своим чередом и случалось последовательно и в определенный срок. Обычное же человеческое время несло вперед, не оглядываясь на Степана. Вот так с ходу он бы и не смог ответить, сколько лет провел в Карелии. Много. Лоб почти облысел, седина проступала в волосах, как утренняя изморозь на траве. Но какое это имело значение?

Все случилось внезапно. В глуши лесов, куда Степан стал уходить все чаще и проводил все больше времени. Он вышел на просторную поляну и чуть не споткнулся о крупный белый гриб на толстой, почти шаровидной ножке. Рядом с ним стоял еще один, за ним еще и еще, сколько хватало сил видеть. Степан пошел вдоль ряда и скоро заметил, что ряд загибается. Громадное кольцо грибов было вписано в поляну по самой кромке. Конечно, Степану и раньше доводилось видеть «ведьмины круги» из разных грибов, не только белых, но только не такого диаметра. Должно быть, грибнице в этом месте было несколько сот лет. Повинуясь верному инстинкту, Степан пошел к центру поляны. В самой середине стоял еще один белый гриб, столь гигантский, что больше походил на пенек. Степан лег рядом с ним, так, что тень от шляпки (шляпищи!) полностью закрыла лицо. Звук полился сразу, едва Степан коснулся ухом земли. Сначала уже знакомый – РА, и сразу за ним ясный отчетливый – МА. Затем повторилось вместе – РА-МА. И так раз за разом, до бесконечности. Степан ликовал! Это было завершение. Пусть не пути, а этапа, но довольно продолжительного и не простого. Также он был уверен, что это еще не все слово целиком. Степан уже научился слышать в предыдущих слогах отзвуки грядущих. И самое удивительное, он как будто заранее знал, что слог будет именно «МА», но понял это только сейчас. Во всяком случае, теперь ему и в голову не могло прийти, что он услышит нечто другое.

В счастье нового открытия была подмешана щепоть тревоги. Степан не мог решить, как поступить дальше. Остаться в Карелии или искать дальше? Уезжать ему не хотелось. Во-первых, он надеялся, что земля будет говорить с ним дальше именно здесь. То, как неторопливо поднимался звук из-под каменных пластов, давало основание таким надеждам. Во-вторых, не хотелось бросать то, чем он успел обрести в быту. Он потратил много сил и времени, чтобы обустроиться в Медвежьегорске. Жалко было оставлять мастерскую.

Однако сомнения разрешились самым естественным образом, еще раз напомнив Степану, что силы, которым он служит, вовсе не спрашивают его мнения на тот или иной счет, их не интересуют мелкие житейские удачи или провалы, надежды и страхи своего служителя. Зато взамен они обязались защищать Степана и пока ни разу не предали.

Выйдя в понедельник на службу, Степан узнал, что в сфере их деятельности произошло какое-то крупное корпоративное слияние и его, как профессионального инженера, перебрасывают на сходное производство на Урале. Следуя инерции, Степан было воспротивился. Чувство было такое, будто его рвут из земли с корнем, но обдумав все хорошенько, осознал, что дело тут вовсе не в кадровой политике, его снова звала земля. Не сомневаясь больше, Степан по низкой цене уступил свою мастерскую теперь уже бывшему конкуренту. Было жалко. Но такова уж судьба. Тем более, он отлично понимал, что бизнес его не может управляться удаленно.

На Урал Степан отправился через Рузу. Нужно было навестить семью, чересчур уж он от них отдалился. И тут его ждал очередной сюрприз. Дверь ему открыли совершенно незнакомые люди. Вместо каких-либо объяснений Степану вручили конверт с

письмом. Степан рассеяно пробежался взглядом по строкам. Особенно вчитываться не имело смысла: «...мы стали чужими...», «... ты нас бросил...», «... не хочу больше ждать...», «... я нашла человека...», «... не могу тебя видеть...», «... разведемся через суд...». И ни слова про Алину. Хотя и так понятно... Кроме письма, в конверте лежало еще что-то. Степан вытряхнул предмет на ладонь – кулон, «слеза земли». Правда, только один. Значит, второй все-таки остался у дочери. Приступ острой тоски на несколько мгновений помутил его разум. Перед мысленным взором предстала Алина, такая, какой он ее видел в последний раз, девочка-подросток. Но какая она теперь? Ей ведь перевалило за восемнадцать! О Насте он не думал вовсе. Будто отрезало. Степан еще раз взглянул на кулон, думая о его брате-близнеце. Уж он-то понимал, что пока Алина хранит этот дар, их связь никому не удастся разорвать. Тут воля земли, её кость. Такие скрепы не разбиваются. Однажды два этих камня притянутся друг к другу, а вслед за ними и Степан с Алиной. Только так, а не наоборот. Потому Степан не стал тратить время на поиски нового обиталища своей ушедшей семьи, не стал требовать подробных объяснений и отчетов. Вместо этого он как можно скорее отправился на Урал.

Ему было над чем поразмыслить. Отныне Степан решил не строить сильных связей в мирской жизни. Слишком многое ему пришлось оставить и в Карелии, и в Рузе, чтобы еще раз обречь себя на опыт потери. Он ясно понял, что теперь земля требует от него пластичности и способности к постоянным изменениям. В особенности ярко это проявилось на Урале. Прибыв на место, Степан отчетливо осознал, что уральские копи не собираются сообщить ему ничего нового. Он слушал очень внимательно, но даже в самых глубинах горных разломов не услышал и намека на появление нового звука. Земля приказала ему оторваться от привычного места вовсе не для того, чтобы просто перенести его на новое, теперь от него требовалось настоящее паломничество.

Не проработав и месяца на горнодобывающем комбинате, Степан написал заявление «по собственному желанию», собрал небольшой туристический рюкзак и растворился в безграничных просторах Зауралья. С тех пор начались настоящие скитания. Кем только не пришлось поработать Степану. Был он и вахтовиком на Севере, и рабочим консервного завода на Камчатке, и старателем на Колыме, и вальщиком леса в Мордовии, и землекопом в археологических экспедициях по Забайкалью, и обычным строителем, кочующим по средней полосе России в составе разнообразных бригад. Научился ставить срубы, хоть в лапу, хоть в чашу, клал печи и рыл колодцы. И, конечно, всюду слушал землю, жадно припадал ухом то к глине, то к чернозему, то к камню, но всюду слышал одно и то же – РА-МА, а дальше – ничего. Долгие годы дух его оставался спокоен, он предано следовал зову земли, скитался и искал. Ему казалось, что земля благосклонна к нему, он никогда не голодал и не замерзал, в отличие от многих бродяг, которых повстречал на своем пути. Отправляясь на новое место, Степан точно знал, что найдет там «и стол и дом». Пускай временный, так что ж? Ведь не постоянства же он искал. Главное следовать земле, безропотно и беспрекословно. Но однажды он перегорел. Степан лежал в поле, как обычно, прижимаясь ухом к земле, и вдруг почувствовал, что оно – ухо, не слышит. Земля вовсе не молчала, он перестал слышать! Степан перевернулся с живота на спину. Небо над ним зияло серой мглой в каких-то дымчатых перьях. Глухота его распространилась на весь мир. Ни шороха, ни дуновения ветра, ни крика птиц. Степан лежал колодой, как обездушенный глиняный годем. Для него все кончилось. Эта мысль завладела им во вселенской полноте. Ему оставалось только уйти, развеять себя по ветру вместе с прахом надежд. Однако по-настоящему дьявольская шутка заключается в том, что даже утратив духовный путь, человек продолжает жить физически. Кости и плоть остаются на месте, пропадает смысл, но остается необходимость. За долгие годы поисков Степан разучился жалеть себя, поэтому, переждав первую и самую мощную волну оцепенения, он поднялся и пошел в сторону железнодорожной станции.

Теперь ему оставалось только найти место для тихого угасания. Так Степан оказался во Владимире, с этими мыслями вышел на той самой станции и поселился в той самой деревне.

Обретенных навыков ему хватило, чтобы быстро поправить пришедший в мерзостное запустение участок. К середине осени дом его был подлатан, печка переложена и даже стоял новый сруб для бани. Как-то вечером Степан сидел у окна и пил чай. На улице было темно и ветрено. Прямо напротив окна росла старая яблоня. Поздняя «антоновка», увешанная плодами, давно намекала Степану на то, что пришел срок «собирать камни». И теперь ветер безжалостно срывал крупные плотные яблоки с согнутых веток. Степан прихлебывал из белой чашки и слушал гулкие удары плодов о землю. И вдруг в очередном ударе Степан услышал какой-то отголосок. Словно яблоко упало не на землю, а на крышку рояля. Степан насторожился и стал прислушиваться. Вот, новый удар. И снова отзвук. Степан вскочил из-за стола, схватил телогрейку и бросился на улицу. Он упал на землю под яблоней и напряг слух. Да! Он снова слышал! И на этот раз всё слово целиком! РА-МА-ГА. Земля не просто шептала, она трубно голосила. Все существо Степана переполнилось этим звуком. Не в силах сдерживаться, Степан засмеялся. Мощь и великолепие услышанного слова заставили его подскокнуть. Он чувствовал, как его пронизывает могущество открытой тайны. А главное, он снова испытал то же, что однажды в Карелии. Последним слогом мог быть только – ГА! Теперь он не чувствовал ничего, кроме благодарности и восхищения перед великим замыслом земли. Решив однажды изучать древние языки, Степан не бросал этого занятия в своих скитаниях. И вот: «РА» – ему открылся в земле «солнечного камня», «МА», означающий внутреннее пространство – в безграничных и уединенных лесах Карелии, а «ГА» – движение, был дарован по завершению долгого многолетнего пути. Теперь осталось сложить их вместе – РАМАГА.

– К Солнцу Внутреннего Мира Следуй, – прошептал Степан.

В ту же секунду он схватил себя за грудь, под рубашкой легко прощупывался каменный кулон на черном шнурке. Степан ясно понял напутствие, полученное от земли. Настало время двум камням воссоединиться.

## Александр МУРАШОВ

### Рассказы

#### Двойной человек

Мое имя – Удой Быкылов. Тайна такого странного имени проста. «Удой» это «Худой», так меня прозвали, как я и был худым, а мой тогдашний школьный приятель часто не выговаривал начальный звук «х», не знаю, почему, и я и сам его выговаривал слабо, и получилось «Удой», когда мне кричал приятель или те, кто передразнивал его, или когда я представлялся кому-то кличкой. А «Быкылов» – это моя фамилия, настоящая, только в произношении нашего учителя физкультуры, чернявого от макушки до горловин мохнатых белых носков кавказца, он говорил: «Быкылов, слиздуищий!» – простирая властную руку в сторону гимнастического козла. Пишется моя фамилия грамотным образом «Бекилов». Однажды мы взбунтовались и потребовали, чтобы наш золотозубый кавказец, атлетического вида, сам перепрыгнул через этого чертова козла, и он перепрыгнул, сломав ногу и руку.

Конечно, я давно закончил школу, да и худым себя назвать уже не могу, а также я без усилий, машинально и правильно выговариваю «х» в начале слов, но иногда, а если откровенно, если прислушаться к сонным поворотам чего-то около солнечного сплетения, чего-то, что я считаю своей душой, – иногда, а то и часто я понимаю, что я не Иван Бекилов, а Удой Быкылов, Иван Бекилов это некая тонкая пленка ретуши, под которой я прячу того, в ком то с ужасом, то с трепетом восторга узнаю себя, моего «мистера Хайда», Удою Быкылова.

Я прекрасно справляюсь с бесхитростной жизнью Ивана Бекилова, она идет по инерции, моя забота одна – сторожить самого себя внутри другого самого себя, общедоступного, всеми обозримого. Иван Бекилов все время что-то заканчивает: он заканчивал и закончил школу, он заканчивал и закончил обучение на историко-филологическом факультете, потом аспирантуру и намеревается, насколько я могу судить, приступить к тому, чтобы заканчивать докторантуру. А я, Удой Быкылов, все время что-то начинаю, в основном подобное тому, про что моя бывшая жена говорила менторским голосом: «Пожалуйста, не начинай», – однажды я поинтересовался у нее, что же я такое вот-вот начну, чего она просит не начинать, она посмотрела на меня с растерянным и ожесточенным недоумением, в котором просквозили сразу и усталость, тяжелая, подводная тысячелетняя усталость, когда она успела так устать? – и отстраненная ирония, и беспомощная надежда, словно машущая на себя рукой. Пауза имела неприятный уклон затянуться, и я решил по-рыцарски помочь: «Варя, ты, наверное, хочешь сказать, что я начну притворяться, что я пришелец из другой галактики, не понимающий самых простых истин, заученных тобою, когда ты была примерной школьницей и читала урывками всякую дребедень, мастер-и-маргариту, слушая вполуха назидательную болтовню твоей матери и песенки “Наутилуса”?» Варя вlepила мне пощечину и ушла к подруге, плакать, как самонадеянно подумал я. На самом деле у нее давно завелся любовник, как от грязи на кухне заводятся тараканы, и может быть, она ушла тогда к нему, а я еще

---

*Александр Мурашов родился в 1978 году в Москве, прозаик и филолог, автор двух книг рассказов – «Оттиски на песке» (Тверь, 2004) и «Тысячегранник» (Санкт-Петербург, 2013), печатался в журналах «Знамя», «Русская проза» и «25-й кадр», альманахах «Абзац» и «Акцент», на сайтах «Полутона», «Новая реальность», «Сигма». Живет в Москве.*

не знал, что он наличествует. Иван Бекилов вскоре закончил супружеские отношения с Варей.

Начал их, понятное дело, я, а не он. И, кстати, я считаю, что это было изнасилованием, пьяная Варя отпихивала меня вяло, я думаю, она даже не соображала толком, кто атакует ее, во всяком случае, она не понимала, что это я, не Иван Бекилов, а Удой. И я надеялся, что наутро она подумает, что ей приснилось, будто она поддалась настойчиво-резким ласкам кого-то, кто бы мог присниться ей бесцеремонно треплющим, а не ласкающим ее тело, но Иван уже принялся потихоньку заканчивать затеянную Удоем интрижку, он подждал пробуждения Вари, пугаясь, что она расстроится, припомнив случившееся накануне, но она не расстроилась и сказала, что тоже влюблена в него. И его, и меня позабавило слово «тоже».

Впрочем, Варя была в моем незамысловатом вкусе, а Ивану она казалась излишне прямолинейной, слишком предсказуемой и заурядной. Он не осознавал, будучи лишь моей благовидной проекцией и марионеткой, что он зауряден и скучен сам. И каким еще может быть Иван, если я – довольно обычный человек, аляповато-угрюмый, эмоционально малоподвижный, совершенно не утонченный, предпочитающий короткие, хорошо сколоченные мысли, хотя бы и тривиальные, и постельные грубости, тоже тривиальные. Моим единственным ухищрением, моим порывом к более сложной и неоднозначной жизни, чем пришлось бы мне самому по душе, был Иван.

Случалось, глядя на Ивана Бекилова в зеркале, я размышлял, возможно, я – Иван, а оболочка и накипь – это Удой Быкылов, он – воспоминание мое, Ивана, о том, каким я невольное казался самому себе или хотел казаться прежде, подростком, но воспоминание, которое каким-то манером смело повзрослеть параллельно со мной и приобрести хватки и мысли человека тридцатилетнего. И тогда оказывалось, что наружу проступает, словно подмышечный пот, который по-испански обозначается особым словом, не просто «пот», Удой Быкылов, его и видят другие, а бедный Иван, настоящий, не вымышленный человек, способен лишь удерживать Удою под своим контролем, потому-то Удою и не удастся ничего завершить, завершаю или не завершаю я, а больше разрушаю предпринятое Удоем.

Иногда я обладаю особенной глубиной постижения себя, своего прихотливого устройства, и вот оказывается, что «я», хотя оно и то же самое, что Удой или Иван, тем самым не совсем то же самое. Если мы говорим, «это – то же самое», получается, что есть какая-то разница между «этим» и «тем же самым», иначе фраза не имела бы смысла. И значит, говори я, что «Я – Удой Быкылов» или «Я – Иван Бекилов», всегда проясняется некий зазор, головокружительный люфт между «я» и Удоем или Иваном. И Быкылов, и Бекилов – два режима функционирования «меня», не равного ни тому, ни другому, и «я» переключаю Быкылова на Бекилова, Бекилова на Быкылова, и что гораздо непонятнее, иногда обозреваю их обоих как бы издалека. Возникает недоумение, о каком «я» тогда я говорю, о каком бы таком «я», которое не Быкылов и не Бекилов. Как его зовут, это «я», которое нарастает на тождестве «Удой Быкылов – это Иван Бекилов, тот же человек, что Иван Бекилов».

У меня есть приятель, про которого можно было бы сказать, что «друг», но другом он приходится только Ивану. Скажем, Имярек, и он невролог. Удой считает его мягкотелым нытиком, и правда, Имярек любит пожаловаться на обстоятельства, которым все равно подчиняется. У Имярека есть привычка удалять зубочисткой грязь из-под ногтей за столом, когда мы сидим, попивая кофе с коньяком и беседуя. Он говорит: «Веришь ли, но в жизни я считаю наиболее разумным избегать всего лишнего и отсекаать его, насколько возможно. Умение не помнить, не размышлять, не заботиться, не спрашивать о том, что тебе не нужно, не желать и не понимать ненужного – единственный способ следовать своей душе, своей природе. А нужно, как известно великим аскетиче-



ским школам, – совсем немного простора, воздуха, тепла, пищи и воды, чтобы ощутить все изысканные оттенки метафизической мировой игры, где ты – один кристалл, один листок на ветке. Я не аскет, но я принимаю шибболет аскетического отречения как повсеместную мудрость, запечатленную в чуждом иероглифе мистиков».

Я думаю, Иван Бекилов согласен с ним. Однако не потому, почему Имярек предпочитает избегать всего лишнего, и не для того, чтобы осознать себя одним кристаллом метафизической игры. У меня (у нас с Иваном) задача другая. Ивану не нужно многое из того, чего хотела бы хищная природа Удоя. В то же время Иван желал бы последовательнее стремиться к целям, смешным и никчемным для Удоя. И поскольку сохранять внешний контроль Ивана выгодно обоим: и мне, сиречь Удою Быкылову, и ему, постольку Удой смиряется с теми ограничениями, которые накладывает на него Иван, а Иван не может позволить себе большую самостоятельность, удовлетворяя свои запросы мелкого сноба и умника, потому что не рискует отделиться от Удоя и стать из иллюзорного чего-то откровенным ничем.

Приятельница, Имярек, рассказывала мне о себе. После девятого класса её не приняли в юридический колледж. Поэтому она поступила в странную гимназию, именовавшуюся гимназией иностранных языков, литературы и философии, а вкратце ГИЯЛФ, «гиялфом». Имярек торопило тогда созревание собственной души, уже нетерпеливо тянувшейся к бурной и солнечной жизни из раннеподросткового ватного полубоморока, рассеявшегося лишь однажды, годом раньше. Ее впечатление за год до гиялфа поразило меня. Конечно, я замечал, что она относится ко мне с более чем дружеской симпатией, но то, что она рассказала, касалось не этой симпатии, а меня самого, причем в таком застенном закулке, что она, Имярек, не могла и подозревать.

Ей было тринадцать, и она жила с родителями в Териоках, на берегу Финского залива, они занимали целый месяц комнату пансионата, какой-то бывшей барской дачи, настоящей усадьбы, по нынешним меркам. Дверь этой комнаты выходила, как еще полдесятка дверей, в коридор, завершавшийся каморкой, где стоял унылый унитаз и была подвешена эмалированная раковина. Душ принимали в сером дощатом сарае, окруженном кустарником, полынью, иван-чаями и какими-то другими сорными рослыми стеблями и частыми листьями. Отправившись однажды туда, она разделась в сенцах и прошла к одной из кабинок, тогда пустовавших. Но потом соседнюю кабинку занял кто-то. Она, обмотавшись полотенцем, нарочно прошагала мимо того, кто мылся там, как будто нужно было положить на скамейку желтую мыльницу с утенком, и вернулась обратно. Имярек мельком увидела юношу, старше ее несколькими годами, немного плотного, с редкими светлыми волосками на ногах и с шоколадным родимым пятном на ляжке. Соседство кабинок наполнило Имярек томительным, приятно-щекотным холодком новизны и неясными ожиданиями, которые доводится, наверное, любому испытывать, когда ребенком ощущаешь, что взрослеешь и жизнь твоя, покуда ровная, вот-вот должна измениться.

Так рассказывала Имярек. А я, Удой Быкылов, или я, Иван Бекилов, не знаю, сознавал с тоской, что все предвкушения детства, все его едва уловимые теперь, но стойкие эмоционально-глубокие, созерцательные образы, организующие память, принадлежат не мне, а другому: для Удоя – Ивану, а для Ивана – Удою. И чтобы дотянуться до этих образов, каждому нужно преодолеть отчетливую границу, разделяющую Ивана и Удоя. Но как преодолеть – неизвестно. Меня поразило, как я уже сказал, меня поразило родимое пятно на ляжке. Конечно, не само по себе, а именно то, что оно какой-то непредумышленной деталью зазвучало и звуком своим придавало пластическую трехмерность смутным ожиданиям, трепетно волнующим девушку-ребенка. Ни в одном моем воспоминании не было подобного центра координат, если угодно, нуля, от которого отсчитываются все единицы.

Но обнаруженная нехватка – повод для надежды. И я надеюсь, что когда-нибудь достигну того гармонического состояния, когда Иван Бекилов и Удой Быкылов станут лишь смешными личинами, из которых будет свободно высвободиться истинное «я».

### Исполнитель

При старинной библиотеке Палабрас в римском дворце Конти-Кьявелли есть должность исполнителя. Алексей Еликов, приезжий русский, занимал эту должность уже несколько лет. Ему доводилось слышать, что библиотеку и дворец обедневшей аристократической семьи наполовину поддерживает Республика и наполовину – Ватикан; слышал он и то, что, через муниципальные и католические организации, ветви библиотеки Палабрас и ствол дворца Конти-Кьявелли питает на самом деле некое Общество Памятливых, тайный клуб антиквариев и эрудитов, о котором сохранились известия восемнадцатого века и более сомнительные – семнадцатого и девятнадцатого веков. Историю Общества возводили к флорентийской Академии Памятливых, которая могла быть, однако, только шуткой нескольких гуманистов чинквеченто. Австрийские, итальянские и французские сведения от начала девятнадцатого века указывают на возможную связь меж Обществом и Заговором Теней в Венеции, не менее загадочным, нежели оно само. Побуждаемые страхом перед заговорщиками, французы, а затем австрийцы преследовали Памятливых и вроде бы покончили с ними. Во всяком случае, тут завершается сколько-нибудь достоверная, хотя и легендарная история Памятливых. Но Алексей не особенно интересовался, кто выплачивает ему жалованье и заботится о книгах, с которыми он работал: главное, что те, кто платил, полагали должность исполнителя необходимой и поэтому он мог обеспечить себя. Карьерных интересов у Еликова, как и у многих русских ученых, особенно – эмигрантов, не было, его не пугала перспектива все оставшиеся тридцать или больше лет приходить ежедневно, кроме воскресений и больших церковных праздников, во дворец Кьявелли и заниматься тем, чем он занимался.

Он замечал, что отражения в позеленевших зеркалах дворца его старят, а в других зеркалах – нет, и что его пальцы ювелира, способные протянуть лунный луч сквозь игольные уши, как будто увеличиваются и становятся фастальфовски-неуклюжими, когда он минует важного высокого старика – библиотечного стража. Другой, маленький старичок, почти карлик, но с большим лицом, приветствовал его: «Маэстро! Маэстро Еликов! Как дела у синьора маэстро?» Алексей отвечал, что находится на стадии «эскиза». Его уведомили, что книга – весьма раритетный французский роман начала семнадцатого столетия, в котором, немного подражая Монтеню, автор заводит речь о политике, об античных древностях, латыни, поэтике и риторике. Поэтому Алексей просматривал каждый день в библиотеке маркизов де Лас Палабрасов книги, которые могли бы оказаться полезными при исполнении; прежде всего, французские словари и лексиконы.

Когда ему предложили, не нашедшему места профессорэ литературы или русского языка при каком-нибудь университете, заняться старинным искусством исполнения, он засомневался в себе. Конечно, он отучился на кафедре религиоведения философского факультета, защитил кандидатскую, потом преподавал античную литературу в одном московском институте, почти не зная греческого и походя наверстывая латынь. И Еликов мог бы самому себе сказать, что был бы неплохим профессорэ, но о старинном искусстве исполнителей он не слышал и мог лишь догадываться, что подразумевалось.

Его попросили тогда прочитать незамысловатый забытый исторический трактат на скверном итальянском. Страницы текста были отпечатаны с фотографий бумажных



страниц. Местами эти последние были повреждены или фотография вышла нечеткой, поэтому при чтении Алексею приходилось протягивать канатные мостики смысла над лакунами. Потом состоялось слушание. В большом паркетном зале дворца сидела сонная старуха с монументальным горбатым носом – вдовствующая графиня Контти-Кьявелли, похожий на англичанина мужчина средних лет в свитере и обшитых замшей брюках – внучатый племянник графини, и молодой, напоминающий строгую женщину священник. Двое мужчин задавали о слоге трактата и особых идеях автора вопросы, опасно пересекающие области, где Алексей повстречался с лакунами. Он должен был отвечать на уточняющие вопросы наугад, держась собственных предположений. Иногда старуха кивала, то ли обреченно, то ли довольно. Рядом с Алексеем сидел напротив троих слушателей на пуфе карликовый старичок, управляющий самой библиотекой Палабрас, содержащей, помимо прочего, одно из наиболее изысканных и драгоценных известных миру собраний редчайших книг. Изредка он привскакивал и вполголоса восклицал: «Принчипесса! О, принчипесса!» Алексей подумал, не называет ли он *principessa* – княгиней ангелов или княгиней Церкви Пресвятую Деву. Но потом обнаружилось, что это его обыденное слово относительно графини, у которой был и немецкий княжеский титул, ничего не значащий со времен упразднения Священной Римской империи.

Еликова попросили подождать за дверями. Он пытался прислушаться и уловить отголосок разговора в зале, но казалось, что там шуршали листаемые страницы, и только. Его посетило знакомое по университетским годам чувство, как если бы умирающий от чахотки семинарист жарко бормотал: «Телеграфируйте в Священный Синод: воскресения мертвых не надобно!» Потом аббат Контти-Тедески (молодой человек, похожий на молодую женщину) вышел и, доверительно взяв Алексея за рукав, сказал, что его двоюродная прабабушка графиня отозвалась об Алексее с одобрением, хотя «дядя», ее внучатый племянник по другой линии, и был критичен и просто брюзглив. «Я мог лишь сказать, что вам дано исполнять, и если вы пока не умеете этого, то благодать дарованного вам гораздо важнее навыков, которые сами по себе – ничто, если кому-то не дано свыше». Алексей не понял, выдержал ли он экзамен, и спросил напрямую. «Но разумеется! Бабушка глуховата, и у вас акцент, но ее голос – решающий. Я подумал, что вы сразу поймете». Алексей подумал, что он сразу понял, что синьора, вероятно, почти не понимает его, поскольку она тарасила на него маленькие глазки или кивали в самые неожиданные моменты, к тому же он отлично был осведомлен о своем акценте, а почтенный облик дамы заставлял предположить, что если она и наделена старческой дальнозоркостью, то вряд ли слух ее обрел те же качества, что и зрение. Уже потом Польвини, миниатюрный библиотекарь с пуфа, сообщил ему, что его ироническое предположение неверно, ибо старческая дальнозоркость сопровождалась у графини аналогичной переменной слуха: она не слышала сказанного прямо перед нею или над ее ухом, похожим на вареную виолончель, но разбирала шепот на дистанции пятидесяти шагов. Алексей подумал, что графиня Контти-Кьявелли читает по губам, но поостерегся озвучивать новую гипотезу, ошеломленный судьбою прежней.

Он выспрашивал у Польвини и даже у младших сотрудников, что нужно, чтобы научиться искусству исполнителя, но они лишь недоуменно смотрели на него и наставляли – приходиться вовремя во дворец, изучать содержимое библиотеки по своему вкусу и настроению, обедать с другими служащими и покидать дворец не ранее шести часов пополудни.

Он уже готов был счесть свою работу синекурой, оплачиваемой из-за игры каких-то формальных обстоятельств, ну должен быть в штате некто вроде чтеца-декламатора, и его наняли, несмотря на произношение, потому что слушать его все равно некому. Жизнь похожа на вечерний вокзал, где сидишь на чемоданах, как говорится, но никуда

не отбываешь, – подумал он. Но вдруг Польшвини предупредил его, что скоро состоится его первый исполнительский опыт. На следующий день после переполоха слуг во дворце появился синьор Внучатый племянник и пригласил к себе синьора Исполнителя. Он принял Алексея в бело-голубом кабинете рококо, поблескивающим позолотой мебельных завитков. Заговорил синьор Фельче-Кьявелли на английском, объясняя, что для первого опыта избрано уникальное издание французских фаблио, составленное и напечатанное в середине девятнадцатого века одним образованным дилетантом, придерживавшимся весьма причудливых этимологических и историко-литературных взглядов. Эти взгляды сказались на редакциях текстов, предложенных издателем. Тираж был невелик, раскупался плохо, если вообще раскупался, и книгопродавцы постепенно стали сдавать его старьевщикам как макулатуру, и хотя книга и не древняя, сохранилось не более десятка экземпляров. Алексей сказал, что немедленно займется своим французским произношением. «Произношением? – удивленно воззрился Фельчи. – Никто не требует, чтобы вы исполнили полмесяца. Алексей, ожидая такого же экзамена, как с итальянским трактатом, читал фаблио в их привычном виде и в переводах, а также литературу, посвященную этим насмешливым стихотворным рассказам средневековых горожан, рифмованных анекдотах, раскрывал и оглаживал глазами «Калилу и Димну» по-французски и по-испански – «Притчи графа Луканора», заглядывал в труды Ганса Сакса и Брандта. Наконец, его призвали исполнить книгу, о которой его предупредили. Он должен был, как и прежде, приходиться во дворец и читать сборник стихотворных новелл, созданный чудаковатым эрудитом девятнадцатого века. Читать следовало в специальном кабинете самой библиотеки, откуда книгу было запрещено выносить, ничего не записывать за чтением и не слишком отвлекаться на другие книги. Иных условий не было. Когда он сказал Польшвини, что закончил, тот едва не закатывая глаза принялся тараторить: «О, маэстро закончил исполнение! Маэстро закончил исполнение! Я доложу немедля, можете не сомневаться, я побегу, как бешеный конь!» Снова прибыл синьор внучатый племянник Фельче, но не стал вызывать Алексея к себе, а зашел в библиотеку и спросил: «Вы закончили исполнять, как я слышал?» – «Я прочитал книгу до конца», – осторожно сформулировал Алексей. «Вам понравилось?» – «Мне были интересны редакторские решения». – «Ну что же, поздравляю вас. Вы получили полное представление о вашем труде и можете отныне совершенствовать навыки. Мы не будем назначать никаких дат, ни к чему не принуждаем вас, но когда вы почувствуете, что можете начать подготовку к следующему исполнению, просто скажите Польшвини. Наметьте в самых общих чертах, какую книгу вы желали бы исполнить, и объясните ему, а он свяжется с нами, посоветуется, подберет для вас подходящую и предложит ее вам, описав настолько подробно, как только допустимо и как только возможно для него, потому что надо учитывать, что он не читал за последние полвека, по крайней мере, ни одной книги, нуждающейся в том, чтобы ее исполнили. Все исполнения строго регистрируются, и не только нами, отчетность идет далеко и важна для очень ответственных лиц».

Простите, синьор Фельче, упрямо заговорил Алексей, но как вы можете быть уверены, что я удовлетворительно исполнил книгу, что я вообще способен что-либо исполнять? Вы не задали ни одного вопроса об этих изуродованных фаблио. «Но вы же прочитали до конца? И думаю, были внимательны? Больше ничего от вас не требуется, с нашей стороны, во всяком случае. Я уже сказал, это книги нуждаются в том, чтобы их исполнили, а вовсе не мы». Но мне говорили о том, что я должен буду осваивать искусство исполнителя... «Искусство, господин Еликов. Искусство заключено между творцом и произведением. Посторонние сюда не вмешиваются. Вы сами должны судить, насколько совершенно ваше исполнение». Если вы позволите мне аналогию, господин Фельче, творец сонаты композитор, а исполнитель – музыкант, успех которого

оценивают другие музыканты, публика... «Это всего лишь аналогия, верно? Все аналогии приблизительны. Я предложил бы вам рассматривать себе как некоего среднего персонажа, между композитором и музыкантом, между поэтом и другим поэтом, подражающим первому, но это все аналогии, не более. В конце концов, я не исполнитель, а вы – да. И вам гораздо легче разобраться в сущности вашего искусства, чем мне. Одно могу сказать: помните – исполняя, вы можете быть уверены в том, что никто не читает ту же самую книгу одновременно с вами и, вероятнее всего, никто не прочитает ее еще пятьдесят или семьдесят лет, поскольку уже пятьдесят или семьдесят лет ее, скорее всего, никто не читал».

Они перешли из библиотеки в гостиную, отделанную серым гранитом. В камине огонь перебирал остроконечным пальцами по струнам полена, от приоткрытого окна веяло влажной прохладой, как от замшелого фонтана. В этой гостиной висела картина конца шестнадцатого или уже семнадцатого века. Изображенный седобородым стариком в белой тунике и пурпурной тоге, Бог сидел под толстым деревом и держал в левой руке лист бумаги, на котором был нарисован равнобедренный треугольник. Правую рукою с циркулем в ней Бог указывал приникшим друг другу Адаму и Еве, стоящим перед ним нагими, на лист бумаги и треугольник. Алексей постоял перед картиной, разглядывая ее и обдумывая аллегорический смысл, но мысли сбивались на другое. Кажется, дворец обременял обоих, и Фельче, и Еликова, простором своих залов, высотой расписных потолков с апофеозами и олимпийскими сценами, прошлым, оседающим, как прозрачная патина, повсюду в подобных зданиях и скапливающимся поблизости от тепловыводящих систем, словно бы она магнетически притягивала полусонную бессознательную печаль этого студенистого существа.

На полях следующей исполненной книги Еликов обнаружил карандашную заметку по-английски (вместе с пеплом от давно погасшей сигары): «Исполнение не терпит болтовни». Он усмехнулся и сказал себе: «Этот пасьянс должен сойтись во что бы то ни стало». Иногда он встречал, следуя за извивами языка, слога и смысла, выражение, которого не понимал, но разгадывал наудачу и замечал, что смошенничал, но не подготовишь омлет из неразбитых яиц, пасьянс же должен сойтись. А еще в одном исполняемом фолианте он наткнулся на листок папиросной бумаги, исписанный аккуратным косым почерком с артистическими размахами, хвостиками и загогулинами. Это была хорошо поставленная рука девятнадцатого века, вымерявшая даже утолщения букв: «Игра начинается задолго до того, как все игроки осведомлены о ней, и не должна прекращаться. Можно утверждать, что как начавший игру, так и все последующие игроки позволяют себе тайком небольшие нарушения правил, позволяют себе плутовать, и даже следует считать, что без таких нарушений и плутовства игра была бы невозможна или, более того, что она и состоит из них. Все прочее – литература. Но этот страх проиграть, этот ужас... надо бояться, и это создает с течением веков безупречную партию без обмана и притворства, что, разумеется, вопрос веры, и поскольку он вне пределов разума, на него немислимо дать и разумного отрицательного ответа, сиречь испортить игру. А.К.Д.».

Иногда ему казалось, что, просыпаясь и глядя в окно на римскую лазурь, он видит сначала не ее, а небо из своих снов, жарко-синее до черноты, хотя он не мог припомнить неба над событиями своих снов. Философия дело каждого. И поэтому он постепенно понимал, что не только книгам нужны исполнители, но и наоборот, исполнителям нужны книги. Одинокие в своей материальности букв («дерево есть дерево», говорят об этом грузчики) книги вождели души, а душа была у него, читчика. Нечитаемые и нечитанные, они помогали ему пробудиться от дурного сна чужих существований, снующих кругом или в памяти. Ему приходило на ум, что какие-то обломки души, *disjuncta poetae membrae*, он обнаруживает среди материи тисненых слов и соединяет, исполняя, причем к исполняемому тексту он добавляет совпадающие обломки из других, ко-

торые он вспоминал, читая. Но этой мысли он остерегался – вернее, этого чувства, и позволял себе лишь как игру в ощущение, подобно тому, как мы позволяем себе иногда игру во влюбленность. Остерегался, потому едущий на велосипеде с зеркальцем заднего вида должен помнить, что все отражаемое зеркалом находится позади него, а не впереди. Какие-то длинные, длинные подводные стебли, змееподобные, поднимались в его душе к неизвестной поверхности, сквозь испод которой он мог различить едва лишь тени очертаний цветка. Такое настроение мешало смыслу разделять слова на фразы и фразы на слова.

По вечерам он приходил в съемную квартиру, изгибавшуюся буквой гаммой, тесную и маленькую, но зато с видом на площадь Навона (поверх кровель), и, перекусив, иногда бездумно валялся, созерцая стену и потолок. Конечно, «бездумно» не означает, что голова его была пуста. Там, при его пассивном попустительстве, перемещались образы и какие-то недооформленные мысли, колыхаясь, как медузы в соленой воде, сменяя друг друга. Так что стены и потолок он почти не видел или видел, но урывками, мгновеньями, когда все в его камерке ему казалось прекрасным, и даже подтек, приходившийся на угол обоев, напоминавший потное пятно подмышкой, – или, наоборот, все казалось уныло-уродливым. Он вспоминал свою московскую анемичную любовницу Ольгу, вспоминал, как рассказывал ей о времени и пространстве. «Подумай, – говорил он, – что такое время?» – «Время это пространство», – глубокомысленно отвечала она. «А пространство?» – «Пространство это время», – отвечала она столь же глубокомысленно.

Что бы ни читал он как исполнитель – средневековый латинский шутовской трактат о видах и правах болотных кикимор и блуждающих огоньков, дидактическую французскую книжицу семнадцатого века «Природа, или Зеркало души Аристотелево», представлявшую собой акростих, где из первых букв каждого слова складывался порнографический рассказ, русский фолиант екатерининских времен «О вреде грибцов» естествоиспытателя Андрея Струфокамилова, запрещенный духовной цензурой, оставившей надпись «Поелику грибцы суть пища великопостная», английский роман с очень запутанным сюжетом и чрезвычайно прямой моралью, провальную гигиеническую лекцию «Яблоки и почему от них пучит» немецкого профессора Виссеншафтена, изданную брошюрой, итальянский перевод парижского декадентского романа «Двуликая Астарта, или Записки эротического психопата», плохой – и плохого романа, американскую сказку двадцатых годов «Кот-самурай и волшебные штаны-призраки» (автор был математиком, публиковал шахматные задачи и отличался весьма незаурядным чувством юмора, погубившим его труд), – что бы ни читал он, перед его глазами как будто сходились перекрестными геометрическими линиями бесчисленные пути книг, справочников, заметок, вокабуляров, которыми он прошел когда-то хотя бы несколько шагов.

Женщина, та женщина – она ждала его напротив ворот, ведущих во внутренний двор Кьявелли. Иногда она ставила стул, усаживалась, и он наблюдал, не слыша ее голоса, как женщина сидя жестикулирует и, по видимости, громко обсуждает что-то с мимо проходящими товарками. За ее спиной была стеклянная витрина какого-то магазинчика.

Однажды, только однажды он зашел к ней. Небольшое помещение магазина было загромождено всяким бытовым хламом, позади которого занавес отделял стол и кассовый аппарат на нем от внутреннего закутка. Этот занавес состоял из тканых лент, на которые были наклеены маленькие зеркальные прямоугольники сверху донизу. Удивительно, однако портал дворца Канти-Кьявелли с его двойными колоннами по обе стороны ворот отражался в подвижном зеркале занавеса безо всякого изъяна, как если бы

между ним и лентами, унизанными зеркальными прямоугольниками, ничего не было. Кроме дворцовых ворот, здесь отражались он сам и она, приземистая черноволосая женщина, продавщица, а может, и хозяйка магазина.

С ее глазами персидского разреза и темными, черными волосами, словно овечьими южной ночью, она походила не на уличную хлопотунью, а на одну из древних восточных цариц, полногрудую и красногубую. Поворот пятикрылого вентилятора привел в движение зеркальные полоски, и он залюбовался игрою отраженных осколков дворца и лиц – своего и хозяйки лавки.

– Ваш недостаток в том, что заходя слишком далеко, вы знаете, где остановиться, – сказала она со странным акцентом, появившимся только теперь.

– Жан Кокто. Почти банальность, – равнодушно откомментировал он реплику женщины.

Он огляделся и увидел рулоны дряхлых ковров, верблюжьи седла, расшитые блестками, кальяны, украшенные кустарными узорами из витой баночной жести, палехские ларчики, ножны, покрытые резной слоновой костью, орнамент которой складывался в арабскую вязь, диванные подушки, лежащие на письменном столе рядом с тремя пресловутыми обезьянами, «Ничего не вижу», «Ничего не слышу», «Ничего не скажу», они были серебряными, их черепа открывались для перьев и чернил, у стен стояли ширмы, их увешивали вееры и маски, пыльный лебяжий пух которых шевелился от вентиляторного ветра, отнюдь не освежавшего, более теплого, чем легкий уличный ветер. Колониальные товары вперемешку с реквизиторскими, подумал он. Она приобняла его и сплеча дала поцелуй. Он оттолкнул ее. Сумерки качались в зеркальных подвесках.

Больше не было различий между книгами, которые он исполнял, и тем, что он читал дома или в библиотеке – или, возможно, только теперь он заметил, что этих различий нет, как и не было. Утешением были слова, которое он нашел на листке в книге: «Все позволяют себе сплутовать, и если бы правила игры не нарушились, то ее и самой бы не было».

## Владимир ТУЧКОВ

\*\*\*

### *Вольное переложение Нины Искренко на XXI век*

усталая женщина  
с продуктами из магазина  
ртутным шариком температуры  
ползет в лифте с первого на семнадцатый  
случайная встреча у кассы –  
как всплывшее из небытия марево того безумного лета –  
совсем недавно таким красавчиком  
таким интересным  
таким своим  
с общию кожей...

там, у кассы, только что – обмылок...

совсем недавно

и это недавно на ее шкале – лет двадцать  
не меньше  
кода без пинкодов айфонов вайфаев тачскринов айпэдов логинов пасвордов  
но руке не пройти сквозь плотные сети  
не прикоснуться

совсем недавно

\*\*\*

в темных  
переходах  
лица  
подсвечиваются  
потусторонним  
светом  
айфонов

---

*Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского рассказа XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. В «Волге» публиковалось «Прибытие поезда. Надуманное» (2014, №11-12).*

\*\*\*

в августе  
когда и звезды с неба сыплются  
и яблоки  
ночью по саду бродит тень Мичурина  
постукивая в землю посохом

\*\*\*

сейчас уже страшно  
поднимать лицо к звездному небу  
как в детстве  
(когда в первый раз)  
охватит пронзительный ужас  
от засасывающей крошечный комочек себя бесконечности  
сейчас этого  
уже не пережить –  
отдачей вгонит в землю.

\*\*\*

в ухо влетая  
не спешит из другого наружу  
все щебечет  
царапает коготками  
крыльями нежно поглаживает  
как барабанщик щеточкой по барабану  
помни – щебечет на своем  
помни – что в арматуре ветвей  
был не ноябрьский взрыв застывший  
помни

\*\*\*

тень вспорхнувшего воробья  
набухшая весом  
не может с ним в небо  
свинцовым шариком несется по улице  
на стены карабкается  
по крыше опрометью  
и снова вниз  
кубарем  
и снова дальше  
с одышкой  
в ужасе  
боится

боится  
расстаться с ним  
навсегда  
боится  
как боится  
тело  
расстаться  
с  
душой

\*\*\*

это поле  
где когда-то  
осенней промозглой порой  
полз тракторишко букашкой  
тянул борозду с востока на юг  
как проекцию журавлиного клина  
на бренную землю  
оставляемую ради...  
совсем скоро прорастет  
мухоморами коттеджей  
что посеешь  
то и п...ц

\*\*\*

в саду стало тише  
птенцы упорхнули из скворечника в самостоятельную непредсказуемость  
недогулявшие родители подались в сторону поэмы Виктора Коваля «Гомон»  
к саду начала прицениваться старость  
сдам скворечник молодой семье без вредных привычек  
совсем задешево – за одну лишь звукопись

\*\*\*

голубь пьет лужу  
в ней отражается небо  
зазор в два сантиметра  
не более

\*\*\*

только и остается  
что казаться себе  
бедная моя родина



## Татьяна ГРАУЗ

### ЛИТАНИИ АВГУСТА

*Litaneia – молитва; длинный и скучный перечень чего-л.; причитания, нескончаемые жалобы.*

(из словаря)

\*

и не было у неё никаких достоинств, кроме чистоплотности. Узкие ладошки и пересошая ниточка губ. Правда, она не могла считать себя скрытной, но почему? почему-то утаивала, что мать умерла от чахотки, что самым тягостным был для неё майский обычный такой, казалось бы, день, когда из уютного-замкнутого пролёт-перелет с двумя педантично всхлипывающими (одной-чуть-повыше-другой-чуть-пониже) женщинами и военной выправки человеком пролёт-перелёт в оцепенение цинковое. Муравьи в комьях рыхлой земли лесные фиалки воткнутые в живой чернозём цветущие даже сейчас цветущие в ней абрикосы и невыплаканная талая и невыплаканная земля переплавлялась в ней в «пусть-ничего-ничего-он-не-знает-и-не-узнает-пусть-выуживает-из-портфеля-невнятные-эти-цветочки» – смущенье – улыбка – «это – тебе»

*птицы скребут по карнизу заглядывают в окно  
она открывает книгу-калитку блаженного старца*

\*

неисчерпаемо-жаркое небо. Девочка пяти лет, улыбчивая, похожая на калмычку. Бусины тёмных зрачков. Девочка всё попискивала, что хочет «на-гору-на-гору-туда-где-трава-выше-пояса». Девочка любит её, а ей страшно неловко и держится она отчуждённо, чтобы не стать чем-то особенным в жизни девочки, чтобы не стать. Сияние дальнего берега. Мы обрываем душицу. От бессилия и жары все молчат. Может, это запомнится.

*в крошечном садике в блаженном тягучем покое ей всё чудится дух старой яблони свет  
чернозёмных глаз*

---

Татьяна Грауз – поэт, эссеист. Родилась в Челябинске. Закончила 1-й Московский медицинский институт и театроведческий факультет ГИТИСа. Публикации в журналах «Комментарии», «REFLECT...», «Крещатик», «Воздух», «Интерлозия», «Черновик», «Дети Ра», «Гвидеон», «Топос», «Окно», «Журнал Поэтов» и др. Автор нескольких книг стихотворений. Лауреат поэтических премий журналов «Футурум-Арт» (2001) и «Окно» (2011) и мн. др. Живёт и работает в Москве.

\*

небо сияло прохладой, покоем подступающей ночи. Под деревьями спали собаки. Она потеряла ключ и присела у дома на стопку из трех журналов и четырех пар колготок. Ладони заоченели. Девушка Су – продавщица – забыла имя-фамилию – помнила только табличку голубоватую, приколотую к голубоватой кофточке на груди – девушка Су – живот гол, бёдра её широки, бёдра обтянуты розовыми штанами – ну почему? – почему кожа в пятнышках? Не понимая, как долго сидит, она встрепенулась и поднялась на свой (предпоследний) этаж. Примостилась на подоконнике. И разомлев от спокойствия дома, задремала.

кругом было тихо.  
будто спросонок всхлипнула дверь.

\*

или  
или всё было совсем не так.

она просидела битых своих полчаса на бутылочного цвета скамейке. Стылые сумерки. Гудки железной дороги. Нестерпимо зелёное поле, окольцованное дорожкой для бегунов. Пахло гравием, светилась сирень. Замирая возле ограды, до одури вдыхала запах сирени. И медлила-медлила. Ей некуда торопиться. Но что-то позвякивало в ней, что-то в ней торопилось. Свернула в затхлую лавочку. И будто из полубоморока, не понимая собственных слов, пролепетала что-то в насупленный лик продавщицы. Та наклонилась. Скрип-хруст целлофана. Потом полноватое тело с достоинством выпрямлялось. Несколько капель пота сверкнули над верхней губой. «Грейпфрутовый». Мелочь посыпалась на деревянный прилавок. Монеты смешались с крошками хлеба. Лицо продавщицы сжалилось до улыбки. «Пшик-шип». Звуки-звучки газированного напитка. Проглатывая горьковатую жидкость, она смотрела бессмысленно и не задыхалась уже.

*ветер тёплый и сильный всё зыбко  
жара размывает дома случайные и необходимые вещи  
терракоту вечернего воздуха с чуть синеватым оттенком*

\*

она задирает голову, придерживает старинную сумочку и чувствует, как что-то притягивает его к её волосам. Он гладит их. Замечает усталость. Спрашивает: «не хочется ли тебе ненадолго присесть, там, на скамейке, где упокоилась раба божья София?» Они разбирают стёртую надпись. «В тридцать седьмом София ушла из жизни естественной смертью – это ведь чудо. А в тридцать шестом этот погиб на Кавказе, в снежной лавине. А эти два брата – смотри, как спокойны ровные белые буквы – в тридцать восьмом путешествовали и утонули в реке. Счастливы какие! не в лагерях! А здесь – посмотри – выгравировано так красиво: политкаторжанин, исследователь мерзлоты (вздохнула) это как шутка почти».

\*

тяжеловесной походкой она поднималась на предпоследний этаж. Почему-то считала ступени. Знала: эта щербата, эта заляпана краской, на этой когда-то споткнулась, а здесь

не могла отдышаться, когда возвращались после – после той операции. Вспомнила грубый текстиль его куртки. Шли под руку. Она говорила, чуть шепелявя, как бы проглатывая не полюбившийся слог, стеснялась этого своего недостатка, старалась почётче произносить отдельные фразы.

*август каштаны покойны*

\*

лак серебрится. Незагорелые щиколотки невинно обнажены. Белизна округлых коленок с чуть пожелтевшим следом от ушиба. Родинка возле пупка. Тихая радость от того как сутулится, как выпрямляет затёкшую спину, размахивает нелепо руками.

*август каштан ещё зелен а на дорожке первые порыжевшие листья  
у изголовья Софии вечнозеленый барвинок*

\*

взволнованное смущение. Радость. Отводит глаза от ворота его синей рубашки, от смуглой его потной кожи. Через круглые дырочки в туфли забились песчинки. Повеяло свежестью. Жухлой травой. Близостью ливня. И той всегда неожиданной близостью.

а потом

потом они говорят о разошедшей мебели, о поэте Скитальце, о шести блюдах в первый день их совместной, о том, что эти цветы напоминают ему – Мексику, ей – Подолье, что точки над буквой «ё» у него вызывают чувство покоя, а неточная рифма оскомину – у неё.

и долго ещё  
говорят-и-молчат  
говорят-и-смеются  
молчат-и-сидят-приобнявшись  
небесные-в-вечном-своем-ершалаиме.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

\*\*\*

По ошибке залетев, ракета,  
На Луну, где приняли на борт  
Бородатых астронавтов в кедах  
Для особо праведных работ,

Не вернется к празднику на площадь –  
Там к ногам просыпан нотный стан  
И стоит, как дирижер полночный,  
Тот, кто жить по-новому не стал.

Стоит сесть и разрастись корнями,  
Оплести опоры у моста,  
Чтоб вскипела в оркестровой яме  
Темнота, расплавилась звезда,

Постепенно изменяя форму,  
По привычке сохраняя хвост –  
Нелегко медлительным и хворым  
Сделать крюк в полмиллиона верст.

\*\*\*

Логопеды рычат на своих пациентов,  
Психиатры внимательно слушают их  
И готовят раствор из песка и цемента,  
Потому что опасен для общества псих.

У глазного врача в кабинете таблица,  
Там записанный в строчку вселенский язык  
Объясняет случайно зашедшим в больницу  
Комсомольскую правду, хоккей на призы.

Это в городе Энск проводили ученья –  
Прививали счастливому детству чуму.  
Возмущенному разуму до кипяченья  
К травматологу запись твоя ни к чему.

---

Алексей Александров родился в 1968 году в городе Александров Владимирской области. Закончил Саратовский университет, работает инженером-конструктором. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», «Дети Ра», «Новый берег», «Урал», «Новая реальность», «Белый ворон», альманахах «Тритон» и «Улов», антологиях «Нестолничная литература», «Черным по белому», в сетевых журналах «TextOnly», «Цирк «Олимп»+TV» и др. Книга стихов «Не покидая своих мультфильмов» (New York: Ailuros Publishing, 2013).

\*\*\*

Серия внезапных воскрешений,  
Улица с хрустальным фонарем,  
И стреляют на опереженье  
Сигарету, вынырнув вдвоем,

Серые крошащиеся тени  
У дверей буксующих домов,  
Где часами не встают с сидений,  
Голубой выщипывая мох,

Пассажиры, вросшие по пояс  
В желатин разбавленный тепла,  
Ни о чем уже не беспокоясь,  
Не косясь на лунный циферблат –

Дальних стран печальные пейзажи  
Им мелькают. Счетчик обнули,  
Если кто откинулся и даже  
Загорелся в небе, как болид.

\*\*\*

Утопленник слетается на кашу,  
Из проруби вовсю бежит дымок,  
Разматывая шерстяной клубок.  
И рыболова разбирает кашель

На атомы сидящих за решеткой  
Во имя победившего тепла,  
Пока зима идет за ним с трещоткой,  
Как фокусник с пилой из-за угла.

Наполнив сердца маленькую грелку  
Водой, похожей на вчерашний снег,  
Ему в уже помытую тарелку  
Кусок луны кладет лиловый негр.

Тот, кто вкусил, отращивает хвостик  
И подышать всплывает подо льдом,  
Забыв спросить из будущего гостью,  
Хотя кино снимали не о том:

Когда лежишь ты в ящике распилен,  
Кому твой дом в окошечке горит  
И облако полощется на шпиле,  
Шипучий размешав гидроперит?

\*\*\*

Не сумчатая крыса Шапокляк  
В ушко пролазит милому дружку,  
Луны сережку задевая – звяк,  
Сквозь тучи мчась по первому смешку,

Не кенгуру, боксируя с собой,  
Вдруг разбивает зеркало судьбы,  
Хрустя осколком бабочки слепой,  
И ассистенты остужают пыл,

Не тасманийский волк, через загон  
Перескочив, сбежал за острова,  
Где еле брезжит краденый огонь  
И дым стоит тяжелый, как трава, –

Зеленый, плоский словно материк,  
Хлеб плавает в подсоленной воде,  
Между собой народы поделив  
И воздухом холодным овладев.

\*\*\*

Из облака сыплются комары,  
Включая поющие ужас свёрла  
Над садом, где медленный клад зарыт  
В пуховую землю и в сон завернут.

Из дырочек в небе течет вода,  
Которой уже не нужны драконы,  
Фонтаны на площади, города,  
И занят аквариум законный

Отрядами мастеровитых рыб  
С двуцветной змеей на железных перьях –  
Всё это шевелится, говорит,  
Оставшись за плотно закрытой дверью,

Когда уже вкручивают шуруп  
Крестовой отверткой с печальным хрустом,  
И ржавой сирени волна в жару  
Застыла пред зеркальцем многоустым.

\*\*\*

Со связкой ключей от забытых дверей,  
Игрушечной саблей о шпоры задев,  
И ты бы не отдал ни пяди своей  
Земли, в безымянной лежа пустоте.

Расступятся, мертвого света глотнув, –  
И, лязганье слыша стальных гусениц,  
Пойдем погулять по жд полотну,  
Нам в детстве крутили кино без границ...

Но счистил с подошв, отряхнул ее прах,  
Бесстрашно стучась в приоткрытый портал  
У пыльного неба в бездымных клубах,  
Сердьясь, будто бабочку ты растоптал.

\*\*\*

Медведь с клешней вратарскою в хоккее  
Ушел играть, когда через ворота  
На джипе в город въехал саддукей  
И превратил в цветущее болото,

О чем сосед играет на трубе,  
Чехля кларнет, потратив все пистоны  
И медсестре в приемной нагрубив, –  
Но он уже за это арестован.

Забрали телевизор и рояль.  
В кустах стрекочут тучи жесткокрылых,  
И там, где раньше стол его стоял,  
По всем приметам облаком накрыло.

Когда забьют, зажжется красный свет,  
Усиленный наряд не помешал бы –  
Они вернутся через много лет,  
Неся в мешке отыгранные шайбы.

\*\*\*

Лес не видит своих берегов,  
Но выходит во внутренний дворик,  
Дирижируя палочкой, Кох,  
Словно школьник, наевшийся двоек.

Птица вынырнет, снег угадав,  
И под носом у клятой собаки  
По-английски кричит «никогда»  
Копошались в этой клоаке.

Не подводит начальства боец  
В белой шапочке для омовений,  
Провода замыкая сердец  
На одно из прекрасных мгновений.

Фотик щелкает, точно замок  
На пути заблудившихся сосен –  
Человеческий жалкий мирок  
Для него суетлив и несносен.

\*\*\*

Экскурсанты вышли из музея,  
Звезды лейтенантские обмыв,  
На ходу трагически лысея,  
Растворившись в воздухе, как миф.

Их начальник проглотил указку,  
Выпил море, отпустил чижа  
В торопливом небе над Луганском,  
Словно снег на кончике ножа –

Там к рассвету конная бригада  
Завершает начатый ремонт,  
Постелив под спину ипликатор,  
Как велел святой Пантелеймон,

Гости едут в лодочке смолёной  
И веслом мешают молоко  
У цветущей на горе маслины  
С перебитым шейным позвонком, –

Говорит им правильные вещи  
Перед тем, как в облако войти,  
Выпав из истории новейшей,  
Сосчитав в уме до тридцати.

\*\*\*

В Йошкар-Оле раскрыли пестрый зонтик  
Над тем, кто вел себя нехорошо,  
Больные там заглатывают зондик  
И для прикормки – белый порошок.

В Лукойле деньги сонные томятся,  
Им, в трубочку потягивая нефть,  
Несут на завтрак золотые яйца  
С аукциона и другую снесь.

Лапландцам тоже пенсию простили,  
У рыб сегодня праздничный обед,  
И можно долго рассуждать о стиле  
Среди никем не узнанных в толпе.

Дождь – это клейстер для твоей афиши.  
Концерт, который сразу отменен.  
Пойдем и дымом радостно подышим,  
Пока не починили связь времен.



Владимир ПАНКРАТОВ

ШЕСТОЕ ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

Рассказ

Сквозь утреннюю дремоту стали проступать чьи-то быстрые шаги. Сон незаметно ускакал, но открывать глаза не хочется. Это отец уже который раз проходит мимо моей кровати, громко сопит, выходит из комнаты, заходит, что-то бормочет, снова выходит... Сначала подумал прикинуться спящим и полежать так еще с полчаса. Затем понял, что этот нервический марш не закончится, пока я наконец не открою глаза. И я их открыл.

– Ты не спишь уже? Дай ключи, мне идти надо.

– Куда?

– Как куда?! На работу.

Смотрю на отца еще немного, потом поворачиваюсь на спину и перевожу взгляд на окно. За ним все будто покрыто зимним пеплом. Вязкая серая жижа течет по небу, черные, будто обгоревшие, ветки обвязаны запачканными бинтами, на земле лежит закаменевшая лунная пыль. Во сне (а я вижу цветные сны) красок было больше.

Прямо напротив – стройный тополь, не сдается, тянет ручки вверх, толкается с соседями. Холодно ему там стоять. Я его жалею, а он наверняка надо мной насмеяется, когда наблюдает вот это наше с отцом театральное действие.

– Артем!

Артем – это я. Остаюсь неподвижным, только перевожу глаза.

– Чего?

– Дай ключи, говорю! Меня работа ждет.

– Какая еще работа?

– Мы там с Саньком яму копаем. Уже половину раскопали, надо доделать.

– Какую яму?!

– Долго объяснять. Ты дашь ключи или нет?

– Нет.

Его старый лоб нахмурился, отчего стало еще больше морщин, глаза, и без того большие, выпучились, сверкая голубыми радужками на сером белке.

– Ладно...

Отец ухмыляется и уходит.

Нужные ему ключи лежат под моей подушкой, как молочные зубки маленькой девочки. Не лучшая идея – прятать ключи от квартиры. Да кто спрашивает четырнадцатилетнего пацана.

Домашний арест нашего папочки продолжается уже давно. Схема такая: мать, уходя на работу, запирает нас снаружи, второй ключ остается у меня. Это смешно хотя бы потому, что у отца тоже есть ключи, а когда мать их у него отбирает, откуда-то появляются новые. Думаю, он просто сделал несколько копий с экземпляра бабушки, которая сто лет как померла. Пряча ключи по всей квартире, отец никогда не оставляет их в собствен-

---

*Владимир Панкратов родился в Ташкенте в 1990 году. Получил экономическое образование в Ташкентском государственном техническом университете. Работал книжным обозревателем, журналистом в ташкентских журналах. Проза публикуется впервые. Живет в Москве.*

ных вещах, где роется мать. Однажды очередной ключик случайно нашелся в шкафу с щетками для обуви.

Нам, слава богу, редко удается поиграть в надзирателей. Приходя со школы, я, конечно, уже не обнаруживаю отца дома. Но в выходные или на каникулах, как сегодня, я остаюсь в качестве настоящего дозорного. Хотя если отцу надо уйти, он делает это рано утром, пока дозорный спит. Если же дозорный не спит, он делает вид, что спит. Чувствуя через закрытые веки, как отец крадущейся поступью заходит в комнату, смотрит на меня и еще долго снует туда-сюда по квартире, словно набираясь уверенности перед побегом, – я не просыпаюсь. Зачем? Как я могу его остановить?

Вернее было бы спросить это у матери, которая посвятила меня в дозорные. Но об этом я с ней не разговаривал. Как и о том, что все это бессмысленно: мы пытаемся поймать солнечного зайца.

Медленно, нехотя поднимаюсь с кровати. Прохожу на кухню, наливаю себе чаю. Отец на балконе курит в окно.

Если он не ушел утром, значит, мать умудрилась-таки найти и забрать его ключи. Тем хуже для меня. Не просто держать человека в клетке, сидя в этой клетке вместе с ним.

Холодок прошелся по спине. Оборачиваюсь: дверь на балконе медленно открывается, подчиняясь дуновению с улицы. Ветерок играет с прозрачным тюлем на окнах, он лениво толстеет, как воздушный шар, потом быстро сдувается, потом снова вздымается над полом, пропуская поток холодного воздуха.

– Закрой окно, дует.

Отец затягивается последний раз, бросает бычок в ржавую банку из-под кофе и направляется ко мне.

– Открой дверь, мне надо идти.

Он так просто не отстанет.

– Что за яму вы там копаете?

– Обыкновенную яму. В гараже.

– В автосервисе?

– Нет... У частных. Открой дверь. Хорош мне свои дурацкие вопросы задавать.

Не отвечая, встаю и иду обратно в комнату. Лучше там отсидеться.

Заточению отца предшествовала длительная слежка.

Однажды на домашний телефон позвонил его знакомый по работе (это когда он еще работал) и спросил, где, собственно, отец. «На работе», – сказал я растерянно, не поинтересовавшись, с кем говорю. «Нет его здесь. Это Паша, с его работы. Он там что, спит до сих пор?» Я немного помолчал. «Скажи ему, чтобы после обеда пришел. Заедет клиент, которому он машину чинил на прошлой неделе. Давай».

Я тогда не сказал матери, что отец, оказывается, иногда не ходит на работу. А через несколько дней, в воскресенье (автосервис работал без выходных) неведомый Паша вновь позвонил, попав теперь уже на мать, вновь спросил, где отец, вновь не поверил, что того нет дома, вновь посоветовал привести его в чувство и послать в гараж. Мать, обычно по любому поводу вспыхивающая как солома, выслушала все это, не моргнув и глазом. Затем отправилась в гараж и со спокойным видом узнала, что с работы отец часто уходит «с какими-то непонятными типами», а иногда даже и не приходит вовсе. Газы гнева копились за ее мраморной оболочкой, чтобы взорваться позже, когда отец явился домой.

В тот день он пришел поздно, за полночь. И сильно поддатый. Впрочем, это был уже не первый раз за последнее время, когда мать ждала его до ночи.

Тогда я впервые получил возможность почувствовать себя следаком. Теперь каждый день после школы я ходил к отцу на работу, не очень далеко, минут двадцать пешком, чтобы проверить, там ли он вообще. Глупее я себя еще не чувствовал. Для оправдания

визитов я звал его на обед, но он всегда отказывался. Мы оба понимали, чего я шастаю в его автосервис, который был совсем не по пути к дому.

Но скоро мои рейды прекратились.

Как-то придя в отцовский бокс, я его там не обнаружил. «Только что пошел домой на обед», – сказал тот самый Паша. Это был низкий, пузатый человек с рыжей щетиной на красных щеках, с короткими, выставленными в разные стороны руками. Худой, скрюченный отец по сравнению с ним был престарелым мальчиком.

Я сначала поспешил, думая догнать отца.

А потом понял, что догонять некого.

Дома я действительно никого не нашел. Теперь было уже совсем неудобно являться к Паше, признавая, что мы сами не знаем, где отец. Да и сам он перестал звонить. Понял, видимо, что бесполезно.

Я не уведомил мать, что добровольно сложил с себя полномочия цербера. И стал, получается, невольным сообщником отца. А что было делать?

Сразу за мной в комнату заходит он. Так резко распахивает дверь, что за ней открывается окно, то, что поменьше. Оно накрепко не закрывается, а проклясть его тряпками я всегда забываю. Обычно это отец делает.

– Артем. Хватит комедию играть. Дай ключи, я пойду. Неудобно перед людьми. Санек меня ждет. Мы договорились, что сегодня докопаем.

– Нет.

Пытаюсь сохранить невозмутимое выражение лица.

Отец сокрушительно качает головой, ставит руки на пояс, топчется на месте, как бы думая, что предпринять. Наконец нерешительно подходит к окну и начинает говорить прямо в стекло.

– Там чуть-чуть осталось. В глубину докопать и подравнять, чтоб цивилизно было. Это не двойной гараж, как у Кривого. Яма одна. Я мог один раскопать, но долго бы мудохался. Поэтому Санька позвал. Мы вчера договорились, что в девять встретимся. Он уже давно ждет. Некрасиво же.

Не смотрю на отца и ничего не говорю. Я и не знаю, что говорить.

– Не крути мозги, дай ключи. Еле работу нашел, а ты меня не выпускаешь. Сейчас работы нет нигде, а Юрка предложил у него в гараже яму раскопать. Отказываться, что ли? Нормальная работа, за полтора дня можно легко сделать.

Он запинаясь на последнем слове и делает паузу.

После которой говорит немного быстрее и громче.

– Выпусти, я хотя бы Саньку ключ от гаража отдам. Мы вчера не докончили, я ключ с собой унес. А теперь он там стоит, яйца морозит. Ни домой пойти не может, ни в гараж зайти. Открой дверь, что ты за человек!

Мое единственное оружие – молчание. Вот только пользоваться им я не очень умею. Я, знаете ли, человек вспыльчивый, из-за пустяков начинаю нервничать.

– Мне и лопату надо у Юрки забрать. Мы же своими лопатами копали. И там оставили, думали, сегодня докопаем. Юрка после обеда придет, мы лопаты заберем и ключи отдадим. А то он припрется сюда, будет ключи искать. Спросит, почему яму не докопали. Выкопали половину и бросили. Такая лажа будет. Ты меня слышишь, нет?

Зачем мать забрала у него ключи... Это ведь ничего не решает. Сколько же это выслушивать.

– Мы быстро все сделаем, и я сразу приду, можешь не волноваться. Надо же работу до конца довести. Юрка еще не заплатил нам просто. Сказал, заплатит, когда сделаем. Сегодня должен заплатить. Открой дверь, у меня нет времени с тобой языком чесать. Выкобениваешься тут.

Не желая ничего говорить, отрицательно качаю головой.

– Чего ты головой крутишь? Я тебе говорю, меня человек на морозе ждет. Доделать работу надо, раз пообещали. А то Юрка больше никакой работы не даст. Вонять будет, что вовремя не сделали. Еще сюда придет за ключами от гаража. Зачем это надо?

Стараясь его не слушать, смотрю на кусок обоев, который уже давно отклеился и обнажил серую стену. Будто вся комната смеется и показывает мне язык.

Отец устает говорить, отходит от окна, шагает по комнате от угла к углу. В какой-то момент останавливается, смотрит пристально на меня.

– Артем! Я ж не буду у тебя ключи искать. Открой дверь. Я быстро вернусь, серьезно говорю. Мне некогда с тобой тут разговаривать.

Он некоторое время стоит неподвижно, затем, так и не дождавшись какой-либо реакции, опускает руки и уходит.

У меня пробегает мысль, что я сижу в своей комнате, как в осажденной крепости.

Отец всегда говорил, что «идет на работу», даже когда его выгнали с последней работы.

Сначала его сократили на авиазаводе, за полгода до того, как сам завод стал большим складом металла. Они с матерью вместе пошли туда сразу после института и, не успев проработать и трех лет, вместе же получили пинка: самолеты в государстве стали незаметным фоном более важных проблем. Не то что была разрушена их мечта, но они как-то совсем растерялись и не понимали, чем теперь заниматься. Ответа на этот вопрос они не нашли до сих пор.

Потом его выгнали с автосервиса. Правда, долго терпели. Терпели, когда отец повадился с самого утра приходить на работу пьяненьким. Его отправляли обратно домой, а он отправлялся бродить по району в поисках приключений.

Терпели, когда отец залил весь гараж собственной кровью. Когда он пришел в бокс поздно вечером, успев уже где-то «подкрепиться». И упал в смотровую яму. Охранник, наверное, обмочился в штаны, когда к нему в каморку заглянула окровавленная, будто разбитая надвое голова и попросила «кому-нибудь позвонить». Нам через часа полтора сообщили об этом из больницы.

После этого у него остался шрам на пол-лица.

Отец месяц не работал, сидел дома с забинтованным лицом, никуда не убегал. Паша, как и мать, надеялся, что он одумается. И поэтому терпел.

Но они ошибались.

Постепенно отец нашел новую «работу» и стал появляться в боксе все реже. С новыми друзьями, которые тоже отправились в свободное плавание по бескрайним просторам случайных заработков, они клеили обои в чьих-то квартирах, чинили смесители в школах, меняли полы в домах культуры, помогали заделывать крыши в детских садах. Шайка выброшенных на улицу мужчин на первых порах даже умудрялась неплохо зарабатывать.

Откуда брались эти деньги, мы узнали, конечно, только после звонка Паши. Он сказал в трубку: «Приходи, забери отцовские вещи».

– Это его штаны сменные. Это майки. Это ключ, он приносил из дома. Нарды тоже его.

Он всучивал все это мне в руки. Я стоял как истукан, ничего не понимая.

– Уже месяц как его нет, ходит где-то. Раньше хоть заявлялся к обеду, а сейчас совсем пропал. Скажи ему, чтобы больше и не приходил. Календарь, я думаю, ему не понадобится. Чашка его. И вот, деньги. Заначка у него тут была. Да он, видимо, сам про нее забыл. – Он передал мне пачку мелких денег. – Смотри, ему не давай! Матери передай.

Он немного посмотрел на меня, а я отвел глаза.

– Ты его видишь хоть?

– Вижу.

– Домой приходит?

– Приходит.

– Ну и слава богу. Ладно, если я какие-то вещи забыл отдать, пусть забирает. Давай.

С этим скарбом я поплелся домой, не зная, как все объяснить матери. Она, впрочем, сделала вид, что не удивлена и пообещала «устроить ему сегодня». Она не уставала «устраивать» ему каждый вечер, когда он приходил домой, еле стоя на ногах.

Через минут десять, за которые я, кажется, и сдвинуться не успел со стула, на сцене вновь появляется отец.

– Ну что, ты еще долго придуриваться будешь? Выпусти меня, я схожу и быстро приду.

– Ты же не придешь.

Зря я заговорил.

– Не выдумывай, я приду сейчас. Открой дверь.

Смотрю в окно. Отец начинает сопеть.

– Артем, я приду сейчас, обещаю. Нам немного доделать осталось. Человек ждет, мы уже полчаса назад должны были встретиться...

– Да пусть он там хоть весь день прождет.

Говорю уже что-то не то. Но слушать его бредни просто невозможно.

– Как весь день? Иди, сам постой весь день на морозе, я на тебя посмотрю. Ты думаешь, легко на холоде работать? Замерзшую землю копать...

– А кто вас просит ее копать?

– Кто просит? А ты когда чай с хлебом и маслом ешь, не думаешь, откуда они берутся?

Ты бы тут сидел и палец сосал, если б я эти ямы не копал.

– Неправда. Домой ты ничего не приносишь. Всё с Саньком дербаните.

Отец тяжело вздыхает, будто только что мешки таскал.

Раз уж я заговорил, пробую его заговорить.

– Пересиди сегодня дома. Один день. Ничего с твоей ямой не случится. Потом докопаете.

– Как потом?! Юрка придет сегодня к обеду, он должен заплатить!

– Потом заплатит, когда докопаете. Ничего страшного, один день погоду не сделает.

– Так он сегодня уже с деньгами придет! Зачем тянуть? Мы пообещали, что сегодня сделаем. А Санек что? Он же меня там ждет!

– Подождет и уйдет. Замерзнет и пойдет домой.

Громко ухмыляется.

– Так с людьми не делают. Надо его хотя бы предупредить.

– Он не будет тебя ждать до обеда. Час посидит и уйдет.

– А ключи от гаража?

– Какие ключи?

– От Юркиного гаража! Они же у меня. Он придет в гараж и даже дверь не сможет открыть. Выпусти меня!

– Нет.

– Да что такое! Ты зачем мне на нервы действуешь? Издеваешься, что ли? Ты мне, что ли, работу будешь искать?

– Отвали! – я уже выкрикнул, не выдержал.

Отец замолчал, уставился на меня. Я, не моргая, смотрю на него. Он медленно поворачивается и вразвалочку удаляется со сцены.

Я не боюсь его. Он смелый только когда примет. Да и то, быстро засыпает. Но вот так разговаривать тоже неудобно. Это все-таки мой отец.

Почему он не может уйти через окно, чего он пристал ко мне. Я сделаю вид, что не заметил. Он уже как-то исполнял такое.

Представьте. В темной комнате, освещаемой лишь синевой плазменного экрана, кто-то яростно копошится в углу. Два мальчика, кряхтя и матерясь, двигают огромное,

пышное кресло поближе к телевизору. Рядом с ним они похожи на гномов. Зацепились за какой-то шнур, задрали ковер на полу. Кое-как передвинув одно кресло, они принимают за второе. Между креслами ставится журнальный столик, канделябр уступает место газировке с попкорном. Сегодня, когда родителей нет дома, это будет их личный кино-театр на двоих, с вип-местами. В программе фильм ужасов, свет везде выключен, звук сделан громче.

Первые титры проходят в гробовой тишине. На экране ничего не видно, глаза пытаются всмотреться в еле уловимую картинку. Камера движется медленно, играя на нервах маленьких зрителей.

Какой-то шорох за окном. Мальчики оборачиваются и видят в крошечной темноте два огонька. Это кошка. Через секунду опять шорохи – но кошка уже ходит между ног. Еще через секунду шорохи сменяются тяжелым шумом, будто кто-то лезет по трубе. Мальчики открывают шторы. Сверху, на фоне вечернего сумрачного неба очерчивается непонятный силуэт. Что-то бесформенное спускается вниз и постепенно принимает форму человеческой ноги. Потом появляется вторая нога. Мальчики оцепенели и стоят с открытыми ртами. Когда в тусклом свете показывается лицо этого чудовища, один из них произносит:

– Артем, это твой папа.

Отец вылез из нашего окна на втором этаже и встретился со мной на первом, где я гостил у одноклассника. Не знаю, зачем я побежал домой, то есть наверх. Прошел коридор, гостиную, мимо матери, сидящей на диване и ничего не подозревающей, вышел на балкон, посмотрел из окна вниз и увидел отца, лежащего на земле. Видимо, упал только что с соседской решетки. Он медленно встал, посмотрел на меня и, хромая, пошел в неизвестном направлении. Люди во дворе, как вкопанные, вместе со мной смотрели на отца, пока он не исчез из виду.

Мать приказала беглеца нагнать, я вышел из дома, но побрел в другую сторону. Сначала он на глазах у десятков зрителей сбежал из дома через окно, а теперь я под их пристальным вниманием поташу хромого обратно. Нет уж, извините.

Это было года полтора назад, и с тех пор он такого больше не повторял. Больно упал, наверное. А может, просто на трезвую голову его не тянуло на подвиги. Ведь по решетке он лез, будучи под градусом.

Слышу голос комментатора. Отец телевизор включил. Вряд ли он сдался, просто решил сделать паузу.

Мне сейчас лучше подумать, что делать дальше. В том смысле, что я так долго не продержусь. Отцу-то все равно, он может изводить, сколько влезет. А я спокойно слушать его речи не могу.

Сидеть вот так в комнате целый день? Может, вообще уйти из дома. Нет, он не даст мне уйти одному. Придется пробыть с ним до вечера, до прихода матери.

Выхожу в гостиную. По телевизору футбол. Отец смотрит только спортивные каналы, где футбол могут показывать с самого утра. Он развалился в кресле, которое стоит бочком к телеку, менее чем в метре от него. Так легче переключать каналы или регулировать звук: пульт давно сломался, поэтому отец нажимает кнопки на самом ящике.

Может, все-таки выпустить его. Ко всем чертям. Зачем мне с ним собачиться. Кому вообще было угодно, там, на небе, чтобы я не выпускал собственного отца из дома. Я не хочу этим заниматься. Выпущу его, и пусть делает, что хочет.

Но тогда получается, что я зря так героически держу оборону. И мать зря каждый раз ждет до ночи и выслушивает его несвязные речи.

Прохожу мимо него на кухню, начинаю снова что-то есть. Не спускаю с него глаз. Он будто не обращает на меня внимания, смотрит на экран, переключает каналы.

Но что-то в его движениях не так.

Какая-то чуть заметная вязкость. Чуть медленнее, чем следовало бы, он нажимает на кнопку. Чуть сильнее, чем обычно, он давит на нее. Чуть дольше, чем надо, он держит палец на пульте. Чуть рассеянее, чем несколько минут назад, он смотрит вперед. Самую чуточку.

Подхожу ближе, сажусь на диван. Смотрю на него. Он поворачивается ко мне. Его глаза, до этого матовые, сейчас будто смочили маслом. На них теперь тончайшая глянцевая пленка, которая замутняет взгляд и делает его самую малость потерянним.

Отец пьян.

Совсем немного. Выпил одну стопку, не больше. Но я это почую, даже если на параде его встречу.

Черт, как это возможно? Я только что с ним разговаривал. Он никуда не выходил.

Заначка. Где-то дома.

– Ну ты решился? – это он меня спрашивает.

– Ты что, выпил?

Отец вздыхает, видя, что я еще не наговорился.

– Да. И что?

– Зачем?

Откуда я беру такие глупые вопросы. Отец поднимает глаза и улыбается.

– Знаешь... Сложно ответить. Ты не поймешь.

Стою с открытым ртом, вперив в него непонимающий взгляд. Облысевшая голова, как перезревшее яблоко, покрыта бурными пятнами, сморщенная кожа на лбу кажется прозрачной, вот-вот порвется, кости черепа выпирают пугающе острыми углами, гладкий, бледный шрам начинает свой путь на середине лба и растягивается по всему носу, мешки под глазами, когда-то полные гадкими отложениями, сдулись, как раздавленный клещ, на скулах россыпь из черных точек, морщины изрезали лицо вокруг глаз и рта, как самосвал мягкую глину, застывшую потом на солнце. Полные губы, не потерявшие формы, теперь кажутся инородными на безжизненном поле, как два слизня, спасающиеся бегством от огня. Этому человеку тридцать два.

Отправляюсь на кухню, открываю шкафчик с посудой, отодвигаю тарелки. Открываю дверцу под раковиной, заглядываю за мусорное ведро. Может, на антресолях, среди кастрюль. Или в гостиной, в книжном шкафу, внизу.

Господи, неужели я думаю, что смогу найти его клад. Отец ходит за мной по пятам и медленно читает мантру.

– Артем, ну в самом деле. Я сейчас вернусь. У меня еще тут дела есть. Мама попросила швейную машинку посмотреть. У нее там как всегда что-то не работает. Поэтому я быстро приду.

Получается, что я проиграл. Какой теперь смысл держать его взаперти.

Нет, в таком состоянии его тем более нельзя выпускать.

Но сейчас-то мне что делать?

– Мы бы уже давно все сделали. Ты тут выживаешь. Раньше начнем, раньше закончим. И лопаты там наши все равно. Забрать надо. И Санькина лопата тоже там. Он сам не заберет, ключи же у меня.

Так и не придумав, что предпринять, я снова ухожу в комнату и на этот раз машинально закрываю дверь на щеколду.

Вечером того дня, когда я принес последние отцовские вещи из гаража, матери не удалось с ним поговорить. Утром, протрезвав, он рассказал, чем занимается. Говорил, что на ремонтах зарабатывает больше. Он действительно принес домой деньги, почти такие же, как с автосервиса. Но это при том, что половина заработанного все чаще оставалась в пивнушках.

На следующий день я не пошел в школу, потому что должен был проследить, куда пойдет отец. Так решила мать.



Мы с друзьями часто следили за кем-то из наших соседей, когда были младше. Это было весело. За своим отцом следить было труднее. И совсем не смешно.

Из окна я посмотрел, в какую сторону он направился. Сам вышел, как только он скрылся со двора.

Помню тот день во всех деталях. Иду за отцом, почти не прячась. Он не оборачивается. Через минут десять встречается с каким-то человеком, и дальше они идут вместе. Разговаривают, смеются. Мы уже прошли два квартала, наконец, отец со своим спутником останавливаются у какой-то школы. Здесь их ждут еще двое. Они здороваются, входят внутрь. Я подхожу к воротам школьного двора. Отсюда видно, как отец с друзьями заходят в спортивный зал, полностью остекленное помещение, стоящее отдельно от самой школы. Четыре фигуры, среди которых я легко узнаю отца по глупой кепке с козырьком, встречаются с пятой – наверное, директрисой. Она что-то показывает на стенах, разводит руками.

Появляется мысль, что не хотелось бы здесь встретиться с кем-то из одноклассников. Оглядываюсь: район незнакомый. Отхожу к линии высаженных деревьев, наблюдаю оттуда. Когда вновь смотрю на стеклянную стену спортзала, пятой фигуры уже нет. Кепка с козырьком застыла у дальней стены, изредка поворачивается куда-то вправо. Рук не видно: отец, наверное, красит стену. Или шкурит. Через какое-то время еще один подходит к нему, и теперь они оба стоят затылками ко мне.

Я простоял так довольно долго. А когда посмотрел на часы, оказалось, что прошло минут пятнадцать. Я не очень понимал, в чем теперь заключается моя задача. Куда отправился отец из дома, я узнал. Но ведь это не гарантирует, что он вернется домой в нужное время и в нужном состоянии. Я подумал, что должен пробыть там, пока они не закончат.

Скоро я устаю, начинает болеть голова. Делаю несколько шагов вправо, влево и обратно, смотрю в сторону спортзала. Фигурки двигаются, будто в замедленной съемке. Само время движется медленнее некуда. Начинает казаться, что все прохожие смотрят на меня, недоумевая, чего я здесь стою целую вечность. Мне неловко, я стараюсь ни на кого не обращать внимания. Но постепенно осознаю, что сам уже не понимаю, кого тут охраняю. Может, просто пойти домой, подумал я, а позже прийти сюда снова, будто и не отлучался? И вечером вернуться домой вместе с отцом. А если они уйдут отсюда раньше? Но мать и не говорила сопровождать отца весь день. Ее просьбу я выполнил. А если он в итоге все-таки придет домой пьяным? Это ведь главное. И тогда вся слежка вообще будет бессмысленной. Но даже если остаться – что мне делать, если отец после школы пойдет не домой? Снова следовать за ним, а потом ждать его до ночи на улице?

Вопросы роились в голове и не давали уйти.

Через какое-то время захотелось есть, но я боялся отойти от ворот далеко и надолго. Боялся, что именно в этот момент они уйдут. Может, они вообще давно заметили меня и теперь готовы улизнуть. Смотрю: снова появляется пятая фигура, но уже другая. Принесли обед. Я долго колеблюсь, но когда все четверо усаживаются за едой, устремляюсь к ближайшему магазину.

Я прождал отца до вечера. На обратном пути все повторилось, как в обратной перемотке. Двое сразу пошли в другую сторону. Третий попрощался с отцом там же, где они встретились утром. Отец, не спеша, вопреки всем моим страхам, никуда не сворачивая и больше никого не встретив, пришел домой. А я за ним, секунд через десять.

Уставший и голодный, я вернулся домой победителем, да еще и пленного привел.

Но уже на следующий день пленный дома не ночевал, а явился лишь через два дня с многочисленными ссадинами и отеком глаза. Неделю лечился, затем на столько же пропал. Вернулся с большой пачкой денег, мокрых и рваных. Вновь дня три просидел дома. Потом к нам домой пришли друзья, которые его потеряли. Одного из них я узнал, он был тогда в школе. Увели его на какую-то стройку. Около двух недель он ходил туда, затем



ушел в запой. Потом к нам домой пришли совершенно другие люди, и он ушел с ними «чинить трубы». Потом принес домой большой ящик с тонкой фанерой и стал из нее делать доски для игры в нарды. Сделав доску, уносил ее куда-то, а приходил уже с пустыми руками, зато навеселе. Мать в исступлении выбросила фанеру, но он через неделю принес другую. Потом она сама решила загрузить его работой. Все что угодно, только не уходить из дома: переделать антресоли на балконе, перебрать старую обувь и выкинуть ненужную, починить телевизор, чтобы он не кривил лица ведущих, прошкурить и заново пролакировать старые стулья. Он все это делал, но постоянно норовил куда-то выйти на пять минут, с кем-то поговорить, где-то забрать забытое, кому-то отдать одолженное. Потом в дверь позвонили какие-то мальчишки в школьной форме и сказали, что наш папа лежит на дороге. Он оказался не на дороге, а на тротуаре у дороги, где середь бела дня мирно, никому не мешая, спал.

Когда мать объявила, что собирается закодировать отца, он снова пропал на неделю, но на сей раз обошлось без травм. До кодировки дело все-таки дошло, но отца хватило только на полгода. Затем снова появилась фанера, но пропали какие-либо друзья. На балконе валялись дырявые кастрюли, рваная обувь, неиграющие магнитофоны. Отец чинил их и снова куда-то уносил. Мне он говорил, что делает это для друзей. Бесплатно. После чего обязательно приходил подшофе. Казалось, сервис в старой стенке трясся каждое утро, когда мать пыталась выяснить у отца, где он вчера был, что это за куча бархла у нас дома, что вообще с ним происходит. Я лежал в комнате и делал вид, что спал. Она до изнеможения рвала глотку, но ответов никогда не слышала.

Понадобился год, чтобы отцовский поезд растерял все свои вагоны, окончательно сошел с рельсов и порос мхом в глухом лесу.

Всего год или целый год.

– Артем, ты что, закрылся, что ли? И долго ты там будешь сидеть? – Отец дергает дверь за ручку и наигранно посмеивается.

Если начнем разговаривать через закрытую дверь, посмеяться действительно будет над чем. Я как будто от маньяка прячусь.

Открываю дверь и жду от отца следующих действий.

– Я одного не пойму: что я вам сделал? Я же вас не трогаю.

Это мы уже проходили. Похоже, он уже пропустил вторую.

– Или ты просто удовольствие получаешь, когда тебя умоляют?

– Что ты несешь...

– А ты понимаешь, что подставляешь меня? Я человеку пообещал, что сделаю. Он сейчас придет, а нас нет.

Опять по кругу.

– Я там корячился, корячился, а ты теперь дурку включаешь.

– Сделай что-нибудь по дому. Почини маме швейную машинку.

– Машинку можно и потом сделать, а заказ надо сейчас сдать.

– Так говоришь, будто у тебя там целый объект.

– А ты попробуй яму выкопать человеку по плечи глубиной, я на тебя посмотрю.

Идем со мной, попробуешь как раз.

– Отстань.

– Не хочешь. Ну я не сомневался. В земле копать никто не хочет.

Это все равно что беседовать со стеной.

– Слушай, я не дам тебе ключи. Делай что хочешь.

– Такая лажа. Собственный сын не выпускает из дома.

– Лажа – это когда ты около подъезда дрыхнешь.

– А ты смотришь и не можешь поднять.

– Я поднимаю. У всех на глазах.

– Тебе стыдно. Ну открой дверь, и я больше не приду.

– Ты это уже много раз говорил.

– Да потому что вы у меня уже вот здесь сидите, – отец вдруг прикрикнул и схватил себя за горло.

Я такого не ожидал.

– Ты все равно не поймешь. Я это как-нибудь потом объясню. Когда повзрослеешь. Тебе мать что-то наговорила, а ты уши развесил. Я все понимаю, маму надо слушать. Только вы уже слишком загнули. Открой дверь!

– Нет.

– Твою мать!

Закрывает глаза, делает глубокий вдох. Долго смотрит на меня.

Всё. Уходит.

Тут я вспоминаю то, что должно было сразу всплыть в памяти. Вчерашний день, когда отец пришел домой поздно вечером в бессознательном состоянии, в одувевшей от холода спортивной кофте, с головы до ног в замерзшей земле. Мы удивились, где он зимой в земле извалялся. Яму, оказывается, раскапывали.

Что-то подобное уже было однажды. Вымазанный с головы до ног в мокрой земле, отец лежал на диване в гостиной. От дивана до входной двери вели нестройные грязные следы. Дверь тоже была облеплена грязью. И открыта настежь.

Придя со школы, я встал перед ней как ошарашенный. Оглянулся (не знаю, что я надеялся увидеть вокруг), подошел к двери и услышал отцовский храп. Переступил через порог, увидел комья грязи, отставшие от чьих-то башмаков. Последовал по следам и добрал до лежащего на спине отца, с закинутыми вверх руками и открытым ртом.

Так я простоял с минуту, ловя его вдохи и выдохи.

Через мгновения из кухни вышли два человека. Тоже мокрые и грязные.

– О! Здорово. Принимай товар, – сказал один из них, показав рукой на отца. – В канаве нашли. Пока несли, так ни разу и не проснулся.

Я разглядывал их лица, пытаюсь вспомнить, не приходил ли кто из них сюда раньше.

– А откуда вы узнали...

– Мы знакомые. В гараже когда-то работали. Правда, давно уже не виделись.

Второй человек, не обращая на меня внимания, прошел в прихожую. Когда я оглянулся в его сторону, он уже выходил из квартиры. Первый крикнул:

– Антоныч, погода. Куда умотал.

И снова мне:

– Ладно, мы пошли. Ты тут справишься? – посмотрел на отца. – Сейчас его лучше не трогай. Сними одежду, и пусть лежит.

Он хлопнул меня по плечу и тоже направился к выходу.

– Извини, наследили. Дождь с утра проливной был.

После этого мать в первый раз забрала у отца ключи от дома.

Но это мало что изменило. Она так же громко кричала. Отец так же легко нас обманывал. Я так же дрейфовал меж двух сторон этого противостояния, не принимая ни одну из них.

Смотрю на часы: половина десятого. День еще не начался, а он уже успел мне все мозги пропесочить. Надо успокоиться, чем-то себя занять. Отвлечься от этой ерунды с ямой.

Решаю перебрать комодик со всякой мелочью, которая копится за время учебы. Небольшой ящик с тремя отделами сделал еще дед, который не успел меня увидеть.

Тут действительно много хлама. Надо навести порядок, от лишнего избавиться.

Исписанные блокноты. Точнее, разрисованные: вот этим я на уроках и занимаюсь. Стикеры, еще не открытая пачка. Фонарик. Включаю – не горит. Цветные карандаши разной длины. Их можно выкинуть, я рисую ручкой или простым карандашом. Клей.

Уже засох. Какие-то брелоки, не помню таких. Ластик. Скрепки. Кости для игры в нарды. Велосипедный фонарь. Если бы у меня еще велосипед был. Наушники. Я думал, что давно их выбросил. Ручки. Уже наверняка не пишут. Нет, пишут. Визитка. Тихонов... Вспомнил, это стоматолог. Шарик для пинг-понга. Ракетка. Отец гордился этой чехословацкой ракеткой. Массивная ручка, гладкая, красная поверхность.

Беру шарик. Набиваю о стенку.

Отец рассказывал, что когда-то у нас во дворе стоял теннисный стол. Вбитый в землю. Днем он пустовал, потому что солнце пекло. А вечером к нему протягивали лампочку и играли до полуночи под неугомонным роем мошкар. Здесь слушали записи Высоцкого или Led Zepelin на ленточном магнитофоне, похожем на алюминиевый чемодан. Сами учились что-то наигрывать на гитаре. Она была одна на весь двор, черная, вся в царапинах. Соседские бабки всегда чем-то угрожали негодной шпане.

Здесь отец долгое время сидел рядышком со Светкой, его первой любовью. Она уехала потом навсегда, и они расстались, как бы и не расставшись.

Здесь он многих обыгрывал в теннис, при этом почти не двигаясь. Вот этой ракеткой.

Лет в семь он и меня научил играть. Но того стола во дворе, с дырявой фанерой вместо сетки, уже не было. Поэтому нашим игровым полем стал лакированный стол в гостиной, раздвигающийся посередине и чудесным образом удлиняющийся благодаря спрятанной дополнительной столешнице. Обычно он стоял в углу с торжественным рядом из хрустальных ваз (одна из них была гигантской пепельницей) на тряпочке с бахромой. Для игры же он перемещался в самый центр комнаты и, вкупе с сервантом с одной стороны и диваном с другой, составлял непроходимые баррикады, разделяющие гостиную на две части. Вместо сетки шалашиком расставляли книги, вытасенные из того самого серванта. Зажигали люстру, чего обычно никогда не делали, обходясь бра. Ставили на края спичечные коробки.

Мать такие вечера проводила в спальне. Смотреть телевизор тогда было невозможно: мы играли громко, да и махали руками так, что за нами ничего не увидишь. Ее возращения насчет того, что мы разобьем стеклянные дверцы в серванте, лишь сотрясали воздух и постепенно сходили на нет. Хотя однажды мы все-таки разбили одну дверку.

Отец сначала не давал свою ракетку. Говорил, что тяжелая. Я играл легкой, невесомой советской ракеткой с пупырышками. Следил за тем, как отец закручивает шарик и пытался повторить. Шар сначала просто улетал далеко в аут, а потом, наоборот, стал так закручиваться, что врезался в заборчик из книг.

Я любил метить в углы, мне нравилось, когда шар совершал затяжную дугу, и в конце все-таки ударялся о поверхность, делаясь почти не отбиваемым. Отец же, будто издевался, метился в коробок и часто попадал, объявляя при этом мое поражение. Со временем я научился крутить шары, но для этого приходилось дальше отходить от стола. Тогда отец перекидывал их на мою сторону у самой сетки – и я просто бежал к столу, чтобы их отбить.

Мы играли на счет, иначе было неинтересно. Длинную партию, до двадцати одного, потому что в игре до одиннадцати я всегда проигрывал.

Через какое-то время отец дал мне свою ракетку. С непривычки я долго направлял шар мимо стола. Потом понял преимущество тяжелой ручки, с которой мне было легче ощущать угол наклона ракетки при ударе, и снова стал играть чисто.

Когда мы с друзьями ходили в теннисные клубы, эта ракетка выделяла меня среди остальных. Все удивлялись, как можно играть этим «кирпичом».

Это до сих пор, пожалуй, единственное, чему меня научил отец.

Но мне вообще-то и не нужно было, чтобы он меня чему-то учил. Все эти рассказы о том, что отец должен научить сына обращаться с ракеткой или смесителем, придумали взрослые, чтобы было больше поводов поворчать. Все должно быть подчинено прави-

лам. Сына стоит приобщить к спорту, и желательно какому-нибудь нормальному спорту типа поднятия тяжестей. Нормальная же девочка, не отходя от кассы, должна научиться готовить.

Когда в детском саду попросили принести доску для лепки пластилином, мы с отцом долго выжигали на прошкуренной фанере медведя. А затем покрывали его лаком. Из другой фанерки выпиливали меч для дворовых состязаний. Делали свое лото из картона. Выводили каллиграфическими буквами заголовки в школьной стенгазете. Варили из металлолома пугающе большую юлу. Прибивали петельки к доске для нард. Вырезали из брусочков какие-то футуристические шахматные фигуры. Мы с отцом провели много времени вместе, но я ничему не научился. Мне и так было интересно.

Я многое помню. Но не могу поймать, уловить за хвост тот момент, когда тридцатилетний папа начал превращаться в высыхающего шестидесятилетнего старика. Кто-нибудь помнит, как это произошло?

В дверь позвонили. Совсем не вовремя.

Выхожу из своего подполья. Смотрю в глазок. Какой-то мужчина. Спрашиваю: «Кто там?», отвечают: «Сантехник». Какой еще сантехник. Вижу – поднимается сосед с первого этажа.

– Артем, открой, нам надо в шахту залезть. Вентили меняем на трубах.

Я и забыл уже про эти вентили. Сантехника потом все равно не дожدهшься, придется впустить. Смотрю на отца: сидит перед телевизором. Когда снова выхожу в прихожую с ключом, он уже обувается.

– Куда ты собрался?! – произношу это полупшепотом, чтобы стоящие за стенкой сосед с сантехником не стали зрителями этой тарабарщины.

– Артем,пусти его. Я пока схожу на работу. Пока они тут разберутся, я уже приду.

Отец тоже шепчет. Дай бог мне терпения.

– Ты уже и так не трезвый. Вы там друг друга закопаете.

– Ты совсем, что ли? Никто никого не закопает. Думай, что говоришь.

Зачем я вообще подбираю слова и с ним разговариваю.

– Я тебя не пушу.

Отец снова вздыхает и делает небольшую паузу.

– Артем, я могу отобрать у тебя ключи. Просто отобрать. Я пока еще сильнее. Но я не хочу тебя трогать. Я знаю, маме ты все равно ничего не скажешь. Но я хочу общаться по-человечески. Я тебя уважаю как взрослого. И ты должен меня уважать. Или что, будем драться?

Его речь стала еще более развязной.

– Нет.

– Вот именно. Потому что ты проиграешь. И будешь на меня потом обижаться. А мне это не нужно. Мне хватает твоей матери.

– Но ты же делаешь ей плохо.

– А она делает плохо мне. Но ее за это никто не держит взаперти.

– Она о тебе думает.

– Да! А она хоть раз спросила, почему я ушел с работы? Она пыталась узнать, почему я ухожу из дома? Без криков, просто поговорить. Нет. Ей все равно.

Больше не могу смотреть отцу в глаза, в горле стоит непроходимый ком. Не дослушивая, отхожу к двери и громко говорю тем, кто стоит на лестничной клетке:

– Я не смогу вам открыть. Мама закрыла двери и случайно забрала мои ключи.

Секундная тишина.

– А... У отца нет ключей, что ли? Он дома вообще?

– Дома. Но у него нет ключей. У нас только два комплекта.

Еще пара секунд.

– Ну вы даете. Сейчас всем менять будем. А вы останетесь. Когда мать приходит?

– Обычно к шести.

– Я зайду вечером, поговорю с ней. Надо эти вентиляторы быстро поменять. Ладно, пошли дальше тогда.

Это он говорит уже сантехнику, и они уходят вверх.

Я еще стою некоторое время у двери, потом поворачиваюсь к отцу, который улыбается и качает головой:

– Ну ты и придурок!

Он медленно снимает обувь, направляется в гостиную, садится в кресло, то, что рядом с телевизором, включает его и застывает, смотря на передвигающихся по зеленому фону футболистов.

Я никуда его сегодня не пушу. Хотя это и ничего не изменит.

В комнате темно, словно на дворе не утро, а вечер. Будто это не моя комната, а темница для осужденных. Кто здесь взаперти, отец или я?

Отодвигаю занавески, оголяя немытые окна. Это мало помогает: за стеклами безжизненный ландшафт, как на какой-то планете, где нет смены дня и ночи. Земля и небо одного цвета.

С торца соседнего дома смотрит великан: от кафельной мозаики на всю стену остались лишь лицо и рука неизвестного героя. Его выпуклый, встревоженный глаз, обрамленный напряженной бровью и выдающейся скулой, смотрит вверх, будто взывает к небу о помощи. Темные потеки, как плесень, расходятся с крыши вниз, и скоро накроют умертвляющей шалью кричащего юношу.

Тополь тоже смотрит на меня. Кто-то посадил его меж двух платанов, которые раскидали во все стороны крупные ветви. Как старый подсвечник: тополь пикой устремлен вверх, а чинары по бокам развернули витиеватые линии.

Пошел снег. Совсем не так, как в мультиках, где снежинки порхают, словно ласточки, перелетают из стороны в сторону, как на воздушной качельке. Редкие белые мошки, словно птички подстреленные, словно бестелесные, не имеющие веса, безжизненные тела, одни облоочки, еле-еле падают, будто пробираясь не через воздух, а какую-то более густую субстанцию. Не падают, а опадают.

Это происходит так медленно, что снежинки будто и не долетают до земли. На черном мокром асфальте они быстро тают, на грязном снегу их не видно. Они не достигают поверхности. Тысячи крошек так долго опускаются, что в какой-то момент начинают казаться, будто они поднимаются. Свободное падение с нулевым ускорением, обманув зрение, перестает быть падением.

Снежинки возвращаются вверх, не желая оставаться там, где их не принимают. Где их ждет смерть. Пока падают одни, другие летят туда, откуда прилетели. Непознаваемая легкость поднимает их на нужную высоту. С неисчерпаемой медлительностью они достигают грузного неба.

Толстое одеяло ртутных туч бродит здесь в собственном соку, меняя цвет с белого на серый и обратно. Тягучая пелена, не пропускающая солнца, набухла так, что вот-вот обрушится с небосклона. Свисая тяжелым шатром, она освобождается от тянущего ее к низу снега и не пускает обратно в свое лоно вернувшиеся пушистые льдинки.

Они летят снова вниз, а потом снова вверх. Так они навсегда остаются заложниками между величавым небом и низкой землей.

Две черно-белые сороки вертят свои грозные клювы во все стороны. Их перья сливаются с раскисшим пейзажем, и только качающаяся ветка выдает крикливых птиц. Изучив местность с одной позиции, они ныряют в воздух и на одном взмахе крыльев долетают до другого дерева, где снова принимаются рассматривать снег смолистыми глазами. Эти две ведьмочки – единственные, кто нарушает покой усыпленного города.

Михаил БАРУ

## ВТОРОЙ СОН ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

### Буй

Стокилометровая дорога от Костромы до Буя существует, конечно, на картах, прописана в сметах на ежегодный ремонт и ежемесячных ведомостях на зарплату дорожных рабочих и бригадиров, для нее исправно выделяется щебенка, асфальт и краска для разметки, но... Колесо, которое, если бы случилось, с легкостью доехало бы до Москвы и даже до Казани, успело отъехать лишь десяток или полтора километров по направлению к Бую... Бритый молодой человек, который клеивал пробитое колесо на костромском шиномонтаже, после того, как пришлось вернуться, сказал: «До Буя сначала сорок километров плохой дороги, а потом шестьдесят настоящей жопы». Правду сказал – настоящее не бывает.

Единственное украшение дороги на Буй – огромное количество зябликов в кустах у обочин и в ямах на асфальте посреди дороги. Зяблики ищут в ямах... понятия не имею, что они там ищут, но не всякий водитель, не говоря о пассажирах, может сохранить самообладание, когда буквально из-под земли, из ниоткуда перед лобовым стеклом появляются два или три зяблика.

Впрочем, и кроме зябликов есть достопримечательности. В райцентре Сусанино, на полпути до Буя, стоит Воскресенская церковь – с детства знакомая каждому по картине Саврасова «Грачи прилетели». Говорят, что в краеведческом музее, который теперь в ней расположен, до последнего времени хранилось чучело одного из тех самых грачей, которых писал Саврасов. Этого грача крестьянские мальчишки поймали еще грачонком, научили разным нехитрым деревенским словам и подарили художнику на память за фунт мятных пряников. Он потом долго жил у Саврасова под именем Пашка и даже научился произносить разные живописные слова вроде «охры», «палитры» и даже целые фразы «Колер не тот», «Сурику подбавь!» или «Дешево покупаешь, Михалыч!» В Петербург Пашка ехать отказался и остался дома, в своем небе. Не захотел менять синее на свинцовое. Жил на вольных хлебах у того самого деда, у которого Саврасов снимал комнату в избе на время написания этюдов к картине. Уж как пашкино чучело оказалось в местном музее – мне неизвестно. Только сейчас его там и нет. Недавно пошел слух, что музей из церкви в скором времени выселят. Приехал человек из самой Третьяковской галереи, предъявил бумагу с большой синей печатью и увез этот бесценный экспонат в Москву. Даже в Кострому не разрешили взять. Теперь пылится, поди, где-нибудь в запасниках Третьяковки.

В пятнадцать километрах от Буя находится еще одна достопримечательность – село Борок, в котором на улице Колхозной стоит с конца четырнадцатого века Свято-Предтеченский Иаково-Железнодорожный монастырь. В этом самом монастыре был пострижен в монахи дьяк московского Чудова монастыря и уроженец здешних мест Юрий Богданович Отрепьев, в те поры, когда пришлось ему срочно бежать из столицы. Здесь он стал Гришкой. Здесь он безуспешно пытался свести две бородавки на щеке и на лбу, здесь перекраши-

---

*Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.*

вал свои рыжие волосы в радикально черный цвет, чтобы его не узнали ищейки Годунова. Теперь в монастыре восстановительные работы, штабеля новеньких кирпичей, бетономешалка, ослепительной белизны свеча колокольни, храм с красивыми золотыми звездами на куполах, семь монахов и... такое же унылое захолустье, как и во времена Самозванца.

Ну, вот и Буй. Поселившись в гостинице под загадочным названием «Вариант-С», я раздобыл у администратора несколько номеров местных газет «Буй сегодня» и «Буйская правда» и стал их внимательно читать. Нет ничего приятнее и успокоительнее для жителя столицы, чем чтение провинциальных уездных газет. Точно в детстве берешь каплю воды из пруда и рассматриваешь под микроскопом чудесный и никому, кроме тебя, не видимый мир, в котором переливаются волшебными красками полупрозрачные инфузории-туфельки, трубочки, зеленые жгутиковые эвглены, два родных брата, отмечавших Пасху с такой неистовой силою, что один другого пырнул кухонным ножом, детский садик, открытый во время визита в Буй костромского губернатора, старые деревянные дома, которые давно нужно было снести, но вместо того их пропитывают огнеупорным составом, конец отопительного сезона, смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны», обустройство детского парка с комплексом «Кораблик», реклама натурального свиного шашлыка по цене ниже рыночной и юбилей председателя буйского Женсовета. В «Буйской правде» среди объявлений о продаже гусят и поросят попало мне трогательное о безвременной продаже автомобиля ВАЗ 1999 года рождения, в отличном состоянии с ухоженным салоном и гаражным хранением. На ней ездили только летом! Пятнадцать лет она верой и правдой стояла в гараже. На майские праздники, не раньше, хозяин медленно и торжественно вел ее на поводу по городу, аккуратно переставляя колеса, обходя ямы и рытвины на буйских мостовых, потом возвращался в теплый кирпичный гараж, уставленный по стенам банками с солеными огурцами и помидорами, открывал пиво и блаженствовал, слушая кассетную автомобильную магнитола... В какой столичной газете вы найдете благодарность продавцу-консультанту мебельного магазина за помощь в оформлении выгодной рассрочки при покупке дивана и трехстворчатого шкафа?

Но я отвлекся. Вернемся в Буй, жители которого, между прочим, называются бுவлянами. Тот, кто назовет их буйками... Само название города произошло от татарского «буй» – место, открытое всем ветрам. Местных жителей скучное «место, открытое всем ветрам», не устраивает, и потому они придумали свою версию, по которой Буй, издавна известный как место ссылки разбойников и государственных преступников назван так именно потому, что был населен людьми буйными. Историки и краеведы не мешают пользоваться местным жителям этой легендой, а местные жители не мешают историкам и краеведам рассказывать о своей.

Без малого пятьсот лет Буй открыт всем ветрам. В 1536 году «... били челом к великому князю и его матери из Костромского уезда, волость Кореге, Ликурга, Залесие, Борок Железная, чтобы государь пожаловал, велел поставить город того ради, что тамо волости многие, а от городов далече. И князь велики и мати его великая княгиня велели поставить на Кореге Буй городок». Строился Буй при слиянии рек Кострома и Вёкса как крепость для защиты от татарских набегов. Через двадцать лет после его основания Иван Васильевич взял Казань, и военное значение Буй утратил навсегда.

Потянулись мирные сонные будни. Даже поползли. Один раз, правда, в Смутное время, приходили поляки и разорили город, но потом их прогнали, и бுவляне снова заснули лет на полтора или больше, за которые Буй успел украсить винным складом, соляным амбаром, питейным домом, казначейством, магистратом, острогом и прочими зданиями, без которых не бывает уездного города. К тому времени, как Екатерина Великая пожаловала городу герб с якорем и буйком, в Буе проживало едва-едва две тысячи душ. Из двухсот шестидесяти пяти домов лишь один был каменный. Несмотря на то, что все остальные дома были деревянными, пожарной команды в городе не было, как не было школ, фабрик, заводов и больниц. Немного сплавляли лес, немного ремесленничали, немного пахали



землю, немного уходили каменщиками в Петербург и много пили в одном питейном доме, одном рейнском погребе и трех трактирах. Павел Первый перевел Буй из уездного города в заштатный, но через три года после его смерти при добром его сыне Буй, не приходя в сознание, снова стал уездным. Прошло еще полсотни лет беспробудного сна. К началу второй половины девятнадцатого века домов стало больше ровно на пять, а жителей на сто тридцать две души. Буй понемногу покрывался мхом, но через десять лет ни с того ни с сего какие-то шестеренки внутри города хоть и со скрежетом, но повернулись на первые пол-оборота – открыли первую земскую больницу на десяток коек, но врача не нашли и ограничились лекарем, оспопрививателем и повивальной бабкой. Наконец в восьмидесятом году буйский мещанин и почетный гражданин Александр Федотович Кудрявцев открыл первое промышленное предприятие. Какое, какое... Известно какое – винокуренное. Какое же еще. Почти семьсот тысяч ведер спирта в год. Рабочие могли получить зарплату деньгами, а могли и продукцией. Кто же польстится в такой ситуации на деньги... Теперь этот завод называется химическим и на нем производят удобрения, стиральные порошки и всякую химическую всячину вроде содержимого автомобильных огнетушителей. На самом деле завод теперь не завод, а несколько мелких самостоятельных предприятий, на которые он распался (кое-кто утверждает, что разложился) после второго пришествия капитализма в Россию.

Но вернемся во времена винокурения. Шестеренки скрипеть уже перестали, но вращались еще мучительно медленно. В самом конце девятнадцатого века в Буге двумя помещиками был открыт завод, производящий сосновый экстракт для принятия ванн. Вот тут уж никто из рабочих не хотел брать зарплату продукцией. Хвойный экстракт был такого высокого качества, что получил гран-при на Парижской выставке восемьдесят девятого года. Немного погодя открылся магазин по продаже швейных машин «Зингер», которые собирали в Буге по отверточной технологии из готовых узлов, получаемых из Петербурга, десять человек. Одна такая машинка, богато инкрустированная перламутром и стоящая на чугунных звериных, лапах украшает собой один из залов местного краеведческого музея.

После хвои и швейных машинок шестеренки стали вращаться все быстрее, быстрее – и в первом десятилетии прошлого века в Буге и уезде было уже двадцать пять кирпичных заводов, водяные и шатровые мельницы, салотопенный завод, дегтярни, красильни, сорок воемь сыроваренных заводов и девятнадцать маслодельных.

Про буйское масло и сыр надо рассказать отдельно. Правду говоря, технологию их производства принесли в город и уезд выходцы из Ярославской губернии. С помощью этой технологии получали в Буге не ярославский, как можно было бы подумать, а первосортный голландский сыр. Уже после семнадцатого года местные сыродельни были объединены государством в «Буйсырпром», который стал делать такой сыр, что его поставляли к кремлевскому столу. Да что Кремль! Буйский сыр приезжали покупать из Ярославской и Вологодской губерний, где своего сыра столько, что можно еще две луны, усыпанных кратерами, из него сделать. Старожилы утверждают, что буйский сыр при разрезании плакал просто крокодиловыми слезами. Теперь от Буйского сыра одни слезы и остались. То есть он существует, и даже завод по его производству работает. Когда все начало перестраиваться и рухнуло – завод каким-то образом сумел выкупить у государства нынешний мэр города. (Каким-то образом многие нынешние мэры сумели тогда что-то выкупить у государства.) Надо сказать, что мэр на своем заводе провел полную реконструкцию и модернизацию. Теперь там работают машины самого что ни на есть европейского качества, но... Что-то потерялось в технологии. Почему-то советский Буйский сыр, производимый в ручную, а не в автоматическом режиме, был со слезой и вкусными дырками, а в российском дырок вообще нет и плакать его может заставить только пытка.

Вообще буйское купечество, крестьянство и мещанство в начале прошлого века развило бурную деятельность. Все лихорадочно что-то производили, устраивали ярмарки, торговали красным товаром, лошадьми, сыром, маслом, кожами, хлебом и лесом. К примеру,



купцы Зырины и Сытины имели свой пароход «Бувелянка» и баржи, которые они каждый год отправляли по реке Костроме до Волги, а по Волге до Астрахани за икрой, красной и белой рыбой. Только их оборот составлял полтора миллиона рублей.

Кстати, о лесоторговле. В уезде работало два лесозавода, и в самом Буге была устроена специальная лесная пристань для сплава леса по реке Костроме. В год производилось более полутора сотен тысяч кубометров леса. В музее, на втором этаже, выставлена шуба-ротонда самого богатого буйского лесопромышленника – купца первой гильдии Сипягина. Шуба крыта темно-синим бархатом, а на ее изготовление ушло семнадцать лис. Не десять, не пятнадцать, а ровно семнадцать. И каких лис! Мало кто помнит, что тогдашние лисы были хитрее нынешних раза в три, а то и в пять. Но не только этим интересна шуба Сипягина. Говорят, что застегивал он ее всего на одну, но очень большую золотую пуговицу. На пуговице этой Сипягин приказал, поскольку был заядлым охотником, гравировать в самых мельчайших подробностях сцену охоты на лису. Тяжелая золотая пуговица не раз и не два перетирала нитки, которыми она была пришита у шубе. Сипягин, чтобы не потерять драгоценную пуговицу, положил ее в сейф, а вместо нее заказал точно такую же, но костяную – из бивня мамонта. Обе этих пуговицы... так и не нашли. Вернее, нашли. Раз сто или даже двести. Дети во множестве находят пуговицы Сипягина, наслушавшись рассказов музейных экскурсоводов. Редкий год обходится без того, чтобы мальчик или девочка не принесли в музей костяную или золотую или обе вместе пуговицы, старательно изготовленные собственными умелыми ручками. Уже и городские власти попросили экскурсоводов не рассказывать детям об этих пуговицах, чтобы не разжигать золотой пуговичной лихорадки, уже они и не рассказывают, а все равно...

Неподалеку от монументальной сипягинской шубы устроен уголок крестьянского быта. Стоит в нем макет печки. Печка самая обычная, но местный обычай, с ней связанный, очень даже удивителен. В стародавние времена приходила сваха в дом, где была девка на выданье, и начинала рассказывать о том, что есть у нее на примете жених, да у этого жениха достоинств столько, и еще столько, и еще полстолька. Крикнуть: «Все! Дальше можешь не говорить! Мне подходит, беру!» – девушка не имела права. Даже прошептать. Она могла только тихонько скрести ногтями уголок печки, чтобы дать свахе понять – товар хочет именно этого купца и никакого другого. Говорят, что в семьях с большим количеством девочек печные углы были расцарапаны до крови.

Рядом с печкой подвешена к потолку на веревочках крестьянская зыбка, в которой до эпохи исторического материализма и во время нее укачивали младенцев. Интересна она тем, что на ее наружной поверхности вырезаны имена всех детей, которые в этой люльке плакали, смеялись, пускали пузыри, пачкали пеленки и требовали их покормить. «Родился 1912 года декабря 10 дня Павлинь Иваныч Иванов. Родилась 1913 года июня 14 дня Манефія Ивановна Иванова. Родилась 1917 года июня 8 дня Марія Иванавна Иванова. Чистяков Сергей Юриевич родился 1962 года 14 мая». Такая вот сага об Ивановых. Вернее, о трех Ивановых и об одном Чистякове. Вот и гадай теперь, кого качали в этой зыбке между семнадцатым и шестьдесят вторым годом. Или не качали, а нашли в чулане, вытерли пыль и стали пользоваться.

Читал я все эти надписи и думал о том, что наши личные вещи умирают вместе с нами. Вернее, они мрут, как мухи. У них почти нет ни прежних, ни будущих владельцев. Ни у мобильных телефонов, ни у компьютеров, ни у кроватей из древесно-стружечных плит. После нас не остается ничего, кроме фотографий, да и те представляют собой кучку ноликов и единиц на жестком диске компьютера. Нажал случайно на кнопку «удалить» – и... тут я перестал думать ерунду, поскольку экскурсовод стал рассказывать о железной дороге из Вятки в Вологду, которая прошла через Буй, хотя и должна была пройти через Кологрив. Она бы точно прошла через Кологрив, кабы не буйские купцы и промышленники во главе с Сипягиным в лисьей шубе, застегнутой на золотую пуговицу, не подмазали, где надо, и не договорились, с кем нужно было договориться. В результате в Кологриве так и стоит с

начала прошлого века здание железнодорожного вокзала, к которому не подходят рельсы. Теперь в нем художественно-краеведческий музей, и кологривские экскурсоводы, которые ничего не забыли и ничего не простили, рассказывают о коварстве и интригах буйских купцов. Зато в буйском музее целый железнодорожный зал. Тут тебе и форменные шинели железнодорожников с красивыми пуговицами в два ряда, и фуражки с кокардами, и красивый станционный колокол, в который разрешают звонить посетителям музея.

Железнодорожная станция с вокзалом, станционным буфетом, сельтерской водой, шутовским коньяком, бутербродами с копченой осетриной, цейлонским чаем в мельхиоровых подстаканниках, усатыми кондукторами и путейскими инженерами способствовали много украшенью Буй. Вокзал и теперь неплохо смотрелся бы, кабы его подкрасить, подштукатурить и вместо водки, фанты, чая «Липтон» в пакетиках и бутербродов с засохшим сыром завести в станционный буфет хороший коньяк... и далее по списку. Отчего-то пассажирских поездов стало проходить через Буй куда как меньше, чем в прежние годы, а те, что проходят, и не думают останавливаться<sup>1</sup>. То ли какую-то стрелку внутри РЖД перевели не туда, то ли какой-нибудь новый Сипягин из другого города... Раньше через Буй проходили поезда на Владивосток, на Благовещенск и Иркутск. Именно в Буй проезжающие отчетливо понимали, что водки, которую они взяли с собой до Иркутска, не хватит, и выбегали с большой головой и деньгами в кулаке на перрон в тренниках и шлепанцах. Теперь поезда в Сибирь и на Дальний Восток идут без остановки в Буй или вовсе через Нижний Новгород. Как, спрашивается, продавать проезжающим вареную картошку с укропом, огурцы, пирожки с капустой, копченых лещей и шук, вылавливаемых в Костроме и Вексе? В окна забрасывать? То-то и оно. Сплошные убытки. В скобках замечу, что копченые лещи в Буй очень хороши. Их там умеют коптить ровно на столько, сколько необходимо, чтобы захлебнуться слюной, пока вытаскиваешь мелкие косточки из нежного бело-розового... Нет, лучше вернемся в музей, в зал, где стоит неподъемный пулемет «Максим» времен гражданской войны. По словам экскурсовода, возле него больше всего любят позировать школьницы. Натурально ложатся на пол, берутся за пулеметные ручки и изображают Анку-пулеметчицу, о которой они и слыхом не слыхивали. Кавалеры их в это время фотографируют на камеры мобильных телефонов.

Позировать в комиссарской кожанке, которая висит рядом с пулеметом, или подержать в руках кулацкий обрез детям, к счастью, не разрешают.

Есть в музее зал, в котором представлены работы преподавателей и студентов Буйского областного колледжа искусств. Это не поделки. Это настоящие произведения искусства. Инкрустированные в технике маркетри письменные столы, буфеты, умопомрачительной красоты напольные часы, украшенные затейливой резьбой, шахматный столик, стоящий на четырех драконах, исполненная в натуральную величину копия трона Тутанхамона, которую богатым русским туристам в Египте продавали бы, как подлинник... Власти говорят, что колледж содержит невыгодно. Учеников в каждой группе всего ничего – меньше десятка. Кому теперь нужны все эти резчики по дереву, мебельщики, кукольных дел мастера и вышивальщицы? Кому они и не теперь нужны... Да и денег у города кот наплакал. Вода из кранов течет такого цвета и такого запаха... Центральная улица Октябрьской Революции вся в ухабах и рытвинах.

Тут надобно все же сказать, что разбитая улица Октябрьской Революции приходит на центральную площадь города, которая тоже носит имя Октябрьской Революции, и вот эта последняя Октябрьская Революция и все старинные дома, что на ней находятся, приведены в надлежащий порядок. В центре большой круглой<sup>2</sup> площади устроен вместо памятника Ленину трехъярусный фонтан. Бывшего кумира не сдали в утиль, а просто перенесли на соседнюю улицу и поставили там во дворе. Фонтан, облицованный гранитом, очень хорош. Правда, в тот день, когда я был в Буйе, фонтан болел – работал в нем только один ярус. Ну, да это ничего, поскольку прохлады в этот майский день было в Буйе хоть отбавляй – с неба падали хоть и редкие, но снежинки.

Между площадью и местом слияния Костромы и Вексы есть крошечный холм, на котором полтысячелетия назад поставили Буй-городок. Еще видны остатки рва, который окружал крепость со стороны суши. Если перейти Кострому по мосту, то можно с того берега понадевать отличных фотографий с видами старого Буя, городского собора, белой ротонды, поставленной у места слияния Костромы и Вексы, деревянной крепостной стены, построенной недавно для красоты и туристов, которые когда-нибудь как понаедут в Буй... А можно и не фотографировать, а просто смотреть, как солнце прячется за огромную соборную колокольню, как гуляют мамы с детьми по высокому берегу Костромы, как начинают светиться в сумерках окна кафе «На набережной»... передрнуть плечами от холода и побежать туда пить горячий чай с баранками.

<sup>1</sup> Как бы там ни было, а хорошо оплачиваемую работу в Буге можно найти только на железнодорожной станции, да еще и на заводе «Экохиммаш». Хорошо оплачиваемая – это тысяча двадцать или двадцать пять на станции, а на химии и того меньше. Про музей и говорить нечего. Если музейный экскурсовод, к примеру, мужчина или незамужняя женщина, то он может спокойно класть зубы на полку. Все, кто не железнодорожники, не химики и не работники государственных учреждений, едут на заработки в Москву охранниками и строителями.

<sup>2</sup> Бугеяне называют свою главную площадь «костромской сковородкой». Может быть, потому, что главную площадь губернской Костромы, тоже круглую, костромичи называют «сковородкой».

### Солигалич

В уездные города костромской губернии всегда въезжаешь с облегчением и радостью. Чем дальше вглубь губернии заберется город – тем облегчение больше, поскольку пытка костромскими дорогами наконец-то заканчивается. В Солигалич, который расположен на самом севере области и дальше которого дороги нет, въезжаешь с облегчением таких размеров... что оно уже и по-другому называется. Директор местного краеведческого музея в ответ на мои жалобы касательно качества дорожного полотна, которое, кажется, состоит из одних перегоронок между дырами в асфальте, посмеялась и сказала, что до восьмидесяти четвертого года прошлого века никакого шоссе между Костромой и Солигаличем вовсе не было, а были бревна, которые укладывали в дорожную колею между этими городами. Езда по этим бревнам была сущим мучением – автобус мог пройти (именно пройти, а не проехать) девяностокilометровое расстояние от Солигалича до Галича только за полдня<sup>1</sup>. Впрочем, при советской власти тем солигаличанам, которые хотели быстро попасть, к примеру, в Кострому, достаточно было купить за три рубля билет и на рейсовом кукурузнике долететь до столицы области меньше чем за час. Теперь след этих кукурузников в небе над Солигаличем не только простыл, но даже и заледенел. Приходится ездить по дороге, которую как заасфальтировали почти тридцать лет назад, так и... гостиницу «Солигалич», построенную лет сто назад, не ремонтировали, кажется, лет триста.

За дверью, обитой еще советским дерматином, сквозь дыры в котором торчала коричневая от старости вата, находились, кроме нескольких гостиничных номеров, парикмахерская «Мечта», местное отделение «Ростехинвентаризации», нотариус и пункт выдачи полисов. Внутри, в холле, рядом с современным телефоном-автоматом висел на стене еще один – древний и угловатый, с диском и давно умершей трубкой на витом шнуре. На другой стене висела репродукция «Утра в сосновом лесу», на которой давно состарившиеся медведи лежали у поваленной сосны и не шевелились. Холл второго этажа украшали обои с лебедями и стоящая на подоконнике пятилитровая кухонная кастрюля с растением фикус. На боку кастрюли масляной белой краской было написано: «Окурки в горшке не гушить!» Из кранов в гостинице текла ледяная и такая железная вода, что струйку можно было бы

отклонить магнитом, если бы я его догадался взять с собой. Из удобств постояльцам предоставлялись электрические чайники, советские трюмо с одной зеркальной створкой, скрипящие полы и тишина за окном. Тишина в Солигаличе такая, что обычные наручные часы, тиканье которых в столице не услышишь и со слуховым аппаратом, можно легко услышать невооруженным ухом. Впрочем, тишина предоставлялась лишь на время. Часам к девяти вечера в бар «Ручеек», расположенный напротив гостиницы, сошлись и съехались его завсегдатаи и не могли разойтись, разъехаться или хотя бы расползтись без помощи полиции и полицейской собаки до четырех утра.

Оставим, однако, и гостиницу, и бар «Ручеек» с его шумными завсегдатаями и переместимся в те далекие времена, когда на их месте шумели вековые сосны и дубы. Дата основания Солигалича известна точно – пятое мая тысяча триста тридцать пятого года. Эта дата написана в летописи Солигаличского Воскресенского монастыря. Основан он был галицким князем Федором Семеновичем. Около трети капитального труда замечательного советского историка науки и солигаличанина Н.А. Фигуровского «Очерки истории Солигалича» посвящено вопросу – был ли на самом деле галицкий князь Федор Семенович. С одной стороны, был не только он, но даже и родной брат его Андрей, с которым Федор Семенович без устали враждовал, а с другой, по версии директора Солигаличского музея... Федором Семеновичем звали боярина Морозова, одного из тех Морозовых, которые заведовали солеварением в Галицком княжестве. Просто его решили уважить монахи Солигаличского Воскресенского монастыря и написали в своей летописи его имя и отчество. Их можно понять. На самом деле версий этих еще больше, чем списков с «Воскресенского летописца», которых на сегодняшний день существует не меньше восьми. Жаль, оригинал летописи так и не нашли. Одну из первых копий «Воскресенского летописца» сделали для Карамзина в те поры, когда он работал над «Историей государства Российского». Николай Михайлович летопись почитал, почитал... и сказал, что все это новая сказка. И князей таких не было, и в других летописях они-де не упоминаются. Правду говоря, все эти разборки между историками и архивистами могут завести наш рассказ в болото, а этих болот вокруг Солигалича...

Так или иначе, человек, похожий на галицкого князя и по имени Федор Семенович, приказал расчистить место в дремучем лесу, в ста километрах севернее Галича, и на этом месте заложить церковь Воскресения Христова, от которой пошел Воскресенский монастырь, от которого, в свою очередь, пошел поселок Соль, от которого пошел и до сей поры идет город Солигалич<sup>2</sup>. Легендарный Федор Семенович переселил из галицких вотчин и приписал к Воскресенскому монастырю самых обычных, нелегандарных крестьян, которые основали деревни и села, многие из которых существуют и по сей день. Тут надобно сказать, что в самом начале своего существования Солигалич назывался Солью Галичской<sup>3</sup>.

Соль в этих краях добывали еще с незапамятных времен. Бурили глубокие колодцы, бадьями поднимали из них рассол, который наливали в большие железные сковороды, разводили под ними огонь и вываривали соль<sup>4</sup>. Потому-то и на гербе Солигалича нарисованы три кучки соли. Потому-то и к концу восемнадцатого века в окрестностях Солигалича повыврубили не только дремучие леса, но и те, которые только собирались стать дремучими, но не успели.

Пока Воскресенский монастырь был маленьким и деревянным, пока строились мельницы, пока копались соляные колодцы, пока строились варницы, пока рубились для них дрова, пока были пусты соляные, зерновые и мучные амбары, закрома, сусеки и кладовые – мало кто интересовался Солью Галичской. Но как только... Первыми, еще до татар, пришли вятские и ветлужские черемисы. Они же пришли и вторыми, и третьими. Этих охотников до чужого добра кое-как отогнали. Уже через двадцать лет после основания монастыря сын Федора Семеновича Андрей Федорович устроил вокруг него острог и поставил во главе острога боярина Золотарева. Еще через двадцать лет Андрей Федорович умер, и княжить стал его сын Иван Андреевич, которому было двадцать лет отроду к моменту

вступления в должность. И тут в четвертый раз пришли битые, но упорные черемисы, прихватившие с собой для верности ногойцев и их воевод. Монастырь был разграблен и разрушен до основания, монахов поубивали, посад и окрестные деревни пожгли, разграбили и многих увели в полон. Не прошло, однако, и нескольких лет, как жизнь в эти места вернулась, и новые мешки с новой солью заполнили новые амбары.

На этом месте легендарные времена кончаются, галичские князья через малое время теряют свой удел, и Галич вместе с Солью Галичской входит в состав Московского княжества. На смену легендам приходит скучная и дотошная московская бухгалтерия. Дмитрий Донской хоть и отдает своему сыну Галич, но Соль Галичскую приписывает своей жене Евдокии, а соляные колодцы, варницы, дровяной двор, двор для приезжающих старцев, село Борисовское с деревнями достаются московскому Симонову монастырю в качестве вклада «по своей душе на поминок, в наследие вечных благ»<sup>5</sup>. Вслед за Симоновым монастырем поближе к источникам соляных доходов подтягивается и Троице-Сергиев монастырь, которому Василий Второй дал большие льготы по части солеварения. Вслед за Троице-Сергиевым монастырем на вкус соли в эти места пришло еще четыре монастыря. В это же самое время, в четырнадцатом и пятнадцатом веках, к крестьянам, работавшим на соляных промыслах, рубившим дрова и пахавшим землю несколько раз приходили неурожай, засуха, ранние заморозки, проливные дожди, голод, холера и легочная чума из Германии.

Татары из Казани приходили ко всем – и к бедным, и к богатым. В конце пятнадцатого века пришли и, как писал игумен Воскресенского монастыря Парфений, «Сожгли погост, да двор монастырский, да церковь», а в 1532 «Приде рать велика поганых варвар в Галичские пределы и доидоша варвары до града Соли Галицкой зело величахуся и хваляхуся град тот взять». Не получилось у них. И на штурм крепости ходили, и пытались ее поджечь – не получилось. Три дня и две ночи жители посада и окрестных деревень кричали татарам неприличные слова, которым у них же и научились за столетия ига, стреляли в них стрелами, лили со стен крепости на головы атакующим кипящую смолу и кипяток. Между прочим, один из толстостенных двадцативедерных котлов-кипелиц, в котором солигаличане кипятили воду и смолу, по сей день хранится в запасниках местного краеведческого музея. Изготовили его местные мастера. Те, которые в мирное время клепали огромные сковородки для выпаривания соли. Даже и железо выплавили из местной болотной руды. Говорят, что этот котел за пятьсот без малого лет почти не заржавел, а все оттого, что изготовлен был из очень чистого железа без примесей серы, фосфора и углерода. В точности, как знаменитая железная колонна из Дели, которая не ржавеет уже полторы тысячи с лишним лет. Про делейскую-то колонну доподлинно известно, что изготовили ее инопланетяне, а про котел из Солигалича... Ну кто, спрашивается, поедет смотреть на котел, изготовленный обычными мужиками...

Вернемся, однако, под стены крепости. Через три дня безуспешной осады татары начали понимать, что из-под стен Соли Галичской придется им уходить несолоно хлебавши. «Начаша полки своими мятися и зело страх велий нападе на ня и не ведаху: камо бежати...». Через три дня и час с небольшим они поняли это окончательно, оседлали своих низкорослых кривоногих лошадок, взмахнули нагайками, свистнули разбойничьим посвистом и ускакали домой в Казань рассказывать, о том, что соль – это белая смерть. Особенно та, которую получают в Солигаличе.

На радостях богобоязненные солигаличане победу над врагами приписали не столько своему мужеству и упорству, сколько чудесному заступничеству преподобного Макария Унженского. Кто-то из жителей города видел или кто-то слышал от того, кто видел, как преподобный Макарий во время осады появлялся на валу на коне и багряным плащом своим прикрывал город. Татары, судя по всему, тоже видели преподобного Макария, но никому рассказать о виденном уже не смогли. В «Житие преподобного Макария Желтоводского и Унженского» сказано, что «погани ослепли и сами себя изрубили». По случаю чудесного избавления от страшной напасти солигаличане постановили каждый год праздновать это

событие в день памяти преподобного Макария и при церкви Успения, которая находилась внутри земляного вала крепости, построить особый придел во имя Макария. И построили. Деревянная церковь стояла, стояла, да и пришла в негодность. Ее заменили новой, которая сгорела дотла. Наконец в конце восемнадцатого века на этом месте построили каменный храм, который простоял до тридцать седьмого года прошлого века. Перед его входом можно было видеть стоящие на земле, надетые друг на друга два котла-кипелицы. И тут власти решили устроить в Успенском храме местную электростанцию...

Теперь на этом месте только развалины храма, развалины каменного дома, да крепкий двухэтажный деревянный жилой дом, возле которого можно видеть на диво ухоженный огород с грядками по линейке, да чуть поодаль от дома одинокая сосна.

Что же касается подземного хода, который соединял крепость с другим берегом реки Костромы, то в его существование в Солигаличе верят не только люди, но даже и кошки с собаками. Сколько раз принимались копать в том самом месте, где он должен обязательно быть... В начале прошлого века московский археолог Дунаев вместе с местными жителями, от помощи которых он так и не смог отказаться, прокопал длинную, глубокую траншею на юго-восточном углу вала и... ничего не нашел. И хорошо, что не нашел. Легенде о подземном ходе подземный ход не нужен. Может, археологам он и нужен, чтобы писать о нем ученые статьи в ученых журналах, а вот солигаличанам нужна легенда, чтобы и через сто и через двести лет ставшие взрослыми солигаличские мальчишки могли при встрече сказать друг другу:

– А помнишь, Петька, как мы с тобой подземный ход искали из крепости? У меня тогда неделю от лопаты волдыри на ладонях не проходили.

Через двадцать лет после неудачной осады Соли Галичской была взята Казань, и с набегами татар было покончено. Москва вздохнула спокойно... а до медвежьего угла, в котором находилась Соль Галичская, спокойствие медленно шло не год и не два. Мелкие шайки татар и черемисов через пять лет после взятия Казани внезапно подошли к Соли и сожгли посад вместе с Воскресенским монастырем<sup>6</sup>. Спаслись только те жители посада, которые успели затвориться в крепости.

В следующий и последний раз Соль Галичскую разорили во времена Смуты. Сначала солигаличане поддержали Галич, который поднял восстание против поляков, и призвали к тому же жителей Тотьмы и Вологды. Хитрые Тотьма<sup>7</sup> и Вологда обещать обещали, но собирались на войну так долго, что поляки под командой пана Лисовского успели разгромить и Кострому, и Галич и послать к Солигаличу отряд пана Пудковского, чтобы привести город к присяге Тушинскому вору и заодно потребовать от жителей контрибуцию в двести пятьдесят рублей. Солигаличане сначала ни присягать, ни тем более платить не хотели, но как пересчитали свои запасы пороха, ядер и пуль, как осмотрели свою обветшавшую крепость... и присягнули, и заплатили. Увы, Солигалич это не спасло. Город, посад и торговые ряды были сожжены, а жители разбежались по окрестным лесам. К счастью, тогда они еще были вполне дремучими и в них было множество хитро устроенных засек на случай войны. В объяснительной записке по поводу своих действий царю Василию Шуйскому солигаличане писали: «И мы сироты твои государевы, слыша от воров и литовских людей и от бояр великое разорение, и жон своих и детей великий позор, да побегли от них на лес, в засеки, и животишка свои пометали... И после нас, как мы побежали в забеги, на посадe дети боярские животишка наша, и по деревням пограбили. А бежали, государь, в забеги для того, что у нас у Соли около посаду острогу нет, а город сгнил и развалился, и твоего государева наряду и зелья нет, крепиться нечем...».

Потом снова была война, потом галичане и солигаличане из лесу, из засек, слали письма в Тотьму, Вологду, Великий Устюг и звали, просили, требовали подмогу, и опять была война, и Лисовский с поляками, литовцами, казаками и перешедшими на их сторону детьми боярскими ушли к Москве и подошли, наконец, подкрепления из Тотьмы, Сольвычегодска, Великого Устюга, Перми и даже из невообразимо далеких, находящихся на другом



конце света, Кайгорода и Выми, о которых никто и не знал даже, что они существуют, потом солигаличане бились под командой Скопина-Шуйского, Прокопия Ляпунова, Минина и Пожарского до тех пор, пока поляков не прогнали насовсем.

Через год после того, как поляков прогнали насовсем, оказалось, что это насовсем касается Москвы, а Солигалича не касается вовсе. И снова повторилась история почти столетней давности с татарами и их друзьями черемисами. Только на этот раз были шайки поляков, литовцев и казаков, которые сожгли и разграбили Соль Галичскую в самый последний раз, а через два года они сделали тоже самое в тот раз, который идет за самым последним.

После того, как все, что можно и даже то, что нельзя было сожжено, разграблено и разрушено, наступил долгожданный мир. Через три или четыре года был восстановлен посад и городская крепость, а вместе с ними ударными темпами были восстановлены и соляные промыслы. Уже в первом послевоенном десятилетии варницы Соли Галичской давали не менее двухсот тысяч пудов соли ежегодно. Только промыслы Симонова монастыря давали двадцать тысяч пудов в год из двух колодцев и пяти варниц. Доходов от продажи соли стало поступать столько, что кое-кто из монастырской братии понашил себе дополнительных потайных карманов на рясах.

В середине семнадцатого века, в эпоху расцвета солеварения промышленный Солигалич представлял собой довольно неопрятное зрелище. Штабеля дров, ручьи рассола, текущие по земле, насквозь прокопченные и просоленные соловары и подварки с их мужицкими солеными шутками, чад и дым, непрерывно валивший клубами из варниц... Правду говоря, особенной дружбы между соловарами не было. Конкуренту могли и варницу поджечь, и водоотводную трубу продырявить, а могли и бадью, которой поднимали рассол на поверхность, на голову надеть по пояс. Вместе с рассолом. В повести о том, как поссорились соловары Симонова и Троице-Сергиева монастырей, есть рассказ о том, как троицкий старец Тихон и его слуга Гаврила Опочинин шли мимо варниц Симонова монастыря с дровами, а Симоновский соловар Богдан Григорьев «учал их лаять всякою неподобною лаею и крикнул из своих варниц многих неизвестных людей ярыжных и учили де того старца троецкого и слугу бить и грабить». Замирить монастыри удалось только Патриарху.

Тем не менее весь семнадцатый век город богател, богател... пока более дешевая соль из Соликамска, Соль-Илецка и других мест не сделала производство соли в Солигаличе убыточным. Поди, потягайся с Соликамском, если в тамошних рассолах почти двадцать процентов соли, а в солигаличских всего три. Тут в пору горько заплакать солеными слезами. Власти, однако, привыкли к большим налогам, которые поступали в казну от соляных промыслов и вовсе не желали их терять. В царствование Алексея Михайловича надзор за соляным делом был передан в ведение Тайного приказа. Московские особисты считали, что соль можно добывать везде, где прикажет начальство, а потому было приказано возобновить солеварение даже там, где оно было давно заброшено. Бурить надо глубже, а не кивать в сторону Соликамска, – сказала руководство Тайного приказа. Солигаличане бурили, не кивали, а толку от этого... Тогда начальство приказало привезти в столицу необходимое для бурения колодцев оборудование вместе с обслугой и устроить сначала показательный, а вслед за ним наказательный мастер-класс по добыче рассола прямо в Москве. Почему-то они в Тайном приказе думали... Нет, тут, видимо, нужен другой глагол. В Солигаличе ослушаться приказа не посмели. Привезли и трубы, и бадьи, и сковородки для выпаривания соли. Пробурили три преглубоких скважины, но почему-то оказалось, что рассола в них...

Наказывать солигаличан не стали, хотя было и понятно, что некому быть виноватыми, кроме них. Ограничились тем, что отослали их восвояси со строгим наказом продолжать бурить дома. Не то чтобы они не бурили. Бурили. И государство их бурило то новым Соляным уставом, то штрафами по полкопейки за каждый недоданный пуд соли, то повышением соляного сбора, то обязательством создавать запасы соли, то ограничением продажи соли для домашних потребностей... К началу девятнадцатого века соль в Солигаличе добывали лишь домохозяйки в количествах, потребных для засолки огурцов, капусты и

рыжиков, да дети, когда играли в соловаров, да купец Василий Кокорев, которому в 1821 году решением Государственного совета все солигаличское Усолъе было отдано в вечное и потомственное владение «для учреждения на оном солеваренного производства». Еще на десять лет вперед Кокорева освободили от соляного акциза – лишь бы взял. Расчислили старые колодцы и сразу поняли, что рассолы в них слабые и надо бурить глубже, как некогда завещал Тайный приказ. Кокорев надеялся добраться до таких пластов, где рассол не будет сильно разбавлен грунтовыми водами. Бурили девять лет и за эти годы смогли продвинуться по направлению к центру Земли на двести пятнадцать метров. За это время Кокорев понял, что процесс достижения цели интересен гораздо более ее самой. На Костромской губернской выставке он даже представил модель рассольной трубы с присоединением моделей всех употреблявшихся при бурении инструментов. На глубине около семидесяти метров из скважины забил на высоту трех метров источник минеральной воды – чистой, прозрачной и солоно-горькой на вкус. Больше в этой скважине не было ничего.

Стало понятно, что солигаличскую контору глубокого бурения надо закрывать как убыточную по всем статьям. Ее и закрыли в 1840 году. Пятисотлетняя история солеварения в Соли Галичской закончилась... и началась история солигаличских минеральных вод. Еще Василий Кокорев утверждал, что он сам попробовал минеральную воду и выздоровел. Надо отдать должное его практической смекалке. Василию Александровичу на тот момент было двадцать два года отроду и здоровьем его Бог не обидел<sup>8</sup>. Самое удивительное, что солигаличане тоже стали пить эту воду с лечебной целью и принимать из нее ванны. Через малое время к солигаличанам присоединились жители окрестных деревень, а через год после закрытия солеваренного завода Медицинский департамент Министерства внутренних дел по представлению Кокорева официально разрешил пользование водами артезианского колодца для лечения. Для пущей убедительности к представлению было приложено свидетельство Костромской врачебной управы и «Книга о лечении водами» с собственноручными расписками семидесяти четырех особ, коим лечение помогло. В том же году Кокорев открыл в Солигаличе водолечебницу и через несколько лет пригласил для химического анализа воды не кого-нибудь, а самого Александра Порфирьевича Бородина. Тот как раз только что получил степень доктора медицины. Целое лето провел Бородин в Солигаличе, анализируя местную воду, наблюдая за лечебными процедурами и не забывая при этом сводить с ума игрой на рояле местных дам и девиц.

Водолечебница существует и по сей день. Называется она «Санаторий им. А.П. Бородина». Отдыхающие говорят: «Бородино». Им так проще. Рано утром и вечером, при отходе ко сну, из санаторных динамиков раздаются могучие звуки арии князя Игоря из одноименной оперы Александра Порфирьевича. Не всем отдыхающим, особенно тем, кто страдает расстройствами нервной системы, нравится эта мелодия. Уж они просили администрацию заменить Игоря на половецкие пляски или хотя бы на плач Ярославны и даже писали коллективную жалобу в Москву, в Минздрав, но тамошние чиновники никогда дальше Костромы и не ездили и про слово Солигалич думают, что это название танца вроде халигали, не говоря о санатории. Бородин, вишь, им не нравится... Между прочим, в начале прошлого века у входа в санаторий каждый вечер играл приглашенный местным земством струнный оркестр слепых из Костромы. И никто не жаловался.

Более всего, однако, лечебница Кокорева помогала здоровью учеников духовного училища, окна которого находились напротив водолечебницы. По воспоминаниям профессора Московской духовной академии Е.Е. Голубинского, который учился в этом училище через несколько лет после открытия санатория, «учителя секали нас с осторожностью, так как крик лежащих под лозой слышен был в ваннах, где сидели больные».

Вообще говоря, событий в захолустном Солигаличе в девятнадцатом веке было крайне мало. Вот разве что после русско-турецкой войны прислали в город пленных турок, которые построили мост через Шашков ручей, несколько домов и понашили местным модницам кожаные туфли отменного качества. Если бы турки не занесли в Солигалич эпидемию



возвратного тифа, которой переболела часть населения города и уезда, то о них бы и вовсе вспоминали с благодарностью. Как и о сосланных поляках, которые туфель шить не умели, зато давали уроки музыки, поскольку среди них были скрипачи и пианисты. Вообще Солигалич был музыкальным городом. При каждой церкви был свой хор, певший в выходные и праздничные дни, регулярно давались концерты в общественном клубе, пелись романсы<sup>9</sup> и даже арии из опер, а в летнее время офицер делопроизводитель местного воинского присутствия устраивал прогулки на лодках с солдатами из местной воинской команды, умеющими играть на духовом инструменте. Сам он при этом играл на флейте...

Июльское солнце бесконечно долго садилось за громаду Рождественского собора<sup>10</sup>, по набережной Костромы прогуливались мужчины в мягких шляпах и форменных фуражках, дамы с кружевными зонтиками, мужики в смазных сапогах и носились в разные стороны мальчишки с семечками. На крылечках домов, украшенных затейливой резьбой, сидели кошки и намывали гостей. По стеклянной воде плыла лодка, в ней сидел молодой краснощекий солдатик и старательно выдувал на теноровом тромбоне или валторне вальс «Осенний сон», или «Ожидание», или «Над волнами», а флейта ему так подпевала, так подпевала... что чувствительные дамы нет-нет, да и подносили к уголкам глаз крошечные надушенные носовые платки с еще более крошечными вышитыми монограммами, а их кавалеры смущенно покашливали.

Кстати, о мужиках в смазных сапогах. Они в Солигаличе и уезде летом бывали редко. После того, как соляной промысел приказал долго жить, подались они в отходники. Можно было, конечно, сеять пшеницу, рожь или даже выращивать в теплицах помидоры с баклажанами, но земля и лето здесь не такие, как в Курске или Воронеже, а зимой случаются морозы до сорока и больше градусов. Тем более, что еще при царе Петре ездили на строительство Петербурга чухломские и солигаличские каменщики и плотники. Не по своей, правда, воле. Начало развиваться отходничество еще при крепостном праве. Оброк был помещику куда как выгоднее барщины. Ехали крестьяне в Петербург не на авось, не в надежде на любую работу, хоть бы и дворником, а готовились к этой поездке загодя, еще с детства. Мальчиков в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет отправляли обучаться ремеслам в столицу. Учились иконописному, водопроводному, малярному, бондарному, плотницкому, слесарному и токарному делу. Кого-то отдавали в учение мяснику, а кто-то шел по торговой части. Из Солигалича шли преимущественно кузнецы<sup>11</sup> и слесари. Отдавали в обучение петербургским родственникам, имеющим ремесленное хозяйство или петербургским ремесленникам, которые набирали мальчишек в обучение прямо в Солигаличе и окрестных деревнях через своих поверенных из местных крестьян. Родственникам отдавали просто так, под честное слово, а с чужими людьми родители мальчика заключали письменные условия. Условия простые – мальчика дерут за уши, таскают за вихры, показывают каким гаечным ключом открутить гайку или каким колером красить стену, кормят так, чтобы с голоду не помер, обувают, одевают, лечат не больше месяца, а он не мог от хозяина уйти, гулять без его разрешения, и гайку открывай быстрее, и ключи подноси, и краски, кисти, водку, закуску, и сапоги с него сними, ежели он пьян. Особо оговаривалось, что родителям хозяин единовременно уплатит сумму от двадцати пяти до пятидесяти рублей. Одну часть ее давали в виде задатка, а другую часть мальчику по окончании учения. Кроме того, на выход мальчику хозяин должен был купить приличное случаю пальто и «пинжак». Каковые пальто и «пинжак» были прописаны отдельным пунктом в условиях. Все вместе это называлось «окопировкой».

Года чрез три или четыре мальчик заканчивает ученье и приезжает домой на зиму к родителям настоящим «питерщиком», как их называли в Солигаличе. Весной он снова возвращается в Петербург, но уже для самостоятельной работы. Через пару-тройку лет он уже и мастер, и завидный жених. Зимой женят его дома, и станет он ездить из Солигалича в Петербург и обратно до самой старости. Особым был ритуал возвращения питерщиков домой. Не дай Бог молодому, особенно холостому парню прийти домой пешком, в дорожной

одежде, забрызганной грязью, – не только засмеют, но еще и замуж за такого никто свою дочь не отдаст. «Чоткий» солигаличский пацан подкатывал к дому на тройке с колокольчиками и бубенцами. Такой выходил из саней в шубе и костюме, увешанный, точно елка, свертками с подарками для родственников. На самом деле бывало по-всякому. Бывало, ничего не заработает отходник или заработает, но пропьет или проиграет в карты, и тогда родители, не желая ударить в грязь лицом перед соседями, сами покупали сыну костюм, для себя подарки, и даже нанимали на соседней почтовой станции в Чухломе тройку. В таких случаях соседи, уже давно прознавшие обо всем от питерских знакомых и родственников, делали вид, что ничего не знали и не слышали. У самих тоже были взрослые сыновья...

Благодаря отходникам в Солигаличе даже простые бабы ходили летом с дождевыми зонтиками, привезенными мужьями из Петербурга. Мужчины щеголяли в жилетках, манжетах, пиджаках, кожаных ботинках и галошах. Какие уж тут смазные сапоги. Нечего и говорить о сапогах. В домотканом и лаптях ходили только во время работ. В редком доме не было бумаги, чернил или карандашей.

В нынешнем Солигаличе отходничество снова расцвело. Вот только мальчиков не отдают в обучение в Петербург. Едут уже взрослыми мужиками работать охранниками и строителями. Теперь едут и девушки. Эти, в основном, по торговой части. По старой привычке едут в Питер, а не в Москву. Во время перестройки пробовали, было, в Москву, но... в Питер привычней. Там у многих солигаличан родственники. Да и весь двадцатый век ездили, чтобы с голоду не помереть. А в сорок первом и сорок втором Петербург, который к тому времени стал Ленинградом, сам приехал в Солигалич. Приехали те, кто успел вырваться из осажденного города. В каждом доме проживало по четыре, а то и пять семей эвакуированных. Детский дом был переполнен. С продуктами в Солигаличе было немногим лучше, чем в блокадном Ленинграде. Уже через полгода после войны начался голод. На всю оставшуюся жизнь наелись картофельных очисток. В многодетных семьях, где продовольственного аттестата отца, ушедшего на фронт, никак не хватало на всех детей, девушки подходящего возраста бросали между собой жребий – кому идти воевать, чтобы не умереть с голоду. Холода в сорок первом стояли суровые даже для здешних мест. Температура опускалась до сорока шести градусов мороза. И в этот мороз надо было валить лес для фронта. Даже школьникам велено было стать сучкорубами. Они и стали. Сколько погибло их на лесоповале от голода, от того, что ходили в лютый мороз в обносках...

Если разобраться, то в Солигаличе и уезде последние несколько сот лет безвылазно жили только дворяне. Земли боярам и дворянам стали давать в этих местах еще при Михаиле Романове – тем, кто отличился при освобождении Москвы от поляков. В царских жалованных грамотах писали «за московское осадное сидение королевичева приходу». Именно тогда возле соседней с Солигаличем Чухломы получил поместье шотландец Юрий Лермант, от которого и пошел род Лермонтовых. Перед отменой крепостного права в Солигаличском крае проживал восемьсот двадцать один дворянин. Правду говоря, некоторые из этих дворян были даже не мелко-, а микропоместными. Их называли гольшами, и владели они зачастую двумя или тремя крестьянами, а то и вовсе одним. Гольшей в уезде было около полутора сотен. Порой гольши занимали целые деревни. У такого, с позволения сказать, дворянина из недвижимости только и были изба, огород, несколько десятин пашни и сенокос, а из движимого – лошадь, кошка, собака, иногда куры. Образования они не имели, служить нигде не служили, руки вытирали о посконные штаны и сморкались в занавески, если они у них, конечно, были. Мелкопоместными считались те, у кого было от десятка до полусотни душ. Дворян, имевших более пятидесяти душ, называли многодушными. Многодушные за глаза презрительно называли мелкопоместных малодушными, а гольшей и вовсе бездушными. Справедливости ради надо сказать, что в Солигаличе и уезде многодушных дворян было раз-два и обчелся. Самыми богатыми в уезде были семейства Черевиных и Шиповых. У Черевиных было семнадцать с половиной тысяч десятин

земли. Они были, что называется, военной косточкой – лейтенанты флота при Елизавете Петровне, потом кригскомиссары, бригадиры, при Екатерине полковники лейб-гвардии и флигель-адъютанты при Павле. В музее портретами Черевиных кисти устюжанина Григория Островского увешаны стены целого зала. Заходишь в него и под взглядами Черевиных уже через минуту чувствуешь себя неловко от того, что ты не в напудренном парике, не в военном мундире и не при шпаге. Впрочем, там не только военные. Жены, матери, дети, бабушки и дедушки. И еще думаешь – черт бы побрал фотографию. Никто и никогда не скажет, глядя на твой портрет, – посмотрите, как тщательно выписаны шнуры на его кроссовках или надкусанное яблоко на телефоне...

Но вернемся к портретам. В 1918 году из рук балерины Мариинского театра Анны Александровны Черевиной они перешли в руки антиквара по фамилии Апухтин, который немедля повез их в Солигалич и там, в водолечебнице, устроил выставку для всех желающих. Через шесть лет коллекция портретов попала в местный краеведческий музей и пролежала там в запасниках, понемногу осыпаясь и отсыревая, до того самого момента, пока директор Костромского музея-заповедника Игнатъев в конце шестидесятых годов не увидел, не восхитился и не отвез несколько портретов в Кострому, чтобы определить их истинную ценность. В Костроме на них глянули... В следующую поездку в Солигаличский музей Игнатъев поехал уже с самим Савелием Ямшиковым. Отобрали еще десять портретов для реставрации, а когда отреставрировали, то возвращать обратно в Солигалич эти портреты никто не захотел не только в Костроме, но даже и в Москве. Каких только порогов не бил директор Солигаличского музея, пока коллекция портретов кисти Островского выставлялась в Москве, Ленинграде и Париже. Кострома стояла на смерти. Надо отдать должное Савелию Васильевичу – он понял свою ошибку и приложил все усилия для возвращения работ Островского в Солигалич. И через долгих восемь лет они вернулись. В краеведческом музее имени адмирала Невельского зал, где находятся портреты Черевиных...

Кстати об адмирале Г.И. Невельском, имени которого музей, который мог бы быть имени издателя И.Д. Сытина. Оба они – и Невельской и Сытин – уроженцы здешних мест. В шестьдесят третьем году, когда шла речь о том, чье имя присвоят музею, разгорелись нешуточные споры. Как ни крути – Невельской был из дворян, а Сытин из крестьян, хоть и стал потом миллионером, но... Вспомнили краеведы, у которых память долгая и даже еще длиннее, давнюю историю, связанную с Сытиным. В 1924 году послали солигаличские краеведы ему в подарок роскошно изданную чуть ли не в единственном экземпляре книгу «Обследование села Гнездинова». Село это – родина Ивана Дмитриевича. В ответ краеведы ожидали, что Сытин подарит селу библиотеку, а он в ответ им тоже прислал книгу. Какая разница, какую... Ну и что, что прошло с тех пор сорок лет. Хоть сто сорок. Никто ничего не забыл Ивану Дмитриевичу. Невельской подарил России целый Дальний Восток с устьем Амура и проливом Невельского, а Сытин... В следующий раз будет знать. У заведующей музеем на этот счет есть своя теория – она считает, что...

Воля ваша, а рассказ о Солигаличе, как и ремонт, невозможно закончить – его можно только прекратить. Прекратить, несмотря на то что я не успел сказать еще ни слова о том, что в Солигаличе жил кварталный по фамилии Рыжов, который был прототипом главного героя повести Лескова «Однодум», что в нем жила Анемаиса Орестовна Чалева, с которой Чехов списал Любовь Ивановну из «Дома с мезонином». Та самая, что рыдала мужским голосом. Она оставила воспоминания, в которых...

Вот только еще одна цитата – и уж точно все. Это отрывок из письма солигаличанки Анны Ивановны Жижиковой своему мужу Василию Петровичу в город Петербург. Написано оно в начале прошлого века.

«Милому моему дорогому супругу Василию Петровичу от супруги твоей Анны Ивановны нижаючи кланиюсь и жалаю быть здоровым. Милый мой дорогой супруг Василий Петрович, получила я от вас гостинцы, не знаю, как я вас благодарить и как за вас бога

молить: 10 аршин ситцу, 7 аршин ткани, 2 плотка ситцовых и бруслет, получила серешки, фартук, 2 фунта кофия, 2 четверки чаю, флогон эксперту, банку гостинцев, 2 мыла, бумаги и конвертов. И все очень хорошо прислано...

Милому дорогому нашему тятки Василию Петровичу кланиются тебе детки твои Иван, Петр и Алексей и дочь Шура. И просим у тебя заочного родительского благословения, которое может существовать по гроб нашей жизни, и благодарим вас на гостинцах и дай бог здоровье, дорогой наш тятка...

В дому все благополучно. Детки очень шибко бегают и Шура за ними бегаёт, не отстает. Макару отдано часы и пальто в горшок. Покуда хорошо все исправляется... И затем прошай, дорогой мой Василий Петрович. Остаемся живы и здоровы и тебе желаем от бога доброго здоровье и всякого благополучия»<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Улицы самого Солигалича были заасфальтированы только в девяносто пятом году. Если точно, то заасфальтировали чуть больше половины – тридцать восемь улиц из шестидесяти четырех.

<sup>2</sup> Понятное дело, что в летописях все просто не бывает. Сначала Федор Семенович в Пасхальную ночь увидел на севере огненный столп и услышал гром, но не сразу понял, откуда он, и еще неделю блуждал со свитой по лесам, пока монах-отшельник не показал ему точное место, из которого этот самый огненный столп зародился. На этом месте и была заложена церковь. Кое-кто из современных историков утверждает, что в том месте еще до закладки церкви был соляной колодец и Федор Семенович и не думал блуждать, а сразу направился... Ну и пусть утверждают. С огненным столпом и громом все куда как красивее.

<sup>3</sup> Достоин удивления тот факт, что впервые Солигалич упомянут в летописи не по случаю его разорения татарами или поляками, не по случаю междоусобной вражды между многочисленными князьями, их детьми и родственниками, не по случаю упоминания в духовной грамоте Ивана Калиты, а по случаю собственного основания. Редкий, надо признаться, в нашей истории случай.

<sup>4</sup> Колодцы и варницы, в которых выпаривали рассолы в Солигаличе, имели свои имена, порой довольно затейливые. В дозорной книге Солигалича 1614 года упомянуты колодцы «Бочкин пуг», «Швак», «Чертолом», «Неволя», «Детинец Большой», «Детинец Малый» и варницы «Сутяга», «Погорелиха», «Позориha» и «Засериha».

<sup>5</sup> Не все, конечно, могли себе позволить такой богатый вклад «на помин души». В книге «Очерки средневековой истории Солигалича» Н.А. Фигуровского описан случай, когда некая черница Анна за внесение в поминальный синодик ее мужа и ее самой передала в качестве вклада Троице-Сергиевому монастырю принадлежавшую ей половину соляного колодца и четверть варницы. Там же написано о том, что вдова некоего Зиновия Кононова по прозвищу Сирена Толстоухова передала монастырю дровяное кладище и еще дворище, а Иоиль Подосен Тимофеев Касаткин передал монастырю дворовое место и дровяное кладище, а Плохой Григорьев сын Успенский... Нет, вы только представьте себе женщину по прозвищу Сирена Толстоухова... Ох, не зря она была вдова. Так и вижу ее покойного мужа Зиновия, тщедушного, плешивого и гундосого, похожего на лесковского Зиновия Борисыча из «Леди Макбет Мценского уезда». Уж она и орала на него благим и самым обычным матом (за что и была прозвана соседями Сиреной Толстоуховой), и кулачищем своим пудовым прикладывала, и «Зиной» дразнила, и даже сыпала соль на раны, подмигивая из окошка проходящим мимо солидным плечистым солдарам и молоденьким подваркам, а как помер муж – так сразу монастырю на помин его души и отписала дровяное кладище вместе с дворищем. И то сказать – кто его знает, как он помер? Может, спяну упал по весне в польню на реке Костроме, может, зимой в дремучем лесу задрали волки и его самого, и лошадь по дороге в Чухлому, а может, просто на ночь поел грибок с кашей, а наутро глядь – он уж весь синий и не дышит.

<sup>6</sup> Как если бы сейчас мелкие шайки коммунистов напали на райкомы единокороссов, грабили их, отнимали у них бизнес и привилегии, уводили в плен мелких партийных функционеров и продавали в рабство их самих и их голоса другим партиям.

<sup>7</sup> Самое удивительное то, что тотьмичей в Солигаличе не жалуют и по сей день. Говорят, что в одном солигаличанине совести столько, что хватит на десяток тотьмичей. И землю тотьмичи никогда не обрабатывали, и ремеслом никаким не известны, а все больше торговали да были приказчиками. И вот еще что. Никто их тотьмичами и не зовет. Только толшмяками\*. Солигаличские старики так и говорили: «Там, где толшмяк прошел, там ...»

\* Толшма – река, протекающая в тамошних краях.

<sup>8</sup> О солигаличанине Василии Александровиче Кокореве надо сказать отдельно. Всю эту за-тею с водолечебницей он придумал, будучи совсем еще молодым человеком. И это было лишь начало его блистательной карьеры. Мещанский сын, самоучка, начинавший сидельцем в одном из питейных домов в Солигаличе, он миллионер к тридцати трем годам и первый в России нефтепромышленник. В 1857 году Кокорев построил возле Баку первый в мире нефтеперегонный завод, пригласил для улучшения работы завода не кого-нибудь, а Менделеева, тогда еще просто приват-доцента в Петербургском университете. Благодаря Кокореву, Россия к концу девятнадцатого века давала половину мировой нефтедобычи. Это Кокорев был определен под негласный надзор полиции за публичные призывы к отмене крепостного права. Это его звали «экономическим славянофилом». За двадцать лет до братьев Третьяковых он основал в России первую частную картинную галерею и устроил для русских художников приют возле Вышнего Волочка. Это Кокорев Российской Академия Художеств удостоила звания почетного члена. Со всем тем Василий Александрович имел, мягко говоря, «купеческий вкус». На столе у него стоял золотой лапоть, а шампанское он пил с квасом, рассолом и солеными огурцами. Ну, да золотой лапоть – не золотой батон. Тем более, что Кокорев его купил на заработанные, а не украденные деньги.

<sup>9</sup> Раз уж зашла речь о романах, то никак нельзя пройти мимо Николая Петровича Макарова, который хоть и родился в Чухломе, зато воспитывался у своих солигаличских теток М.П. Волконской и А.А. Шиповой. Макарова мы будем помнить и любить всегда не за то, что он был одним из первых русских лексикографов и составителем самого полного русско-французского словаря, и не за то, что он был виртуозом игры на гитаре и организовал на свои средства в Брюсселе первый международный конкурс гитаристов, а единственно потому, что Николай Петрович написал слова романа «Однозвучно гремит колокольчик».

<sup>10</sup> Главный колокол на колокольне Рождественского собора весил 347 пудов, а на колокольне Воскресенского собора «всего» 215. Рождественский колокол был отлит в России, а на Воскресенском была латинская надпись «Хвала Богу построил Ассверус Костер в Амстердаме 1631 года для Солей». Когда эти два колокола между собой разговаривали, то в Солигаличе даже воробы и бабы переставали чирикать.

<sup>11</sup> Кузнецы в Солигаличе еще со времен солеварения были мастерами высокого класса. В Солигаличе вам любая собака расскажет, что на лезвии топорика, который был с собой у Ильича, когда он прятался в Разливе, стояло клеймо «Солигалич». Рассказы собак, между прочим, подтверждают воспоминания Зиновьева, жившего с Лениным в Разливе. Григорий Евсеич увидел это клеймо буквально перед носом, когда спорил с вождем мирового пролетариата об апрельских тезисах.

<sup>12</sup> Кто после прочтения этого письма не поднес незаметно к уголку глаза носовой платок или хотя бы не кашлянул смущенно – тот самое настоящее бесчувственное бревно.

## Осташков

Сначала на месте Осташкова ничего не было, кроме лесов, болот и озера Селигер с многочисленными островами и каменными валунами на них. Потом по этим местам прошла... Не знаю, как сказать... Короче говоря – возле входа в Осташковский краеведческий музей лежит большой гранитный валун, а на валуне самый настоящий отпечаток женской ноги. Или отпечаток, очень похожий на отпечаток женской ноги. Глубокий. В такой можно влить бокал шампанского. Даже два. Местное предание, однако, утверждает, что это след Богородицы. Так что с шампанским лучше не стоит.

После Богороди... После того, кто оставил этот след, в эти края в середине первого тысячелетия нашей эры пришли кривичи, промышлявшие охотой и рыболовством, а за кривичами словене с сохами, коровами, бабами, ребятишками, коровами, козами, жучками, внучками, кошками, мышками, репками и со всем тем, что называется оседлым образом жизни. После того как все, кому нужно было прийти, пришли и стали жить-поживать да добра наживать – стали приходиться те, кому не нужно. За чужим, понятное дело, добром. В конце первой половины тринадцатого века к озеру Селигер, после взятия и разорения Торжка, подошли татаро-монголы. Осташкова тогда не было даже в планах, и самих планов тоже не было, и потому они не брали его приступом, не поджигали деревянных стен, не выпускали тучи стрел в защитников города, поскольку их тоже не было, а резво поскакали на своих лошадах на север по направлению к Великому Новгороду. Недолго они резво скакали... Дело было весной, дорога направление на Новгород, и без того еле идущее по дремучим лесам, страшно раскисло, петляло и норовило спрятаться в болотах. Не доехав до Новгорода около двухсот километров, в урочище под названием Игнач Крест татары, посоветовавшись с монголами, решили, что Новгород от них не уйдет, и повернули на юг.

Все это описано подробно в летописях и к несуществующему в тринадцатом веке Осташкову не имело бы совершенно никакого отношения, кабы не древний каменный крест с выбитой на нем надписью, хранящийся в городском краеведческом музее. И называется этот крест... Игнач Крест. В музее этот крест называется Березовецким, поскольку найден неподалеку от Осташкова на Березовецком городище, но на этикетке, под названием «Березовецкий крест» в скобочках большими буквами приписано, что предположительно это тот самый летописный Игнач Крест. Да и как ему не быть тем самым, если Березовецкое городище расположено на древнем торговом Селигерском пути к Новгороду, по которому и шел Батый со своими полчищами. О том, что он шел, неоспоримо свидетельствуют названия близлежащих к городищу сел – Малые Татары и Большие Татары<sup>1</sup>. Именно в Березовскую волость некогда входила деревня Игнашово (теперешняя Игнашовка), а уж ее название от названия Игнач Крест находится буквально в двух словах. Даже в нескольких буквах. Конечно, было бы замечательно, если бы на этом кресте рядом с новгородской надписью о том, что 6661 (1133) месяца июля 14 день новгородский посадник Иванко Павлович поставил этот крест по случаю начала земляных работ по углублению реки, было бы нацарапано «Батый, Субздей, Мунке, Бурундай, Кадан, Берке, Бучек, Байдар, Орда-Эджен, Шибан, Гуюк и Атыамст были здесь и повернули назад несолоно хлебавши», но... еще не нацарапано. Короче говоря, осташковские краеведы не сомневаются в том, что Березовецкий крест стоял в урочище Игнач Крест. Если честно, то в Тверской области таких крестов найдено несколько, и сотрудники тех музеев, в которых они хранятся, ни минуты не сомневаются в том, что их кресты... но в Осташкове не сомневаются ни секунды. Что же касается новгородцев, которые и вовсе установили бетонный памятный крест в 2003 году на территории Валдайского национального заповедника неподалеку от деревни Кувизино в двухстах километрах от Новгорода, то мы о них даже и говорить не станем. И новгородскую писцовую книгу пятнадцатого века, в которой написано, что имя московского служилого человека Андрея Руднева находится «...у игнатцева креста» в Новгородской области у деревень Полометь и Великий Двор, читать не советуем. Чего только в писцовых книгах не понапишут. Особенно в новгородских.

Вернемся, однако, к Осташкову, которому на роду было написано родиться несколько раз. В самый первый раз он родился через сто с лишним лет после нашествия Батыя под именем Кличен, на острове, чуть севернее современного города. В 1371 году, в письме великого князя Литовского Ольгерда константинопольскому патриарху Филофею сказано: «Против своего крестного целования взяли у меня города: Ржеву... Кличень... Березуйск, Калугу, Мценск. А то все города и все их взяли и крестного целования не сложили, ни клятвенных грамот не отослали». Жаловался Ольгерд Филофею на руку Москвы, которая к тому времени укрепилась и выросла так, что оставляла не только садины и синяки на теле



Великого Княжества Литовского, но и серьезные незаживающие раны. Сказать, однако, что Кличен попал между московским молотом и литовской наковальней, было бы неправомерно. Кличену пришлось хуже, гораздо хуже, поскольку, кроме молота и наковальни, были еще и раскаленные щипцы, которые назывались Великим Новгородом. В конце четырнадцатого века новгородцы, вечно бывшие не в ладах с Москвой, разорили и сожгли Кличен, а его жителей перебили почти всех. Среди нескольких оставшихся в живых были два рыбака – Евстафий (в просторечии Осташко) и Тимофей. Перебрались они чуть южнее, на материк, и на полуострове основали две слободы, промышлявшие рыболовством<sup>2</sup>. Слободы эти Волоцкий князь Борис Васильевич отказал своей жене Ульнии, о чем и была в 1477 году сделана соответствующая запись. Вот вам и второе рождение. Прошло еще сто с лишним лет, и в 1587 году разбогатевшие слободы для защиты от приграничной Литвы построили деревянную крепость – Осташковский городок. Чем не третья.

В третьем рождении Осташкову пришлось пережить Смуту. Стены городу не помогли – пришлось осташам вместе со своим воеводой целовать крест Второму Самозванцу. Через недолгое время, под влиянием писем молодого и энергичного Скопина-Шуйского и с помощью отряда французов, которых привели временно дружественные шведы под командой Эдварда Горна, Осташков поляков прогнал и вновь присягнул царю Василию Шуйскому. (Как в этой круговерти можно было разобраться, кто за белых, а кто за красных, – ума не приложу.) «Государю добили челом», как писал в вышестоящие инстанции Скопин-Шуйский. И то сказать – на осташах уж и чела не было – так их замучили постоянные разорения, пожары и грабежи. Поляки грабили, казаки грабили, шведы, которых Россия позвала прогнать поляков, грабили, литовцы в компании с поляками и казаками грабили, убивали и выжигали целые деревни. От тех времен в Осташковском районе остались не только лежащие под землей ржавые сабли, каменные ядра, пули и остатки кремневых ружей, но и выражение «литовское разорение», которым осташа до сих пор пользуются точно так же, как мы пользуемся выражением «Мамай прошел».

Между прочим, в 1613 году, когда избирали на Земском соборе нового царя, осташковец Михаил Сивков тоже поставил свою подпись. Может, для москвича или жителя Нижнего Новгорода, которые что ни день, то подписывали самые разные важные бумаги, это было самое обычное дело, а для жителя осташковского посада, который только и делал, что изо дня в день ловил неводом рыбу... Кстати, о ловле рыбы. Промысел этот в Осташкове стал процветать после того, как наступил мир. Осташа были большие искусники плести сети, ковать якоря и рыболовные крючки от самых маленьких до самих больших, шить огромные сапоги для рыболовов, которые так и назывались – «осташа». На них был всего один шов, и пропитаны они были таким водоотталкивающим составом, который целые сутки не пропускал воду. Секреты этих составов берегли в семьях потомственных осташковских сапожников пуще сокровищ. Кому нужны теперь эти драгоценные секреты, когда можно задешево купить любые резиновые сапоги...

Точно так же, как и сапожные секреты, берегли в семьях осташей рассказы рыбаков о пойманных щуках, сомах и знаменитых селигерских угрях. Их передавали от отца к сыну и даже, когда не было сыновей, – женам и дочерям. В Осташкове, в запасниках краеведческого музея собрана единственная в России коллекция записей подобных рассказов, самый первый из которых датируется еще серединой шестнадцатого века. Собственно, это даже не рассказ, а нарисованный углем на бересте пятисантиметровый зуб щуки. Среди рассказов о сорвавшихся с крючка рыбах выделяется записанная первыми пионерами еще в конце двадцатых годов прошлого века леденящая душу история о том, как осташа-рыболова и двух его сыновей на ночной рыбалке опутали усы огромного тридцатипудового сома. И были эти усы толщиной с руку взрослого ребенка. После долгой упорной борьбы рыбак и его сыновья смогли отрубить усы топорами и принести их домой в качестве трофеев. Спустя сутки полутораметровый отрубленный ус, брошенный без присмотра во дворе, задушил насмерть собаку, четырех кур и домашнего хомьяка Пафнутия, случайно выглянувшего на

шум из зернового амбара<sup>3</sup>. Рассказ иллюстрирует карандашный рисунок, на котором отец и сыновья, опутанные сомовьями усами, поразительно напоминают Лаокоона, борющегося со змеями, что говорит... Сами придумаете, о чем это говорит, а мы пойдем дальше<sup>4</sup>.

Говоря о знаменитых осташковцах, никак нельзя обойти Леонтия Филипповича Магницкого – первого всероссийского учителя математики. Правда, Магницким он стал в Санкт-Петербурге, а родился он в Осташкове, в конце семнадцатого века, жил там до пятнадцати лет под самой обычной фамилией Теляшин и был просто способным юношей, любившим читать, интересовавшимся математикой, иностранными языками и богословием. В пятнадцать лет он, как и его, тогда еще не родившийся ученик по фамилии Ломоносов, отправился с рыбным обозом в Москву – с той лишь разницей, что у Михаила Васильевича была за пазухой зачитанная до дыр «Арифметика» Магницкого, а у пятнадцатилетнего Леонтия Теляшина ее еще не было. Можно, конечно, долго и подробно рассказывать, как юноша переходил из Иосифо-Волоколамский монастыря в Симонов, как готовили его монахи к карьере священнослужителя, как попал он вместо этого в Славяно-греко-латинскую академию, как перебивался после ее окончания частными уроками математики<sup>5</sup>, не имея ни пристанища, ни целых штанов, а порой и куска хлеба, но мы делать этого не станем, а сразу начнем со встречи, которую устроили молодому репетитору с Петром Алексеевичем. Царь, не один и не два раза поговорив с Леонтием и поразившись его обширным знаниям в области математики, физики и астрономии... Вы не поверите – велел построить ему дом на Лубянке, пожаловал дворянство, одарил деревнями в Тамбовской и Владимирской губерниях, саксонским кафтаном и фамилией Магницкий, «в сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя»<sup>6</sup>. Впрочем, с деревнями и другими милостями я, кажется, забежал вперед, поскольку сначала была только новая фамилия, назначение преподавателем в Навигацкую школу и возможность написать учебник математики. Первый учебник. И Магницкий его написал<sup>7</sup>. И напечатал его огромным по тем временам тиражом в две с половиной тысячи экземпляров Василий Анофриевич Киприанов, основатель первой в России гражданской типографии, отец которого был родом... из Осташкова. И пользовались этим учебником арифметики, астрономии, физики и навигации полвека, пока один из учеников Леонтия Филипповича не написал новый.

Теперь в Осташкове есть и улица Магницкого, и памятный знак в сквере возле Вознесенского собора, и даже примета у молодых осташковских преподавателей математики – первого сентября на первый урок приходиться с магнитом в кармане. Хотя с холодильника магнетик оторви, но в карман положи, а иначе удачи не будет. Лучшему учителю математики или физики и вовсе вручают раз в год, в виде почетного значка, крошечную красно-синюю подкову, чтобы он носил ее каждый день. Филологи, историки и биологи с химиками общаются, конечно...

Но не будем забегать из восемнадцатого века в двадцать первый, тем более что в восемнадцатом Осташков, по указу Екатерины Великой, родился в четвертый и последний раз. Новгородский губернатор Яков Ефимович Сиверс<sup>8</sup>, очарованный красотой Осташкова и представивший его императрице как селигерскую Венецию, убедил Екатерину даровать городу герб, на котором в виде особой царской милости был изображен «В пересечённом золотом и лазоревом поле вверху – возникающий чёрный двуглавый орел с золотыми клювами и червлёными языками, увенчанный двумя мальми и одной большой российской императорской короной». Внизу, под орлом текла лазоревая река, в которой плыли три серебряные рыбы. Увы, это были не осетры, не стерляди и даже не щуки, а самые обыкновенные ерши, которыми всегда изобиловал Селигер. Осташей иногда так и называли – «ершедами»<sup>9</sup>.

При Екатерине Осташков получил новую, регулярную планировку, да такую удачную, что ее взяли за образец при планировке уездных городов всей империи. Каменные дома, построенные в те годы, еще стоят в Осташкове, и еще живут в них люди. На улице Печат-



никова, напротив Троицкого собора, в котором теперь располагается музей, я видел такой дом с мезонином. В его окнах на широченных подоконниках стояли горшки с фиалками, глоссиниями и растением «декабрист», во дворе на бельевых веревках сушились джинсы и разноцветные футболки точно так же, как двести лет назад сушились тиковые или канифасовые панталоны, а может быть, и яркие, в диковинных цветах сарафаны со множеством больших позолоченных пуговиц.

Конец восемнадцатого и девятнадцатый век – время расцвета Осташкова. В расцветающем Осташкове проездом побывал Александр Первый. Царь въехал в иллюминированный город в два часа ночи под звон всех осташковских колоколов. Жаль только, что всего на день. Одарил городского голову Кондратия Савина и его старшего сына Ивана бриллиантовыми перстнями, дал по пятьсот рублей гребцам на судне, что возило его по Селигеру от Осташкова до Нило-Столобенского монастыря, и укатил в Торжок под неумолкающие крики «Ура!» так быстро, что народ, по словам летописца, «бежал за экипажем Императора до самой заставы и тут, припав на колена, неоднократно восклицал: “Прости, батюшка Государь! не насмотрелись мы на тебя!”»

У Осташкова к тому времени появился даже свой гимн, который написал известный писатель Иван Иванович Лажечников. Со слезами на глазах пели осташковцы: «От конца в конце России ты отмечен уж молвой: Из уездных городов России ты слышь передовой. Славься, город наш Осташков, славься, город наш родной!». В нем появляются духовное и городское училища, музей, богадельня, воспитательный дом, больница, аптека, публичная библиотека, благотворительное общество, общественный банк, общественная добровольная пожарная команда, о которой писали не где-нибудь, а в «Московских ведомостях», общество любителей сценического искусства и даже оркестр при городском театре. Общественная жизнь была в Осташкове ключом. Осташков ставили в пример и вологодской Устюжне, и тверскому Весьегонску, и даже далекому костромскому Кологриву. Вся Тверская губерния, в которую тогда входил город, завидовала черной завистью осташковскому благоустройству. Да что губерния! Из самого Петербурга приезжал известный журналист и писатель Слепцов, чтобы описать удивительный феномен Осташкова. Описал Василий Алексеевич богоугодные заведения, театр, актеров, ухоженный бульвар, перед входом на который был устроен хитроумный лабиринт для того, чтобы не проникали коровы, общественный банк Савина и многое другое. Так описал, что майскую книжку журнала «Современник» за 1862 год с письмами Слепцова из Осташкова городская публичная библиотека и брат не захотела, хотя подписка на журнал у нее имела. Журнал был в городе запрещен. Мало того, в городе было проведено расследование с целью выявить тайных информаторов Слепцова и наказать их за слишком длинные языки. Особенно негодовал городской голова Федор Кондратьевич Савин, по совместительству купец первой гильдии, миллионер, владелец кожевенного завода, главный акционер общественного банка и вообще осташковский маркиз Карабас, поскольку ему принадлежало в городе... да, кроме Селигера и облаков в небе над Осташковым, почитай, все и принадлежало. Папенька Федора Кондратьевича Кондратий Алексеевич, тоже купец первой гильдии, миллионер и, конечно же, городской голова, еще при Александре Первом учредил в Осташкове один из первых в России частных банков. И стал банк давать кредиты осташковским промышленникам, купцам и просто мещанам. Кто брал на зарплату рабочим, кто на заведение собственного дела, а кто и на покупку совершенно необходимого нового платья, лисьей шубы или устройства свадьбы единственной дочери. Тех, которые брали на платье, шубу или свадьбу, было, понятное дело, гораздо больше тех, которые на зарплату рабочим. Небольшие кредиты банк давал охотно. Кабы существовали тогда мобильные телефоны, то не миновать получать осташковцам что ни день сообщения, что им одобрена кредитная линия на десять или даже на двадцать рублей под невообразимо низкий процент. Была, однако, небольшая, но очень существенная разница между теми кредитами и нынешними. Полтора века назад должников банка без разговоров отдавали на осташковские фабрики и заводы, которые

большей частью принадлежали... Федору Кондратьевичу Карабасу и его родственникам. Часто бывало так, что должники эти работали, работали, работали, а долг их все не уменьшался, не уменьшался и не уменьшался. Ну, что тут долго рассказывать. Сами все знаете. Или, не дай Бог, еще узнаете. Лучше я вам про осташковскую пожарную команду расскажу, которая была создана еще в 1843 году.

Как и многое в Осташкове, она была первой. Первой добровольной непрофессиональной пожарной дружиной в России, главным спонсором и начальником которой был... сюрприз, сюрприз! – Федор Кондратьевич Савин. Сначала как городской голова, а потом как попечитель с полномочиями, переданными ему от города. Это при нем ее личный состав вырос от полусотни до полутора сотен пожарных, это при нем приобрели новые заливные пожарные трубы и насосы, построили каланчу, которая стоит до сих пор, это при нем каждому пожарному перед выездом на пожар или во время дежурства на каланче вместе со сверкающей медной каской стали выдавать преогромные, закрученные вверх и черные, как смоль, усы, а для хождения по улицам форменные фуражки с галуном. Пожарным с десятилетним стажем выдавалась на фуражку кокарда, на которой был изображен серебряный ерш в языках пламени. Федор Кондратьевич всегда лично присутствовал на пожарах и руководил их тушением. Он и умер от сердечного приступа при тушении ночного пожара в 1890 году, а через три года после этого Осташков праздновал полувековой юбилей пожарной команды и даже отчеканил серебряную медаль в честь этого события. В одном из залов краеведческого музея висит на стене дозволенный цензурой текст праздничной песни Осташковской Общественной Пожарной команды, датированный первым января 1877 года. Куплетов в праздничной песне бесчисленное количество и после каждого припев: «Пейте-ж дружнее – больше вина! Залпом смелее – чарку до дна!» По части «залпом смелее» с осташковскими пожарными мало кто мог сравниться. Памятная книжка Тверской губернии за 1860 год описывает пожар, случившийся на каком-то из небольших осташковских кустарных заводиков. Бравые пожарные так быстро его потушили, что члены городской Думы, тоже присутствовавшие на пожаре, решили с материальным вознаграждением не тянуть, а выдать его тут же, немедленно. И выдали. Не отстал от думцев и хозяин спасенного заводика. Денег он не дал, но щедро угостил героев хлебным вином. В тот момент, когда уже начали пить из касок за здоровье новорожденных... или новобранцев, и у некоторых членов команды стали отклеиваться черные, закрученные вверх усы, прибежал человек, сообщил, что на соседнем с городом острове загорелась изба. Мгновенно личный состав вскочил в первые попавшиеся на берегу озера лодки и без весел (sic!) доплыл до острова, а там голыми пьяными руками раскидал по бревнышку горящую избу и прекратил распространение пожара.

Если осташковской пожарной команде сто семьдесят один год, то народному театру и вовсе больше двухсот. Сначала театр помещался в здании бывшего кожевенного завода, который принадлежал кому-то из купцов Савиных, а уж в бытность Федора Кондратьевича Савина городским головой здание было перестроено специально для театра, был организован театральный оркестр, и супруга Савина – известная русская актриса Прасковья Ивановна Орлова-Савина, блиставшая на сценах Малого и Большого театров... Нет, Савин женился на ней не ради того, чтобы она занималась общественным театром. ~~С него стало~~ ~~бы:~~ Он просто влюбился в нее без памяти, предложил руку и сердце, и ради Федора Кондратьевича Прасковья Ивановна оставила большую сцену, перебралась в Осташков и стала ведущей актрисой местного театра. Благодаря ей, в Осташкове еще раньше, чем в самом Петербурге, была поставлена без всяких цензурных сокращений пьеса «Горе от ума», и это при том, что для провинциальных театров она была запрещена до 1863 года. Ее и сейчас по праздничным и торжественным датам дают на осташковской сцене. Пока цензура смотрит на это сквозь пальцы...

Вообще можно подумать, что Савин только и делал, что был городским головой, руководил тушением пожаров и обустроивал общественный городской театр. На самом деле

Федор Савин, как и его братья Иван и Степан (тоже, кстати, городские головы), никогда не оставлял без присмотра своих кожевенно-юфтовых заводов, выделявавших кожу такого высокого качества, что золотых, серебряных и бронзовых медалей, полученных на выставках в Европе и Америке хватило бы не на одну грудь, хоть бы и очень широкую. И поставлялась эта кожа, кроме России, в Европу, Америку и даже в Африку. Между прочим, только из осташковских кож шились фирменные сапоги для матросов Британского Королевского флота. Для транспортировки кож Иван Кондратьевич Савин даже создал собственный флот. Для нужд кожевенного производства были организованы чугунно-литейный и газовый заводы, а также банк, в должниках у которого...<sup>10</sup>

Династия Савиных настолько эффективно управляла своими предприятиями и обладала таким авторитетом в городе и среди рабочих-кожевников, что и после национализации семнадцатого года последний из Савиных (владелец завода) – управлял заводом (хоть и под строгим присмотром новых властей) еще одиннадцать лет!

Осташковский кожевенный завод и теперь, когда ему уже без малого триста лет, работает. Выпускает какие-то несусветные миллионы квадратных метров гладкой, тисненой, матовой и блестящей кожи высочайшего качества для обуви, для обивки автомобильных салонов и для всего того, что можно из этой кожи сделать. Почти вся эта кожа уезжает и уплывает туда, куда уплывала и уезжала при Савиных – за границу. Только теперь к Европе и Америке добавилась Юго-Восточная Азия. Осташкову остаются налоги и зарплата рабочих, а Селигеру – химические отходы производства, которые, понятное дело, изо всех сил очищаются, но... Отделений банков в городе теперь много и разных, только Осташкову от этого... Обветшал Осташков, спала с его лица старая штукатурка и обнажила где кирпич, а где и трухлявое дерево. «Уделали город в хлам», – сказал мне один из местных жителей. Обветшал и Троицкий собор<sup>11</sup> семнадцатого века, в котором находится краеведческий музей. Приезжал как-то в музей тверской губернатор. Просто так приезжал – на экскурсию. Директор музея рассказал, что перед экскурсией всех предупредил лично, чтобы вопросов ему не задавали. Мол, и так он все знает. Ему и не задавали. Я тоже не стал спрашивать у директора<sup>12</sup>, какой из губернаторов приезжал – нынешний или тот, что был перед ним. Таких губернаторов, которые любят, чтобы им задавали вопросы, у нас отродясь не было. Да и когда еще будут...

Не будем, однако, о грустном. Будем об интересном. К примеру, о знаменитом осташковце Владимире Николаевиче Адрианове, который еще в 1907 году сконструировал первый российский армейский компас с фосфоресцирующей подсветкой. Не было такого мальчика в моем детстве, который не мечтал бы выйти во двор с таким компасом на руке. Не было такого мальчика, который, надев этот компас, не становился бы сразу капитаном корабля или отважным путешественником, пробирающимся сквозь джунгли Амазонки. Кроме компаса, Владимир Николаевич изобрел артиллерийский прицел, был выдающимся военным топографом, одним из авторов первого атласа СССР и, наконец, автором советского герба. Земной шар в центре герба – это его изобретение. Мало кто знает, что поначалу это был глобус Осташкова, и контуры морей и океанов удивительным образом напоминали контуры озера... Ну, ладно. Насчет глобуса Осташкова и контуров озера я, конечно, присочинил, но все остальное – чистая правда. Адрианов прожил в Осташкове последние три года своей жизни. Не любил он ни Петербург, ни Москву, из которых долгие годы не выпускала его служба, а вот в Осташков влюбился с первого взгляда. Как когда-то Федор Кондратьевич Савин в прекрасную Прасковью Ивановну Орлову. Влюбился, купил себе половину дома и стал там жить, неторопливо и тщательно оформляя первый том Большого советского атласа мира, в котором столица нашей родины Осташков...

Или вот другая правдивая история об острове Городомля, расположенном на озере в нескольких километрах от Осташкова. Сразу после войны привезли на него полторы сотни пленных немцев-ракетчиков с семьями – баллистиков, термодинамиков, аэродинамиков и гироскопистов. Привезли даже главного специалиста Третьего рейха по радиоуправлению

ракетами и электронике, заместителя Вернера фон Брауна, Гельмута Греттруппа. Стал коллектив Филиала №1 НИИ-88 (так незатейливо называлась эта секретная контора) разрабатывать гироскопы для ориентации ракет, ракетные двигатели, электронику и множество других винтиков, гаечек и трубочек, из которых состоят ракеты. Немцы по собственной инициативе разработали даже проект баллистической ракеты с огромной боеголовкой весом в тонну, которая могла пролететь две с половиной тысячи километров... Вот только строить и испытывать ее на острове Городомля было не с руки. Не было экспериментальной базы. Да и Королеву, который в это же время строил нашу баллистическую ракету, немецкая, хоть и была нашей, тоже была не с руки. Ни с правой, ни с левой. Ходу немецкому проекту не дали. Военные сказали, что ракету на спирту запустить будет невозможно. Задача охранять топливо перед стартом. Кто-то и вовсе пустил слух, что немцы на этой ракете собираются улететь на Марс и там... У жены одного из специалистов по рулевым машинам нашли карту-схему марсианских каналов еще с грифом главного управления имперской безопасности... Короче говоря, карту конфисковали, немцев в пятьдесят третьем году собрали и отправили в ГДР, а производство гироскопов осталось и успешно работает по сей день. По сей день и остров Городомля огорожен колючей проволокой, и пройти на него можно лишь через специальное КПП. Гироскопы, между прочим, отличного качества, и если кое у кого ракеты через раз падают или вовсе летят не в ту сторону, то гироскопы предприятия «Звезда» здесь ни при чем. Просто кое у кого руки растут... Короче говоря, их надо тщательно выпрямлять и мыть перед тем, как производить сборку, поминутно сверяться с чертежом, а не картой-схемой марсианских каналов.

В Осташкове есть и еще один военный завод под названием «Луч». Выпускает он не лучи боевого применения, как можно было бы подумать, а отличные танковые шлемофоны. Между прочим, единственный завод такого рода в России и странах Ближнего зарубежья. Кроме кожевенного, гироскопического и шлемофонного заводов, в городе есть еще швейная фабрика, маслозавод, рыбный завод «Селигер» и... все. Все, что не обувные кожи, гироскопы, шлемофоны, не швейная фабрика, не маслозавод, не сам Осташков, – есть озеро Селигер с бесчисленными островами и еще более бесчисленными туристами под каждым кустом на суше и под каждой кувшинкой в воде. В городе такое количество приезжих рыбаков, что лавки по продаже мотыля, опарыша и живца работают круглосуточно. На вопрос «Клюет?» вам ответит не только любой остах или осташиха, но даже и грудной ребенок прочмокает губами, на которых не обсохло молоко: «Клевало, пока ты не пришел». Даже галки и вороны, сидящие на набережной нет-нет да и каркнут московскому пижону с навороченным спиннингом из углепластика, что судака или щуку надо ловить на живца, а не на манку. На манку можно поймать только пенсионера или, если повезет, подлесика.

Но не только рыбалкой знаменит Селигер. Если сесть на кораблик, отходящий от пристани речного вокзала, или нанять недорого моторную лодку<sup>13</sup>, то через каких-нибудь пятнадцать или двадцать минут путешествия по воде и облакам можно увидеть, как из озера вырастают золотые купола церквей и колоколен Ниловой пустыни, расположенной на острове Столобный. Можно, конечно, причалить к мосту, который соединяет остров с материком, и броситься, как и все, покупать копченого угря, судака, сувенирные пивные кружки с надписью «Нилова пустынь», потом лезть на высоченную колокольню Богоявленского собора и оттуда смотреть на прекрасный Селигер, на острова, заросшие соснами, на рыбные садки, на букашечных паломников, вползающих в монастырь... а можно найти пилота пришвартованного к берегу гидромотодельтаплана, заплатить ему две тысячи рублей, надеть спасательный жилет, шлем, взять в руки фотоаппарат и взлететь. На высоте птичьего полета, собравшись с духом, оторвать сначала правую руку от какой-то трубки, в которую она вцепилась, потом левую от другой трубки, нажать на кнопку, потом еще нажать, быстро схватиться за спасительные трубки руками и вдруг заметить, что крышечку с объектива не снял. После этого еще раз оторвать обе руки вместе с пальцами от трубок,

снять крышечку, посмотреть в видискатель и понять, что эту красоту сфотографировать невозможно, да и незачем. И захочешь забыть, а не получится.

<sup>1</sup> Есть в тех краях и еще одно село под названием Кравотынь. Предание говорит, что татаро-монголы в этом селе уничтожили всех и их отрубленные головы насадили на частокол. Получился кровавый тын или Кравотынь.

<sup>2</sup> В 1922 году медленно запрягавшие потомки Евстафия и Тимофея наконец-то назвали две улицы в их память – Евстафьевская и Тимофеевская.

<sup>3</sup> Теперь селигерских сомов днем с огнем не найти, но местные торговцы копченой рыбой их продают на каждом углу. Продают даже терпуга, который и вовсе океанская рыба. Впрочем, отдыхающие берут и терпуга. Они и копченые сети с копчеными удочками съедят. Особенно когда мешают пиво с водкой.

<sup>4</sup> Добавим только, что в Осташкове есть еще и музей рыбы, в котором собраны разнообразные сети, верши, мережи, кораблики и удочки. Рыболовных рассказов там и в помине нет, но вам покажут заспиртованный щучий глаз размером с кулак взрослого ребенка и расскажут, что второй глаз не уберегли от чаек, а сама щука имела такие огромные зубы... Если приглядеться, то на задней стороне этого фарфорового, искусно расписанного глаза по-немецки мелко-мелко написано «Этим щучьим глазом мастер Крамбс начинает коллекцию глаз хищных речных рыб по заказу кафедры зоологии университета г. Санкт-Петербурга. 1865 г.» При этом вам, само собой, дадут понюхать для пушей убедительности спирт из банки с глазом.

<sup>5</sup> Все могло быть еще хуже, если бы по указу царя Федора Алексеевича в конце семнадцатого века не запретили обучаться дома у иностранных учителей. Власти, как это обычно с ними у нас бывает, боялись тлетворного влияния на мальчишек и девчонок западных ересей. Их родители тоже боялись. И ересей и властей. Вот тут-то Леонтию Теляшину фортуна и улынулась.

<sup>6</sup> Представляете себе Государя, президента, премьер-министра, спикера парламента, способного оценить энциклопедическую полноту математических, астрономических и физических знаний собеседника? Я тоже не представляю.

<sup>7</sup> Не хотел я об этом говорить, но... из песни слов не выкинешь. Магницкий написал не только учебник. Он еще написал памятную записку по делу Дмитрия Тверитинова. Жил такой сторонник протестантизма в Москве одновременно с Магницким. Неоднократно спорил с ним Леонтий Филиппович. Однажды одиннадцать часов кряду длился их богословский диспут. И даже победил Магницкий Тверитинова, а после победы... взял, да и написал записку члену канцелярии Сената графу Мусину-Пушкину о еретике Тверитинове и его единомышленниках. С одной стороны, это, конечно, записка, а с другой, как считают некоторые историки..., получился натуральный донос. Мусин-Пушкин поначалу хотел дело замять, считая его несерьезным, но Магницкий настаивал и даже принес собственноручно составленный список тетрадей Тверитинова. Правда, царь благоволил лютеранам, и все ограничилось церковным покаянием для обвиняемых. Приняли их обратно в ряды православных и отправили замаливать грехи в московские монастыри. Даже не сослали в подмосковные, не говоря о Соловках. Только одного, Фому Иванова, который, как доносил Магницкий, «улучив своей злобе час удобный, взял с собой в церковь, под одеждой утаив, нож железный великий, которым лучину щепают, просто именуемый косарь, и уединясь еретическому злобному духу, ему помогающему, начал ругать образ святого Алексея митрополита, стоящий при его раке», за такое, с позволения сказать, иконоборчество прилюдно сожгли заживо в деревянном срубе на Красной площади. Сожгли бы заодно и все документы по этому делу. Ни к чему знать эти подробности о Магницком. Нам хватило бы и учебника арифметики.

<sup>8</sup> Осташков входил тогда в Новгородскую губернию.

<sup>9</sup> Когда в 1878 году вновь открытая земская почта Осташкова выпустила почтовые марки с городским гербом, то оказалось, что один из ершей на гербе плывет в противоположную двум другим сторону. За такую марку настоящий, сошедший с ума на почве собирания марок филателист отдаст все, что можно. И что нельзя тоже отдаст.

<sup>10</sup> Справедливости ради надо сказать, что банк пожертвовал только за первые полвека своего существования около ста шестидесяти тысяч рублей на городское благоустройство. Сумма для девятнадцатого века и такого небольшого городка, как Осташков, более чем значительная.

<sup>11</sup> На одном из ярусов колокольни Троицкого собора устроено что-то вроде небольшой выставки фотокопий документов, рассказывающих об оставшковских колоколах. Уж как и почему туда затесалась фотография первой страницы герценовского «Колокола», я не знаю, а привлек мое внимание рисунок пятисотпудового колокола Троицкого собора. Провисел он на колокольне тридцать лет и в 1838 году треснул «от безрассудно производимого звона в Пасхальную неделю». Как говорится, пошли дурака Богу молиться – он не только лоб, но и колокол расшибет... К чести оставшковцев, они перелили этот колокол с прибавкой к нему двухсот восьмидесяти пудов.

<sup>12</sup> От директора музея услышал я и о знаменитом оставшковском рецепте постных щей со сметками. Снеток, как известно, есть озерная форма корюшки и точно так же пахнет свежими огурцами. В этом смысле именно жители Осташкова, а не Твери, как можно было бы подумать, чувствуют себя культурной столицей Тверской губернии. Селигерский же снеток, вылавливаемый в районе Осташова, хоть и меньше петербургской корюшки, но, в отличие от последней, обладает гораздо большими и очень выразительными глазами. Точно так же, как и грибы в Рязани. Побывать в Осташкове и не поесть щей, не заглянуть в глаза снетку...

Но вернемся к рецепту. Для щей необходим сушеный снеток и квашеная капуста. Капусту несколько часов томят, а снеток предварительно замачивают в воде... Квашеной капусты у меня не было. Ну какая, спрашивается, квашеная капуста в середине июня. К середине июня вся молочная кислота, которая придает ей приятную кислинку, превращается в серную. Снетка мне тоже не удалось купить. Отчего-то в тот день, что я был Осташкове, им не торговали. Зато была в изобилии свежая вобла. Пахучая и мягкая, в собственном рыбьем жиру. И я решил свернуть в сторону от проторенной оставшковцами кулинарной дороги.

Самое сложное в моем рецепте – очистить от чешуи, костей, внутренностей несколько рыбин и не съесть их. Особенно если они с икрой. Непосредственно перед очисткой и потрошением воблы необходимо, от греха подальше, вынести из дома все пиво. Все остальное просто. Очищенные спинки воблы бросаем в кастрюлю с холодной водой на полчаса. Свежую капусту и картошку нарезаем, как для обычных щей. Отдельно пассеруем репчатый лук, морковь и помидоры. К ним же, слегка обжаренным, добавляем ложку муки и немного поджариваем. В кипящую воду бросаем капусту, картошку и спинки воблы, вытасенные из соленой воды. Чуть позже туда же отправляются пассерованные лук, морковь, помидоры и свежий сладкий, нарезанный соломкой болгарский перец. Для полноты картины прибавляем душистый перец горошком, немного черного жгучего и только что сорванный с грядки, мелко нарезанный укроп, за которым посылаем на огород поднятую по тревоге жену. После этого варим щи еще одну или полторы минуты, газ выключаем, кастрюлю накрываем крышкой и нетерпеливо ходим вокруг нее где-то около часа, а лучше двух, мешая щам настаиваться. Через полчаса, не выдержав, открываем крышку, зачерпываем половником красную дымящуюся гущу с кусочками воблы, подставляем под половник глубокую тарелку, наливаем, добавляем столовую ложку деревенской сметаны...

Другой на этом месте и на голубом глазу рассказал бы вам, что язык можно проглотить, что ароматный пар щекочет ноздри до изнеможения, а я вам скажу чистую правду. Не горькую, но совершенно невкусную. Щи получились именно те, о которых у нас говорят – ни рыба, ни мясо. Их только в пост и есть, чтобы без всякого удовольствия. По правде говоря, я это понял еще тогда, когда добавил к щам болгарский перец. Просто не хотел заранее расстраиваться. Потому и велел жене срочно принести из огорода побольше укропа, чтобы убить запах воблы и рыбьего жира в щам. Нет, конечно, щи почти не пахнут воблой, но рыба превратилась в какой-то разваренный слабосоленый хек или даже минтай... Одно меня утешало – воблу я извел не всю, а несколько бутылок темного английского эля предусмотрительно убрал в подвал. Хотя... если бы жена принесла из огорода побольше укропа и сделала бы это быстрее и при этом не показывала бы всем своим видом, что ничего у меня не получится...

<sup>13</sup> Шкипер моторной лодки «Крым», атлетического сложения мужчина по имени Славик, рассказал, что с работой в Осташкове не очень. За восемь тысяч в месяц на кожевенном заводе ему горбатиться неохота и потому промышляет он катанием туристов по Селигеру и рыбалкой. Выгоднее получается. Ловят они... не на удочку. Прошлым летом поймал Славик полтора центнера угря. Пойманную рыбу местные жители морозят и по мере надобности размораживают и



коптят. Так что и в январе вам предложат и копченого угря, и судака, и жереха с лещом. Правда, в этом году с угрем плохо. То ли кожевенный завод что-то слил, то ли еще что, но уловы плохие. За два месяца едва-едва десять килограмм набралось. Зато он заработал денег на строительстве очередного цеха на острове Городомля, где делают военное известно что для известно чего. Оно бы, конечно, можно и в Москву поехать на заработки и заработать несусветных деньжищ, но там нет ни Селигера, ни сосен, ни озер, ни островов, ни угря, ни...

### **Кувшиново**

Часто сетуют, что наш турист скорее поедет в Турцию или в Египет, а не в Кострому или в Вологду, не говоря о Кологриве или Кинешме. Я и сам сетую, что греха таить. Если же посмотреть со стороны туриста... К примеру, собрался я поехать в тверскую губернию – в Кувшиново. В Кувшиново замечательный музей, там родина Ожегова, нашего Даля в третьем поколении, там Горький жил и писал свой роман «Жизнь Клим Самгина», в кувшиновском районе родовое гнездо анархиста Бакунина. Места хоть и не у всех на слуху, но, без сомнения, интересные, и, как говорят, удивительно красивые.

Туристу перед поездкой нужно иметь уверенность, как минимум, в двух вещах – в ночлеге и в культурной программе. Я начал с культурной программы. Нашел в сети телефон кувшиновского музея, чтобы договориться об экскурсии заранее. Это ведь не Москва или Петербург, где все открыто в указанные часы и всегда можно взять экскурсовода. В провинции надо обо всем договориться заранее, иначе может так случиться, что как раз в день вашего приезда экскурсовод будет сажать картошку или полоть огурцы. Его тоже можно понять. На зарплату сотрудника провинциального музея только своими огурцами и питаться. День я звоню, другой звоню... не отвечает музей Кувшинова. Звоню в Тверь, в объединенный государственный музей. Вдруг телефоны, которые я нашел в Интернете, неправильные. Телефона кувшиновского музея в Твери не знают. Он не областного подчинения, а принадлежит то ли Каменской бумажной фабрике, то ли городу. Звоню в городскую администрацию. Рассказываю им, что нашел в сети страничку этого музея и даже телефон, но он не отвечает... Не отвечает, разорви его звонок. В администрации мне говорят, что телефона музея они мне дать не могут, поскольку у него их нет, но они точно знают, что музей находится в здании местного Центра Досуга и дают мне телефон вахты этого центра. Уж на вахте-то точно знают... Может, и знают. Может, и сказали бы, но... не берут трубку. И даже автоматическим голосом говорят, что невозможно установить соединение. Снова звоню в Тверь и умоляю их дать телефон если не музея, то хотя бы того, кто может знать сотрудника этого музея. Добрые люди в объединенном тверском государственном музее дают мне телефон заведующей отделом культуры города Кувшиново. Все же это отдел культуры, а не отдел бухгалтерского учета. Наверняка она знает... Не знает, но обещает узнать и перезвонить или написать. Берет адрес моей электронной почты и номер телефона. Ну, это уже какая-то зацепка. На радостях думаю заказать гостиницу в Кувшинове. Там их всего две. В ту гостиницу, которая называется «Гостиница», я решил не звонить. Видал я не раз такие провинциальные гостиницы с такими названиями. Как правило, удобства в них одни на весь этаж. Или на два этажа. Стал звонить в другую, которая на картинке в Интернете выглядела поприличнее. Раз звоню, другой, пятый... На шестой раз трубку подняла старушка и сказала, что нет по этому номеру никакой гостиницы, и никогда не было, и не будет. Но звонят многие, да. Хотят поселиться... Ничего им не светит, и не поселятся они никогда, пока она жива. Стал звонить в гостиницу «Гостиница». Там на удивление быстро подняли трубку и сообщили, что номера есть, но с удобствами, как я и предполагал, есть проблемы. У них гостиница экономическая. Типа три звезды, но такие маленькие, что их можно увидеть только в телескоп. Зато они мне рассказали, что та гостиница, в которую я звонил, давно закрылась, и у них теперь есть новая гостиница с названием «Каменка». И гостиница «Гостиница» любезно поделилась со мной телефоном

своих конкурентов. Действительно, в новой гостинице есть удобства в номере и Интернет, и даже завтраки за две сотни рублей с носа.

Заказав номер в гостинице, я стал с удвоенной силой звонить начальнице кувшиновской культуры, которая мне обещала прислать телефон музея. Телефон ее не отвечал. И не отвечал еще полторы недели, пока начальница не вернулась из Турции, отдохнувшей и загоревшей, чего я по телефону, конечно, не видел, но догадался по голосу. Она рассказала мне, что в Центре досуга, в котором находится музей, отключили все телефоны за неуплату, но она мне даст аварийный телефон, по нему можно позвонить и узнать, как найти хранителя музея. Я тут же позвонил по этому номеру, и там ответили..., что хранитель музея работает на полставки и сегодня его не будет, но если я позвоню завтра, с утра пораньше, то его попробуют разыскать и подвести к телефону. И на завтра его подвели и... оказалось, что он в пятницу уходит в отпуск, а я приеду лишь в субботу. К счастью, сотрудники провинциальных музеев очень отзывчивые люди. Им достаточно услышать в голосе собеседника интерес – и они придут рассказывать о музее хоть ночью. Через две минуты мы обо всем договорились.

Двух недель мне хватило, чтобы заказать гостиницу и договориться с музеем. Воля ваша, но я не знаю, как надо ненавидеть Турцию или Египет, не говоря об Италии, чтобы поехать не в Анталию или Рим, где все включено, а в Кувшиново или Солигалич, где все выключено, да еще и по разбитым на мелкие осколки дорогам. Язык не поворачивается на это сетовать.

Вот вы думаете, что предисловие я изрядно затянул. Правильно думаете. Но вы всего лишь прочли страничку текста, а я две недели каждый день звонил то в Тверь, то в Кувшиново. Могло у меня накипеть? Еще как могло... Ну, ладно. Пора нам ехать в город Кувшиново, который и городом-то стал лишь в тридцать восьмом году прошлого века, а до этого без малого триста лет был селом Каменка Ржевского уезда. Начиная с середины семнадцатого века, и был. Про первые полтора века существования Каменки рассказывать нечего, а вот про вторые стоит рассказать подробно.

В конце восемнадцатого века Каменку у князя Юсупова приобрел помещик из Торжка отставной майор и коллежский асессор Василий Петрович Мусин-Пушкин. Сначала Василий Петрович построил в Каменке две мукомольные мельницы и винокуренный завод, в 1799 году основал бумажную фабрику. Тут все получилось в рифму – и фамилия Пушкин, и год рождения Александра Сергеевича, и даже то, что фабрика стала производить бумагу. Ну, может быть, фабрикой это кустарное, полностью ручное производство, на котором два десятка крепостных крестьян обрабатывало барщину, было называть еще рано, но в свидетельстве о рождении у фабрики записан именно 1799 год. Производила эта фабрика из тряпок, льна, рогожи, соломы и древесины синюю бумагу, в которую заворачивали сахарные головы. Именно в такую бумагу была завернута жареная курица коллежского советника Павла Ивановича Чичикова при въезде его в губернский город NN.

Прошло еще тридцать лет, и на фабрике уже работало сорок пять человек. Все так же делали они из тех же тряпок, рогожи и соломы ту же самую синюю бумагу для сахарных голов, которая продавалась в близлежащих Торжке, Осташкове и Вышнем Волочке. Форма сахарных голов тоже не претерпела изменений, а вот Василий Петрович, которому к тому времени было уже за шестьдесят, так устал от хозяйственных хлопот и болезней, что взял... да и отдал Богу душу. Сначала фабрика досталась его наследнику, поручику Благову, а потом пошла по рукам и по ним добралась до генерал-майора корпуса жандармов Леонтия Васильевича Дубельта. Руки у Дубельта хотя и были, как и полагалось жандарму, длинными и загребущими, но до фабрики поначалу не доходили, а как дошли, то... Скорее всего, это были руки его жены, Анны Николаевны, женщины предприимчивой и хозяйственной. Так или иначе, а фабрика была переоборудована, оснащена паровым двигателем и заграничными машинами. Анна Николаевна подарила фабрику своему старшему сыну – Михаилу. Тот, хоть и был генералом, но в карты любил играть больше, чем в солдатики,



и в одночасье проиграл фабрику князю Трубецкому, который недогнувшей рукой убил бубновым тузом пиковую даму Дубельта. Петр Никитич Трубецкой через несколько лет, в 1869 году, продал фабрику, на которой к началу семидесятых годов девятнадцатого века работало уже около полутора сотен человек, московскому купцу Михаилу Гавриловичу Кувшинову, крупному писчебумажному торговцу. Фабрике, впервые после Василия Петровича Мусина-Пушкина, наконец-то повезло – она попала в хорошие и надежные руки.

Еще дед Михаила Гавриловича Кувшинова, перебравшийся в Москву из Торжка, торговал бумагой. В семье Кувшиновых так любили и уважали бумагу, что за слова «бумага все стерпит» запросто могли отказать от дома. Кувшиновы были в самом хорошем смысле этих слов «бумажные души». Как только Михаил Гаврилович купил фабрику у князя Трубецкого, а купил он ее вместе с прилегающими тремя тысячами десятин земли, началось расширение производства и перевод его на современные рельсы. Была куплена первая в истории фабрики бумагоделательная машина, привезены из Англии и Германии шесть паровых машин, и в технологию производства бумаги пришла большая химия, к большому, надо сказать, огорчению небольших речек Осуга и Негочь, в месте слияния которых стояла и стоит до сей поры фабрика. Кроме оберточной стала вырабатываться печатная и писчая бумага. И как вырабатываться! Семьдесят тысяч пудов бумаги в год производила Каменская бумажная фабрика. Для продажи этой бумаги по всей России и даже за ее пределами в Москве был основан Торговый Дом и, чуть позже, акционерное общество «Писчебумажное фабрично-торговое товарищество» с миллионным капиталом.

Михаил Гаврилович не только продавал бумагу, но и сам, на досуге, любил создавать ее новые сорта. Так он разработал специальный сорт писчей бумаги, изготовленной исключительно из конопляных волокон. Буквы в словах, написанных на листе такой бумаги, через самое непродолжительное время падали, валялись и даже расплзались вместе со словами и сами по себе по разным углам листа.

Модернизация производства дала свои результаты. Высокое качество кувшиновской бумаги было отмечено серебряной медалью на Всероссийской выставке в 1882 году и через четыре года золотой на выставке в Нижнем Новгороде.

Все это скучные технические и бумажные подробности, скажет читатель. Со стороны, может, и скучные, но представьте себе бумагоделательную машину длиной в два футбольных поля и шириной в шесть метров, представьте железный грохот и шипящие струи пара, кучевые облака под высоченным, невидимым с земли, потолком цеха, вращающиеся без устали сверкающие стальные цилиндры, которые уплотняют, высушивают и разглаживают бесконечную белоснежную бумажную массу, представьте бесчисленное множество вентиляторов, рычагов, ручек, штурвальных колес, тяжелых маховиков, ременных передач и дрожащих стрелками манометров, представьте солидных, усатых мастеров в кепках и жилетках, вихрастых чумазых мальчишек, стремительно бегущих по цеху с огромными гаечными ключами и криками «Каландр заклинило! Мефодий Степаныч приказали, чтоб сей момент шли...», угрюмых рабочих в промасленных кожаных фартуках, отвечающих сквозь зубы: «А не пошел бы он сам, если такой умный...» Вот после того, как представили, и говорите, что скучно. Хотя бы каландр представьте...

После смерти Михаила Гавриловича дело в свои руки принял его сын, Сергей Михайлович. Тут случился пожар, уничтоживший часть производства и рабочего поселка. К счастью, фабрика была застрахована на очень большую сумму. На эти деньги Кувшинов-младший стал строить новые, кирпичные корпуса и построил, и стал производить бумагу, но... случилось новое несчастье. В 1894 году Сергей Михайлович утонул в Черном море во время гибели парохода «Владимир», на котором он вез из Англии новое оборудование для фабрики. Остались владеть фабрикой его вдова Елизавета Максимовна, бывшая директором правления Товарищества, и дети Юлия, Татьяна и Сергей. Нет, не вдова стала управлять фабрикой и не сын Сергей, а дочь Юлия Михайловна Кувшинова. Почти четверть века, до самой национализации восемнадцатого года, эта женщина стояла у руля фабрики. Семьи

и детей у нее не было, и правильно будет сказать, что и фабрика, и все, кто на ней работал, и были ее семьей и ее детьми. В 1938 году поселок Каменное по просьбе рабочих и служащих Каменской бумажной фабрики был переименован в город Кувшиново в память о Кувшиновых, и прежде всего о Юлии Михайловне. Факт, конечно, малозначительный с точки зрения сегодняшнего дня, но это только на первый, можно сказать, близорукий и невнимательный, взгляд. Представьте себе тридцать восьмой год. Ленинград вместо Санкт-Петербурга, Горький вместо Нижнего, Киров вместо Вятки, Сталинград вместо Волгограда и даже, прости Господи, Кагановичабад где-то в Средней Азии. И на этом фоне маленькое Кувшиново, переименованное в честь классовых врагов пролетариата, капиталистов Кувшиновых, по многочисленным просьбам этого самого пролетариата. Вот вам и факт...

Вернемся, однако, во времена правления Юлии Михайловны. К началу двадцатого века фабрика производила уже полмиллиона пудов бумаги в год, и все эти полмиллиона везли на подводах в Торжок, на промежуточные склады, а уж из Торжка по всей России и за границу. Обратно в Каменное на тех же подводах везли почту, пассажиров и разные грузы для фабрики. На время распутицы доставка бумаги в Торжок прекращалась на целых полтора месяца. Хочешь не хочешь, а надо было строить железную дорогу из Торжка в Каменное. Фабрика к тому времени стоила восемь миллионов рублей. На деньги от ссуды, полученной под ее залог, и стали строить дорогу. Пять лет, три моста, семь железнодорожных станций, вокзал в Каменном – все это и сейчас, через сто с лишним лет, работает и не просто работает, а работает в том самом виде, в котором и было устроено. Мало где на российских железных дорогах, а, может быть, и вовсе нигде, кроме как на участке Торжок – Каменное, сохранились семафоры, жезловая система, деревянные шпалы, засыпанные песком, деревянные переездные шлагбаумы, ручные стрелки, дежурные по станциям, передающие и принимающие жезлы у помощников машинистов поездов... Заповедник, да и только. Двукрытый семафор с участка Кувшиново – Щербово даже хранится в музее вагонного депо «Москва». Сначала участок дороги не реконструировали потому, что денег не было, а потом Всероссийское общество любителей железных дорог упростило начальство Октябрьской железной дороги этого не делать, чтобы не нарушать такую старинную красоту. Поезда теперь здесь ходят редко. Чаще приезжают киношники снимать сцены каких-нибудь средневековых железнодорожных погонь или встреч Анны Карениной с Вронским на ночном перроне под шум частых, тяжелых и одышливых вздохов паровоза «Овечка».

Жизнь рабочих с приходом Юлии Кувшиновой на фабрику сильно изменилась. Для них было построено несколько двухэтажных кирпичных домов, в одном из которых кувшиновцы живут до сих пор. Стали выплачивать ежегодные премии рабочим и служащим, проработавших на фабрике более пяти лет, давали ссуды на строительство собственных домов. Рабочим бесплатно лечили, бесплатно учили их детей, им бесплатно можно было мыться по пятницам и субботам в фабричной бане и стирать в фабричной прачечной.

Отдельно надо сказать о школе, которая была предметом особой заботы Юлии Михайловны. В девятьсот пятом году, в год издания царского Манифеста о гражданских свободах, она дала обещание построить в Каменном Народный дом. Кувшинова внесла на строительство дома сто тысяч рублей, и через восемь лет дом, построенный в стиле модерн по проекту московского архитектора Воскресенского, открылся. В нем была устроена шестилетняя школа для детей фабричных рабочих, библиотека и любительский театр. На фронтоне Народного дома было написано «Народный дом в память 17 октября 1905 года»<sup>1</sup>. На открытии гостям вручались бронзовые жетоны с гравюрой здания и надписью на обороте «Знание – воля, знание – свет, рабство без него». Эти же слова были написаны на транспаранте, который нес самый лучший ученик школы во время праздничного шествия в конце каждого учебного года. Рядом с колонной учеников шла сама Юлия Михайловна. Красивая, должно быть, была картина... Куда только вся эта красота подевалась, когда через несколько лет... Впрочем, и тогда уже все начиналось. В больнице, построенной для рабочих,

работал врачом Алексей Бакунин, родной племянник известного анархиста, панслависта, идеолога народничества, идейного противника Карла Маркса и черта в ступе Михаила Бакунина. Алексей Ильич был первым, кто начал в девятьсот четвертом году активную революционную агитацию среди кувшиновских рабочих. Читая им лекцию о холере, Бакунин вставил в нее слова о свободе слова, организации стачек и забастовок. Бакунину хлопали изо всех сил, кричали «ура!» и пели «Вставай, поднимайся, рабочий народ»<sup>2</sup>. И холера не заставила себя долго ждать. На квартире заводского химика, инженера Лакомкина, собрались рабочие. Тоже, наверное, пели хором что-то революционное, а потом приняли не менее революционную резолюцию. Узнав об этой резолюции, остальные рабочие фабрики настоятельно посоветовали Бакунину уехать куда-нибудь из села Каменное подальше и не мутить у них воду, а инженера Лакомкина и рабочих, подписавших резолюцию, без всякого спросу и вовсе побили. Надо сказать, что лет за восемь до Лакомкина работал на фабрике еще один революционно настроенный химик – лаборант Николай Васильев, между прочим, большой друг тоже революционно настроенного писателя Максима Горького. Прожил Горький с женой и сыном в гостях у Васильева целый год<sup>3</sup>. Васильев руководил на фабрике нелегальным марксистским кружком. В то время, как рабочие, играя для виду в карты, обсуждали что делать, кто виноват и как экспроприировать экспроприаторов, великий пролетарский писатель сидел в углу, пил чай, курил папиросы и все записывал в записную книжку своей, как говорят, феноменальной памяти. Все эти бесконечные мутные разговоры потом всплыли в его бесконечном и таком же мутном романе «Жизнь Клима Самгина». Может, Горький прожил бы у Васильева и еще год, кабы не новогодний карнавал в имени Бакуниных, в селе Прямухино неподалеку от села Каменное. Алексей Максимович заявился туда в наряде странника и изображал Луку из своей еще не написанной пьесы «На дне». Что уж он там наговорил от имени Луки – неизвестно. Известно только, что после карнавала владельцы фабрики попросили его уехать от греха подальше. Он и уехал, а вслед за ним уехал и Васильев.

В том же доме, где гостевал у Васильева Горький, жил инженер-технолог Иван Иванович Ожегов. Иван Иванович не занимался революционной деятельностью, не руководил марксистскими кружками, а родил нам вместе со своей супругой сына Сергея Ивановича Ожегова, нашего известного лексикографа и составителя толкового словаря русского языка, выдержавшего в прошлом веке больше двадцати изданий в период с сорок девятого года по девяносто седьмой. В селе Каменное Ожегов прожил первые десять лет своей жизни. Говорят, что где-то в архиве ученого хранится первый, еще детский толковый словарик, размером с небольшую записную книжку и состоящий из нескольких серых и рыхлых, криво обрезанных листов самодельной бумаги, изготовленной Сережей Ожевым под руководством отца.

Теперь в Кувшинове на доме, где гостил Горький и родился Ожегов, висят две мемориальные доски, есть улицы Ожегова и Горького, а в Народном доме, который теперь называется Центром досуга, есть комната, заваленная старыми стульями, из-за груды которых торчит выкрашенная бронзовой краской гипсовая скульптура великого пролетарского писателя с отбитым носом.

Как бы к Горькому ни относиться, а именно он помог Юлии Михайловне Кувшиновой уехать в восемнадцатом году, после национализации фабрики<sup>4</sup>, невредимой в Москву, к племяннику и получить в столице то ли квартиру, то ли комнату. Кажется, потом она смогла выбраться в Чехословакию и последние годы жизни провела там, а где «там», и где была похоронена – так никто и по сей день не знает.

После национализации настали трудные времена. Фабрика была на грани закрытия. Новорожденную социалистическую собственность стали расхищать новорожденные социалистические собственники. Ни с того ни с сего возникли пожары на бумажном и картонном заводах. Пришлось создать рабочую сторожевую охрану. Не было сырья, не было топлива. В добавление ко всем несчастьям кончились деньги. Те, которые печатали в сто-

лице. Вот это как раз и не вызвало беспокойства. Нет ничего проще, чем напечатать свои, местные. Хранятся теперь в музее маленькие бумажные прямоугольники достоинством в один и три рубля с печатью, на которой расплывается звезда и буквы ВСНХ, а поверх печати, подписи какого-то уполномоченного и надписи «Три рубля» напечатано красивым шрифтом: «Каменская Писчебумажная Фабрика бывшего Товарищества М.Г. Кувшинова». Знал бы Михаил Гаврилович, какую печать станут ставить на его фамилию...

Производство в довоенном объеме восстановили уже к двадцать четвертому году. В тридцать шестом открыли тетрадный цех и стали выпускать восемнадцать тысяч тетрадей за смену в восемь часов семью рабочими – или шесть миллионов школьных тетрадей в год. Тех самых, на которых в моем детстве на задней странице обложки печатали пионерскую клятву, гимн пионеров и таблицу умножения. Власти доверили Каменским бумажникам самое дорогое – делать бумагу для собрания сочинений Ленина. Бумагу они сделали отличную. Таковую, которая смогла вытерпеть даже то, что написал вождь мирового пролетариата.

В тридцать втором году отделение спортивного общества «Писчебумажник», организованное в двадцать пятом, в связи с обострением классово-борьбы решительно переименовали в «Бумажник». В тридцать пятом по просьбе рабочих фабрике присвоили имя Кирова. Еще и поставили ему памятник возле заводоуправления. А куда, спрашивается, было деваться... Зато через три года по просьбе тех же рабочих Каменное переименовали в Кувшиново.

В сороковом году по приказу Наркомата бумажной промышленности открыли техникум, чтобы готовить кадры для всей страны, а через год началась война и линия фронта придвинулась к границам района. Поначалу оборудование и специалистов эвакуировали на восток, но уже в декабре сорок второго, после разгрома немцев под Москвой стали фабрику восстанавливать. На кувшиновской бумаге печатали газету Калининского фронта «Вперед на врага». В сорок четвертом достигли довоенного уровня производства. И это при том, что каждый второй из трех тысяч ушедших на фронт рабочих и специалистов фабрики не вернулся.

После войны освоили новую конвертную машину и стали выпускать по два миллиона конвертов в месяц. Между прочим, при царе складывали эти конверты вручную, пока руки не отвалятся, и все равно больше двухсот тысяч в месяц никак не получалось. В сорок седьмом установили новый сучколовитель Джонсона, против которого старый сучколовитель Хауга просто плюнуть и растереть. Новый мог удалить сучок не только с бревна, но даже из глаза. Потери волокна снизились с десяти до трех процентов. А новейшие флотационные ловушки волокна Свен-Педерсена, установленные в том же году? Промой волокна снизились почти в три раза... или увеличились... Короче говоря, стало очень хорошо, потому что достигли экономии волокна на сумму миллион рублей в год. И это при том, что до семнадцатого года таких ловушек вообще не существовало. Социалистическое соревнование разгорелось с такой силой, что фабрика трижды завоевывала переходящее Красное Знамя Наркомата лесной промышленности, причем во второй раз с вытканными на знамени серебряными еловыми ветвями, а в третий – с серебряными ветвями и золотыми шишками. В семидесятом году за достигнутые производственные успехи фабрике, которая к тому времени стала называться целлюлозно-бумажным комбинатом, вручили на вечное хранение красное знамя райкома партии и исполкома райсовета, а через пятнадцать лет эта вечность кончилась, и знамена перестали быть красными.

Читатель ждет уж рифмы все пропало, разруха, разворовали, уехали в Москву на заработки охранниками... Не дождется. Не разрушили, не разворовали и не уехали в Москву. Старое советское оборудование заменили новым – финским и итальянским, собрали новую бумагоделательную машину, стали выпускать переплетный и гофрированный картоны отличного качества, и даже местная футбольная команда «Бумажник» разгромила – правда, на своем поле и с перевесом всего в один мяч – команду из Вышнего Волочка.

В двенадцатом году на главной площади Кувшинова, напротив Народного дома, который построила Юлия Михайловна Кувшинова, поставили ей бронзовый памятник. На этой, почти сахарной ноте, надо бы и закончить рассказ о Кувшинове<sup>5</sup>. Я бы и закончил, кабы не прошелся по коридорам Народного дома и не побывал бы в музее. Плохо Народному дому. Последний ремонт в нем делали, кажется, еще при Кувшиновой. В коридорах пахнет сыростью, плесенью и неисправной канализацией. Татьяна Васильевна Кузьмина, хранительница музея, рассказала мне, что крыша у дома течет. Могла бы и не рассказывать – это видно невооруженным глазом в каждой комнате и каждом зале дома. Однажды, ближе к ночи, проезжал мимо Кувшинова самый главный из справедливых россиян – Сергей Миронов. Пожелал он осмотреть музей. Вызвали из дому по боевой тревоге Татьяну Васильевну, и битый час рассказывала она Миронову об истории Каменской бумажной фабрики. В конце рассказа не удержалась и попросила высокое начальство помочь с ремонтом крыши. Начальство пообещало непременно помочь, кого надо приструнить и денег на ремонт выдать. Засим оно напустило сладких розовых слюней в книгу отзывов музея, витиевато расписалось и укатило то ли на Селигер к молодым нашим, то ли в Москву, греть в Думе начинающее остывать кресло. Читатель ждет уж рифмы обманул, ничего не сделал, трепло...

В музее есть еще один памятник Кувшиновой. Его к двухсотлетию фабрики изготовили рабочие. Его на площади не поставишь, поскольку сделан он из гофрированной бумаги и гофрированного картона. Надо сказать очень искусно сделан. Точно из такого же картона изготовлено любимое кресло Кувшиновой и столик с гнутыми ножками, на котором стоит бумажная ваза с бумажными лилиями, старая фотография кувшиновской фабрики в резной картонной рамке и маленькая, в четверть метра ростом, бумажная фигурка женщины с пышной прической в платье с буфами и бантиком, веером в руках и крошечным, исписанным микроскопическими буквами, письмом в руках. У ног картонной Юлии Михайловны стоят женские кожаные ботинки. Те самые, которые она носила. От времени, от сырости в музее, голова Кувшиновой немного наклонилась к правому плечу и от этого вид у скульптуры несколько задумчивый и печальный<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Теперь на фронте остались только следы надписи «...им. В.И. Ленина». Впрочем, и они через какое-то время выцветут и станут незаметными. Если, конечно, их не закрасят еще раньше.

<sup>2</sup> Помнил ли Алексей Ильич об успехе этой лекции потом, когда в семнадцатом году была национализирована его московская лечебница, после того как в ней скончался патриарх Тихон, и совсем потом, когда он жил в эмиграции под Парижем, в Сент-Женевьев-де Буа...

<sup>3</sup> Именно Юлия Кувшинова, прочитав один из рассказов Горького, посоветовала Васильеву отправить его, пусть и без ведома писателя, в редакцию газеты «Московские ведомости». Рассказ напечатали, и это была первая публикация Горького в центральной печати.

<sup>4</sup> К семнадцатому году на фабрике и связанных с ней торфоразработках и железной дороге работало около четырех тысяч человек. На шести бумагоделательных машинах выпускалось тринадцать тысяч тонн печатной, писчей, тетрадной, почтовой, чертежной, с водяными знаками, оберточной бумаги в год.

<sup>5</sup> Понятное дело, что не все так хорошо, как хотелось бы. И Осугу в мае этого года отравили так, что от воды за версту несло сероводородом, и рыба мертвая всплыла вместе с бобрами, и понятно, что отравить ее некому, кроме как... известно кому, и переход на современное импортное оборудование на фабрике вместе с автоматизацией привел не только к увеличению выпуска продукции, но и к сокращениям. Уезжают из Кувшиново не только рабочие, но и специалисты. И местные депутаты с местными властями... такие же, как и везде. Впрочем, гладко бывает только на бумаге. Особенно на кувшиновской.

<sup>6</sup> Над последней, завершающей фразой рассказа о Кувшинове я долго ломал голову, но она у меня так и не получилась. Сначала я написал, что на гранитный постамент стоящего на площади памятника Юлии Кувшиновой постоянно залезают маленькие дети, которых у нее не было

в прошлой жизни и, цепляясь за складки ее бронзового платья, чтобы не упасть, ходят и ходят кругом памятника, как неученые котята по цепи... Я хотел, чтобы фраза была красивой, но не слишком, а получалось слишком. Пусть уж будет без нее. Захотите – сами придумаете.

### Семенов

Кабы не хохломская роспись да знаменитые на весь мир матрешки – быть бы Семенову обычным медвежьим углом, каких у нас такое множество, что, кажется, только из этих углов мы и состоим. Это теперь в Семенове на площади имени Бориса Корнилова<sup>1</sup> стоит гостиница «Париж»<sup>2</sup>, и в городской бане, которая находится на той же площади, все шайки расписаны под хохлому, а лет четыреста назад здесь, кроме села Семеново, затерянного среди дремучих, глухих и немых керженских лесов, не было ничего. В первый раз Семенов упомянут в письменных источниках по довольно необычному и даже несколько обидному поводу – в самой середине семнадцатого века в каком-то платежном документе кто-то написал, что житель села Семеновского Никифор Щетинин, бывший на оброке вместе со всем селом у боярина Бориса Ивановича Морозова, не уплатил за сенной покос. Ну, не уплатил. Наверное, высекли Никифора, или конфисковали в счет уплаты долга корову, или и то и другое вместе. Зато не было повода у летописца написать, что брали село штурмом татаро-монголы, что присягали семеновцы Лжедмитриям, что жгли интервенты посад и уводили в плен аборигенов. Может, еще долго в тех местах было бы малоллюдно и тихо, если бы ровно через пять лет после первого упоминания села Семеновского патриарх Никон не начал свою церковную реформу. Стали в Заволжье, от греха подальше, стекаться те, которых от никонианской реформы, что называется, с души воротило в самом прямом смысле этого слова. Впрочем, не только старoverы шли в заволжские леса – шли остатки разбитых разинских отрядов, беглые крестьяне, московские, смоленские, новгородские старообрядцы, Соловецкие монахи-раскольники, монастырь которых после долгой осады взяли царские полки, иконописцы и просто лихие люди. В известном смысле Заволжье середины семнадцатого века стало для русских тем, чем стала Америка для европейцев после открытия ее Колумбом.

Насчет того, кто придумал расписывать деревянную посуду хохломской росписью... Если даже исключить ее инопланетное происхождение, то и тогда останется множество или даже два множества версий. Самые правдоподобные и самые скучные из них принадлежат, понятное дело, историкам, археологам и искусствоведам. Пишут они, к примеру, что ложкари пришли в Заволжье из соседнего Приволжья, буквально с другого берега, из староверческого села Пурех<sup>3</sup>, что близ Балахны, что техника хохломской «золотой» росписи была занесена на левый берег Волги беглыми иконописцами, что можно сравнить технику и приемы мастеров-иконописцев «строгановского письма», установить связь, найти истоки, что хохломской промысел и вовсе возник из нужд крестьянского быта... Нет, мы не будем устанавливать, анализировать и выводить из нужд, тем более бытовых. Лучше мы обратимся к легенде, по которой скрывался в дремучих керженских лесах беглый иконописец-раскольник, делавший деревянные чаши, братины и енды, удивительно похожие на золотые. Само собой, чаши эти поставлялись в Москву и пользовались там огромным успехом. Как только прознал царь, кто и где делает такую красоту, – тотчас же направил свои царские войска на поиски мастера. Каким образом проведаль иконописец-раскольник про то, что идет за ним, – то не только нам, но даже и ученые-искусствоведы неведомо. Собрал он местных жителей, рассказал им в подробностях все свои производственные секреты, отдал краски, кисти и... исчез. Исчез, если верить одной из легенд, а если другой, то не исчез, а зашел в свой дом, затворился и сгорел заживо. Эта концовка, надо сказать, довольно правдоподобная. Не раз и не два раскольники затворялись в своих лесных скитах и сжигали себя заживо, чтобы не попасть в руки правительственных войск. До несгоревших скитов рано или поздно добирались войска, правительственные чиновники и раскатывали



их по бревнышку, а насельников выгоняли на все четыре стороны. Кроме тех, конечно, которых жажали «за караул», как выражались во времена Петра Алексеевича, бывшего большим любителем поприжать староверов.

При Николае Первом за искоренение старообрядчества в Заволжье отвечал чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Павел Иванович Мельников-Печерский, по совместительству известный писатель и большой знаток быта и обычаев староверов. Мельников все свое детство провел в Семенове и старообрядцев знал не понаслышке. Павел Иванович за свои заслуги в деле разорения скитов и обращения в единоверие получил от правительства орден Св. Анны (правда, в петлицу, а не на шею), а от староверов столько проклятий... «Мельниковым зорением» называли его деятельность староверы. Павел Иванович даже стал героем старообрядческого фольклора. Про него слогали песни и рассказывали, что сквозь стены он взором проицал и верхом на змие ехал, а все потому, что заключил союз с самим врагом рода человеческого. Дела эти прошлые – староверов теперь в Семенове раз-два и обчелся, а от Мельникова-Печерского остались нам два толстенных романа – «В лесах» и «На горах», да улица его имени в Семенове. Не такая, конечно, широкая, как улица 50-летия Октября, в которую она впадает, но уютная и уставленная домиками с резными наличниками на окнах.

Вернемся, однако, к легендам, но прежде заметим, что село Хохлома, без упоминания которого не обходится ни один рассказ о хохломской росписи, к этой самой росписи имеет в некотором роде двояродное отношение. В Хохломе преимущественно происходил оживленный торг так называемым «щепным» или «щепетильным» товаром, а расписывали все эти деревянные чашки и ложки в окрестных деревнях семеновского уезда, которые назывались Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаша, Глибино и Хрящи. Ну не Малые же Бездели с Хрящами и Шабашами брать в прилагательные и существительные такой красоте.

Так вот, по еще одной легенде, которой пользуются все семеновцы каждый день по многу раз, основал село Семеновское Семен-ложжар. Он же первым стал бить баклуши – чурбачки-заготовки для изготовления ложек. В восьмидесятых годах девятнадцатого века в Семеновском уезде было зарегистрировано более трех тысяч дворов ложкарей с восемнадцатью тысячами работников, считая женщин и детей. Вся эта армия производила тридцать пять миллионов ложек в год. Это получается почти по две тысячи ложек на брата, на сестру, на бабу, на дедку, на Жучку и на кошку с мышкой. И ложки эти надо было не только вырезать из дерева, но еще и загрузить и расписать. К концу девятнадцатого века Семеновский уезд производил уже восемьдесят миллионов ложек. Если бы этими ложками одновременно зачерпнуть, то, наверное, Волгу можно было бы вычерпать. Уж если не Волгу, то Оку точно.

Сорок сортов ложек выдвигали семеновские кустари – «рабочие», «бурлацкие», «детские», «монастырские», «уполовник» и множество других. На обычных ложках рисовали птичек, ягодки, домики, листочки, на «монастырках» башенки и колокольни, на бурлацких могли бы рисовать канаты и кораблики, но не рисовали, а вместо этого просто делали их раза в два больше обычных. Большой популярностью пользовалась так называемая «отеческая» или «воспитательная» ложка, которой отец семейства бил по лбу детей, начавших есть раньше родителей или ведущих за столом неподобающие разговоры. На таких ложках не рисовали ни ягод, ни листьев, а писали различные нравоучительные пословицы и поговорки воспитательного характера, как правило, неприличного содержания<sup>4</sup>.

В историко-художественном музее и музее при фабрике «Хохломская роспись» собрано несколько сотен ложек красивых, ложек, красивых во всех отношениях, и ложек, от которых глаз не оторвать, а к ложкам тарелки, к тарелкам бокалы и рюмки, к рюмкам чашки, к чашкам чайники, к чайникам самовары, к самоварам расписные столы, а к столам расписные же стулья и стульчики. Между прочим, сервизы есть не только деревянные, но и фарфоровые, расписанные хохломской росписью. Однажды приехала в Семенов Людмила

Зыкина, которая, если разобраться, тоже была в своем роде Хохлома, только песенная, посмотрела на сокровища, выставленные в музее, и посетовала, что нет в хохломской росписи ее любимых ландышей. Подумали семеновские мастера, попробовали и... получилась у них «зеленая» хохлома, которую теперь так и называют «зыкинской». Художник, бывший у нас экскурсоводом на фабрике, рассказал, что сервиз в зыкинском стиле заказал у них не кто-нибудь, а сам Иосиф Кобзон, который, если разобраться, тоже в своем роде та еще... только политическая.

Говоря о сокровищах фабричного музея, нельзя обойти матрешек. Самая маленькая матрешка, изготовленная на семеновской фабрике, была величиной с рисовое зернышко, и это рисовое зернышко мастера расписали по всем правилам: с пышным букетом цветов на фартуке, с круглым румянцем на щеках и платочком в горошек. Самая большая была метрового роста, и в ней, как в Матренином ковчеге, хранилось семьдесят две матрешки. Семеновцы начали заниматься матрешками еще в конце двадцатых годов и в советское время делали матрешек даже к царскому столу. Лучший друг писателей и физкультурников любил дарить матрешек соратникам по строительству коммунизма в одной отдельно взятой и запуганной до смерти репрессиями стране. Как-то раз, к Первому съезду писателей СССР Иосиф Виссарионович заказал набор матрешек-писателей для Алексея Максимовича. Понятное дело, что все они помещались внутри огромной и усатой горьковской матрешки. Рассказывают, что когда Горький открыл крупных матрешек Толстого, Фадеева, Эренбурга, Бабеля, а вслед за ними еще десяток мелких леоновых, парфеновых, безыменских, и совсем мелких вишневских и увидел, взяв в руки толстое увеличительное стекло, крошечную пятимиллиметровую матрешку чекиста Ягоды – его чуть кондрашка не хватила.

Экскурсантам на фабрике показывают весь производственный цикл изготовления матрешек – от деревянных липовых чурок до готовых расписанных красавиц. Показывают и токарей-женщин, вытачивающих и ошкуривающих заготовки, показывают, как грунтуют и как расписывают. Тем, кто захочет – дадут в руки острую беличью кисточку и усадят раскрашивать матрешек. Понятное дело, что не тех, которые на продажу, а тех, которые специально для туристов. Особенно любят раскрашивать матрешек дети, когда их приводят на экскурсии. Впрочем, в детей превращаются и взрослые, как только им выдают матрешек, кисточки и разноцветную гуашь в баночках. Надо сказать, что заказов у фабрики много, особенно на матрешек, и она если и не процветает, то уж за свое будущее может не опасаться, чего не скажешь о тех, кто на ней работает. Средняя зарплата на фабрике – десять тысяч рублей. У токарей доходит до пятнадцати, но пока дойдешь до средней... Работа сдельная, и для того, чтобы заработать эти самые десять тысяч, к примеру, художнику, который расписывает матрешек, надо работать не только восьмичасовую смену, но и брать с собой на дом полные сумки «белья», как называют не раскрашенные заготовки, чтобы и дома до ночи их раскрашивать. Не возьмешь домой, отработаешь только восьмичасовой рабочий день – получишь три, в лучшем случае, пять тысяч. Замужним хорошо – им помогают зарабатывать в Нижнем или в Москве мужа, а незамужним, разведенным и вдовам плохо. Особенно тем, у кого есть дети. Им приходится корпеть над матрешками и ранним утром, и поздним вечером, и в выходные дни<sup>5</sup>. Добро бы работа была нелюбимая и ради денег – плюнули и перешли бы на другую, а то и вовсе уехали на заработки в Нижний или в Москву. Так нет же – любимая работа. Случайных людей на фабрике нет – сюда не приходят в надежде хорошо заработать. Молодежь фабрику старается, увы, обходить. Все держится на тех немолодых уже женщинах, которые не уйдут с фабрики, даже если там начнут брать деньги за вход.

– Часто ли бывают на фабрике бунты из-за низкой оплаты труда? – спросил я у художниц, помогавших мне расписывать матрешку. Опустили глаза художницы, вздохнули тяжело и отвечали:

– Не бывают.



«Любовь зла, и хозяева фабрики этим пользуются», – подумал я про себя, а после того, как посетил фирменный магазин при фабрике и вышел оттуда больно искусанный ценами на хохломские сувениры, еще более утвердился в своем мнении.

Конечно, Семенов – это не только матрешки и золотая хохломская роспись. Кроме матрешек и росписи, это на удивление ухоженный, уютный городок с чистыми улицами, площадями<sup>6</sup>, мусорными урнами, расписанными хохломскими узорами и такими красивыми, непохожими одна на другую цветочными клумбами, какие и в столице редко встретишь. По количеству резных оконных наличников на душу населения Семенов далеко опережает не только Москву, Париж или Токио, но даже и Городец с Кимрами и Палехом. Наверное, все это потому, что по количеству людей с художественным вкусом на душу населения Семенов далеко опережает... да кого угодно и опережает.

<sup>1</sup> На площади имени Бориса Корнилова, уроженца села Покровского Семеновского уезда, стоит памятник поэту\*, написавшему в тридцать втором году «Нас утро встречает прохладой» и расстрелянному в тридцать восьмом году на тридцать первом году жизни как «активного участника антисоветской, троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства». Руководители партии и правительства приказали стихи «Песни о встречном» считать «народными», и они стали народными и были ими почти тридцать лет до самой посмертной реабилитации Корнилова «за отсутствием состава преступления». После реабилитации они так народными и остались до самого конца этого народа, который тоже, как оказалось, был активным участником антисоветской организации.

\*Кстати сказать, памятник Корнилову – это первый в России памятник репрессированному поэту.

<sup>2</sup> «Париж» он потому, что план Парижа как две капли воды похож на план Семенова. Так, по крайней мере, считают все семеновцы и вместе с ними хозяин гостиницы. В холле семеновского «Парижа» стоит настольный макет Эйфелевой башни с прикрепленной к ее основанию табличкой, на которой написано «г. Семенов». Номера хорошие, уютные, вот только стены между ними так тонки и так звукопроницаемы, что слышно, как за стеной твоего номера кто-то громко думает – то ли выпить водки сейчас и потом пойти в гости к соседке, приехавшей вместе с ним в командировку на местный арматурный завод, то ли пригласить ее в лучший местный ресторан «Керженец» и там выпить вместе с ней, то ли пойти в гости... но выпить непременно. Кстати сказать, семеновский арматурный завод переживает нынче не лучшие времена. Проще говоря, погибает арматурный завод. Остался литейный цех, но и он дышит на ладан. В позапрошлом веке этот завод, основанный местным механиком-самоучкой Гавриилом Семеновичем Рекшинским и его дядей, очень даже процветал. Основной продукцией были весовые гири – от самых больших до самых маленьких. Гири были такого качества, что владельцам завода было разрешено ставить на них собственное клеймо. Кроме гирь выпускали клещи, слесарные ножницы, колеса и даже печные заслонки с античными сюжетами. Две из них стоят за стеклом, в местном краеведческом музее. На одной из них изображена та самая колесница того самого Аполлона, которая изображена на том самом Большом театре и на тех самых ста рублях, которые так оскорбили нравственность наших депутатов. Я присматривался – Аполлон на дверце вне подозрений, а вот кони...

Впрочем, это все мелкие детали, и к нашему рассказу не имеющие никакого касательства. Про Гавриила Семеновича Рекшинского все же не лишним будет добавить, что прожил он долгую жизнь и семь раз избирался семеновским городским головой. Тридцать один год управлял он Семеновым, замостил камнем городские мостовые, начал строить больницу и успел умереть перед самым семнадцатым годом. Очень немного было в тогдашней провинциальной России таких городских голов. Сына Гавриила Семеновича новые власти в восемнадцатом году с завода выгнали, но... тут же попросили вернуться, поскольку оказалось, что каждая кухарка не может управлять не только государством, но и чугунно-литейным заводом. Еще пять лет он руководил заводом и готовил себе смену, а потом уехал в Нижний, подальше от своих учеников.

<sup>3</sup> Проезжал я как-то мимо Пуреха – нет нынче там никаких ложкарей и староверов нет. Зато в придорожном вагончике с надписью «Вяленая и копченая рыба» можно купить небольших копченых стерлядок недорого. Свежий пурехский ситный хлеб ничуть не уступает стерлядкам по вкусу. Если есть их вместе, пить крепкий горячий чай из большого походного термоса и при этом смотреть вдаль, на залив, который образует река Юг при впадении в Волгу, на семью цапель, медленно и чинно летящую сквозь туманную дымку из левого угла неба в правый, то можно получить если не море, то реку удовольствия. С заливом впридачу.

<sup>4</sup> Жаль, конечно, что ложки теперь все одинаковые в том смысле, что нет ни бурлацких, ни монастырских. Представьте себе, к примеру, ложку гаишника, расписанную «кирпичами» и двойными сплошными линиями, или ложку олигарха, всю в газопроводах и нефтяных вышках, или ложку сотрудника НИИ, изрисованную дырками от бубликов, или Царь-ложку президента, на дне которой в мельчайших подробностях выписан Кры... то есть Кремль.

<sup>5</sup> Есть еще те, которые и расписывают на дому, и сами возят в Москву на продажу, но их немного. Художник умеет хорошо придумывать узоры и расписывать, а продавать, искать клиентов и вообще заниматься бизнесом умеет плохо.

<sup>6</sup> Есть в Семенове площадь Октябрьской Революции, на которой еще при советской власти поставили памятник трем коммунистам. Боролись эти коммунисты в девятнадцатом году за установление советской власти в Заволжье. Так боролись, что их убили до смерти те, кому уставская власть была поперек горла. Между собой семеновцы называют памятник «Тремя мужиками», а площадь вокруг памятника «Площадью трех мужиков». Про площадь «Трех мужиков» вычитал я в Интернете, и черт меня дернул блеснуть своей эрудицией как раз в тот самый момент, когда наш экскурсовод рассказывал проникновенным голосом об истории подвига трех коммунистов... и тут вдруг оказалось, что один из этих коммунистов приходится ей то ли двоюродным, то ли троюродным прадедушкой. Возмущению экскурсовода не было предела. Конец экскурсии прошел в менее теплой и менее дружественной обстановке.

## Балахна

Туристы Балахну своим посещением не балуют. Нижний балуют, Городец балуют, даже Чкаловск балуют, а Балахну проезжают мимо. Ну и зря. Все равно мимо нее не проезжаешь, а проползаешь в многокилометровой и многочасовой пробке по дороге из Нижнего в Городец. За это время можно было бы не только познакомиться, но даже и напроситься на чай, поужинать и переночевать. Конечно, в Балахне нет красивых медовых пряников, как в Городце, или Кремля, как в Нижнем, и даже само название города напоминает о каком-то балахоне – мешковатом и распахнутом на волжском ветру. Даже и поговорка такая есть у аборигенов «Стоит Балахна полы распахня». Кстати говоря, жителей Балахны, которых теперь называют балахнинцами, в наши средние века так и называли – балахонцы. Ходили, мол, они в специальных балахонах, чтобы защитить себя от разъедающего действия солевых растворов, поскольку в те далекие времена Балахна была одним из центров соледобычи на Руси. Часть краеведов даже выводит из этого балахона происхождение названия города, а другая часть эту версию считает несостоятельной и утверждает, что балахонцами жители Балахны стали из-за новгородцев, сосланных Иваном Грозным на Волгу. Новгородцев называли «волохонцами» потому, что были они с берегов Волхова. Ну, а от волохонцев до балахонцев, считай, рукой подать. Третья часть краеведов считает, что две первых части краеведов..., а четвертая часть и вовсе считает, что название города произошло от персидского «Бала ханэ», что означает Верхний Город. И правда, Балахна находится в верхнем течении Волги. Есть еще и пятая часть и шестая с восьмой, но о них даже упоминать не станем – иначе к самому городу мы так и не продеремся сквозь заросли этих версий.

Самое удивительное, что поначалу город и вовсе назывался Соль на Городце и городом никаким не являлся, поскольку не было у него ни крепости, ни пушек на башнях, ни рва, утыканного острыми кольями и наполненного водой, ни приказной и губной избы, ни

толстого воеводы с золотой серьгой в ухе, который по утрам устраивал бы смотр стрельцам и распекал их за ржавчину на бердышах и отсыревший порох в пороховницах. Вместо крепости были соляные варницы, вместо башен рассолоподъемные трубы, а вместо одного воеводы были целых три совершенно штатских человека – купец Иван Ястребов и два брата Ляпиных – Федор и Нефедей. Именно они основали поселение на месте современной Балахны. Легенда говорит о том, что вся эта троица была в плену у татар в Сибирском ханстве, и у них научились добывать соль. Одна часть краеведов утверждает, что Ястребов и братья Ляпины основали Соль на Городце в самом конце четырнадцатого века, и даже называют год, от которого и предлагают вести историю Балахны, другая часть считает, что можно считать годом основания города упоминание Соли на Городце в духовной серпуховского князя Владимира Андреевича в первом или втором году пятнадцатого века, третья указывает на то, что впервые Балахна упоминается под своим именем в грамоте Ивана Третьего от пятисот второго года, которая до нас не дошла, но упоминается в более поздней грамоте Ивана Четвертого, а четвертая в лице известного писателя и краеведа Мельникова-Печерского непоколебимо стоит на том, что еще в одиннадцатом веке на месте современной Балахны находился город волжских булгар и в нем каждый год были ярмарки... Мы и тут аккуратно обойдем стороной спорящих на эту тему краеведов и пойдем дальше – в те времена, когда Балахна стала одним из центров солеварения Московского государства.

Это была эпоха первого золотого века Балахны. Это были десятки пробуренных на глубину до сотни метров соляных колодцев и десятки изготовленных из огромных дубовых стволов рассолоподъемных труб<sup>1</sup>, из которых сотнями и тысячами бадей поднимали на поверхность десятки тысяч литров рассола, выпаривали, затаривали десятки тысяч пудов соли в мешки и отправляли по Волге на стругах или на подводах в города и веси нашей, уже тогда необъятной, страны. Первый золотой век продлился в Балахне почти два столетия – с шестнадцатого по семнадцатый век включительно, пока другие, более богатые, месторождения соли не превратили его поначалу в серебряный, потом в бронзовый, а под конец и вовсе в железный. Еще и проржавевший насквозь. Надо сказать, что солеварение в Балахне не прекратилось в одночасье – оно медленно и мучительно умирало на протяжении всего восемнадцатого и даже девятнадцатого веков. В шестидесятых годах девятнадцатого века из бывших когда-то восьмидесяти варниц осталось всего шесть, из которых пять взял у казны в аренду декабрист И.А. Анненков. Увы, вернуть их к полноценной жизни не получилось. И механизация не помогла. Еще в Гражданскую войну из нескольких труб качали солевой раствор и выпаривали из него соль. Впрочем, в Гражданскую никто и не заикался о рентабельности производства – хватило бы щипосоли. В шестидесятых годах прошлого века на берегу Волги еще оставалось около двух десятков заброшенных труб. Из одной из таких труб солевой раствор выбивало и в начале нашего века. Воля ваша, а я бы этот раствор разливал по красивым пузырькам и продавал туристам с инструкцией по солеварению в домашних условиях. Еще бы и приписал, что балахнинская соль, которую издревле поставляли к царскому столу и которую более всех других солей, включая даже собственные соли, отложенные в левом колене, любил Иван Грозный, обладает несомненными целебными свойствами. В умеренных, конечно, дозах.

Теперь от многочисленных балахнинских рассолоподъемных труб остались лишь деревянные фрагменты, из одной части которых смонтирована посвященная солеварению экспозиция в местном краеведческом музее, а другая хранится в запасниках музея.

Как бы там ни было, а соль дала возможность стать Балахне на ноги и крепко на них стоять. Соль и вообще превратила Балахну из обычного поселка при солевых колодцах в город. Тот самый город – который с крепостью, с двадцатью пушками на восьми крепостных башнях, который со рвом, утыканным острыми кольями и заполненным водой, который с подвалом, в котором хранилось десять тысяч каменных и железных ядер и который с толстым воеводой с золотой серьгой в ухе, который каждое утро устраивал смотр стрельцам в крепости, которая была построена на Балахонском Усолье в 1537 году по ука-

зу матери Ивана Грозного Елены Глинской для защиты посадских людей и нажитого непосильным трудом добра от набегов казанских татар, лихих людей и их вместе взятых. Кое-кто из историков утверждает, что построили крепость лишь после того, как за год до постройки казанцы во главе с ханом Сафа-Гиреем сожгли и разграбили Балахну дочиста, как об этом записано в Никоновской летописи, но это, конечно, не так. Постройка крепости стояла в плане московских властей еще до татарского набега – просто басурман черти принесли вне всякого плана.

Между прочим, пушек в балахнинской крепости в конце третьей четверти шестнадцатого века было ровно столько же, сколько в Нижегородском кремле. И вообще в те времена Балахна была всего в два раза меньше Нижнего по числу дворов и входила в первую дюжину городов Московского княжества. Что-то потом пошло не так, и теперь Балахна в двадцать пять раз меньше Нижнего и даже в четвертой сотне наших современных российских городов, увы, не первая...

Но вернемся в те времена, когда Балахна росла и богатела<sup>2</sup>, богатела, богатела... пока не пришла Смута. О роли и месте Балахны в Смуте рассказывать довольно сложно. С одной стороны Балахна – это родной город не кого-нибудь, а самого Козьмы Минина. В нынешней Балахне на каждом придорожном электрическом столбе висит табличка, на которой написано, что Балахна – родина этого, без сомнения, выдающегося человека. И памятник Минину установлен на одной из площадей города<sup>3</sup>. Как раз перед музеем его имени. С другой... Балахна и уезд исправно присягали сначала Гришке Отрепьеву, а потом и Тушинскому вору. Мало того, балахнинский воевода Степан Голенищев вместе с тушинцами дерзнул пойти на штурм Нижнего Новгорода. Вышел боком воеводе, а вместе с ним и Балахне этот штурм. Нижегородцы «воров побили же, и балахнинского воеводу Степана Голенищева и лучших балахонцев посадских людей привели в Нижний». Привели, чтобы казнить, и немедленно казнили, а Балахну привели к присяге царю Василию Шуйскому. Только стали балахонцы восстанавливать свои соляные промыслы, как в 1610 году напали казаки и все дотла сожгли и разграбили. Через два года двинулось ополчение Минина и Пожарского на Москву через Кострому и Ярославль, а прежде всего через Балахну. Стояло ополчение в Балахне долго. Собирали деньги на войну с поляками. Кто утверждает, сообразуясь с историческими документами, что балахонцы сдавали деньги Минину, бывшему казначею ополчения, добровольно и с охотой, а кто говорит, сообразуясь с этими же документами, что и совсем наоборот. Минин обложил всех недетским налогом – потребовал две трети имущества сдать в кассу ополчения. Сам-то он поступил именно таким образом. Что же до балахонцев, то они, по-видимому, не все были готовы принести такие жертвы на алтарь отечества. Тем, кто был не готов и принес не две трети, а половину или даже одну треть, а то и вовсе объявил себя неимущим, Минин предложил отрубить руки. Времена тогда были такие, и сам Козьма Минин был таков, что в серьезности и неотвратимости его предложения никто и не подумал усомниться. Понесли неимущие не только две трети, но три четверти.

После Смуты Балахна с помощью своих соляных промыслов восстановилась быстро, но в восемнадцатый век она пришла уже не молодой и полной сил, а одряхлевшей и постоянно оглядывающейся назад, в свое славное светлое прошлое. Не так ли и мы теперь... (Подобные мысли, однако, лучше от себя гнать. Тем более что к истории Балахны они не имеют никакого отношения.) На самом деле не все было так плохо, как хотелось бы – в недрах первого золотого века исподволь вызревал второй. Даже два вторых. Вокруг Балахны были довольно большие месторождения отличной глины, которая, как известно, при достаточном умении и сноровке превращается в кирпичи, плитку и печные изразцы. В кирпичном и особенно изразцовом деле балахонцы достигли большого искусства. Настолько большого, что балахнинские кирпичи поставлялись к царскому столу в том смысле, что балахнинских кирпичников приглашали на строительство собора Василия Блаженного, они принимали участие в строительстве Московского Кремля и Санкт-Петербурга, а печи с красочными балахнинскими изразцами стояли в лучших домах Нижнего Новгорода и Го-

роховца, Ярославля и Костромы. В самой Балахне такие изразцы сохранились на Спасской церкви, построенной во второй половине семнадцатого века местными солепромышленниками в память о родственниках, погибших во время морового поветрия. Только надо помнить при ее осмотре, что те яркие, без единой трещинки изразцы с узорами, райскими птицами и невиданными цветами, которые вы видите на стенах нижнего яруса шатровой колокольни, – это изготовленные недавно, хоть и с большим искусством, но копии. Дело в том, что, начиная с прошлого века, множество местных и приезжих любителей с руками, которые они не знали куда девать<sup>4</sup>... А вот те облупленные, в сетке мелких трещин, потемневшие от времени изразцы на втором ярусе колокольни – те настоящие.

Кроме кирпичников, славились Балахна своими иконописцами. Такими, что состояли при Оружейной палате, хоть и проживали в Балахне. Эти иконописцы принимали участие в росписи кремлевских Успенского и Архангельского соборов. Впрочем, это уж и не второй золотой век, а половина третьего. Вторая половина третьего – знаменитые колокола и колокольчики, звеневшие не хуже валдайских. Их лили, в Балахне на заводе Чарышниковых. От самых маленьких, поддужных, до тысячепудовых колоколов для храмов Ярославля, Муром, Красноярска и Санкт-Петербурга. Огромные балахнинские колокола всегда имели голоса звучные и приятные для слуха. Мало кто теперь помнит, что отличались они, к примеру, от колоколов, которые лили в Москве, одной интересной деталью. Московские колокольные мастера всегда перед отливкой больших колоколов распускали по городу самые невероятные слухи и небылицы, а балахнинские – никогда. Даже тогда, когда отливали тысячепудовый колокол специально для Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в 1896 году в Нижнем Новгороде. Уж как не выпрашивали у них москвичи, как ни подсылали к ним нижегородцев, чтобы узнать, какую байку сочинили балахнинцы, чтобы их колокол так чисто звучал, – так ничего и не сказали им честные балахнинцы<sup>5</sup>.

Более всего, после пришедшего в упадок солеварения, помогло Балахне судостроение. Началось оно еще впервой половине семнадцатого века, когда в Россию приезжало посольство от Шлезвиг-Голштинского герцога Фридриха. Секретарем этого посольства был не кто иной, как Адам Олеарий. Голштинцам очень хотелось прокатиться по Волге от верховьев до самой Персии. Был у них в этой Персии торговый интерес. И у нас он был тоже. Предполагалось построить для путешествия по Волге и Каспию, а так же для торговли шелком в Персии десять кораблей. Строить решили в Балахне. И условие с нашей стороны было только одно – иностранцы своего умения перед нашими плотниками не утаивают. Они и не утаили. В 1636 году был спущен на воду трехмачтовый и двадцатичетырехвесельный «Фридерик» под голштинским флагом. Он доплыл до самого Дагестана, где его настигла страшная буря и разбила о прибрежные камни. Остальные девять кораблей строить не стали. Плотникам для обучения хватило и одного.

И стали строить балахонцы военные суда. Большая часть парусников для Азовского похода была построена в самом конце восемнадцатого века в Балахне. Правда, Петр не был бы Петром, если бы не прислал на балахнинские верфи для наблюдения за качеством иностранных специалистов. После Азовского заказа стали строить и морские шхуны для Каспия, речные суда, военные корабли для Балтийского флота. Построили и галеру, на которой Екатерина Великая путешествовала по Волге. Из гражданских судов более всего строили огромные, нередко стометровые в длину баржи-беляны грузоподъемностью до десяти тысяч тонн. При этом умудрялись строить их без всяких стапелей. Иной раз заказ было столько, что строили по сотне барж в год. Достроились до того, что даже в герб Балахны попали детали корабельных конструкций – кокоры<sup>6</sup>. В середине девятнадцатого века стали делать пароходы и продолжали бы их делать до сих пор, кабы не хитроумный грек Бенардаки, построивший возле Нижнего, в Сормове, свой судостроительный завод. Балахнинские судостроительные магнаты не смогли с ним выдержать конкуренции и по-немногу третий золотой век Балахны стал клониться к своему закату. В конце девятнадца-

того века Балахна, хоть и бывшая уездным городом, превратилась в заброшенный нищий заштатный городок, в котором немного торговали кирпичами, немного плели кружева, немало делали деревянную домашнюю утварь и... все.

Двадцатый век нельзя назвать золотым веком Балахны. Скорее, это был электрический, бумажный и картонный век. Все потому, что построили в Балахне электростанцию и огромные целлюлозно-бумажный и картонный комбинаты. Понятное дело, что к царскому столу ни балахнинское электричество, ни балахнинская бумага, ни картон не доходят. Ну, да это ничего. Зато на работу не надо уезжать в Москву или Нижний. Хотя... бегают по Москве и не только по ней микроавтобусы Мерседес и Фольксваген, которые собирают в Балахне. С одной стороны, немецкие микроавтобусы – это не свои корабли, печные изразцы и кружево, а с другой... Первый корабль на балахнинской верфи тоже назывался «Фридерик» и ходил под голштинским флагом.

Почему в Балахну не едут туристы... Наверное, потому, что нет в Балахне пристани для туристических теплоходов. В Городце пристань есть, в Нижнем, понятное дело, есть, а в Балахне нет, хотя музеев целых три. Да и музеи какие... Один краеведческий, расположенный в усадьбе купца первой гильдии судостроителя Плотникова и недавно прекрасно отремонтированный, стоит того, чтобы в нем провести не час и не два.

В музее есть зал с балахнинскими кружевами, которые уже триста лет плетут местные мастерицы из белых, кремовых и черных шелковых нитей при помощи кленовых коклюшек. Все эти невесомые кружевные мантильи и шарфики, искусно сплетенные единственно для того, чтобы их владелица, сидя теплым летним вечером в саду у остывшего самовара и слушая пение соловьев, могла бы сказать, зябко поводя круглыми, полными плечами:

– Как, однако, посвежело. Принесите мне, Николая, мою черную кружевную мантилью из гостинной.

И принести, и укутать ее этой мантильей и видеть, как она прямо на твоих влюбленных глазах из Настеньки превращается в Инезилью, как Балахна становится Севильей, и потом бесчисленное количество раз поправить этот переплетенный черным шелком воздух у нее на плечах, а на вопрос, кто это там так отвратительно горланит на берегу, отвечать, шепча в золотой завиток, прикрывающий веснушчатое и розовое от смущения ухо:

– Это, Настенька, мужичье-с на верфи расчет за баржу получило. Вот и горланят надравшись. Животные-с. Никакого понятия об культурном отдыхе.

Кстати, о коклюшках. Балахнинское кружевоплетение одно из самых сложных и трудоемких. В нем используется до трехсот и более пар коклюшек одновременно. Не ко всякому, надо сказать, царскому столу такое кружево и поставляют.

Есть у краеведческого музея филиал, расположенный в усадьбе известного балахнинского купца первой гильдии, городского головы, владельца баржестроительной верфи и гласного городской думы Александра Александровича Худякова. Жил он в этой огромной усадьбе на набережной Волги втроем с женой и сыном. Сын отчего-то умер в пятилетнем возрасте, и Александр Александрович вместе с женой уехал в Нижний, а усадьбу подарил Нижегородской епархии. Жили там довольно долгое время престарелые священнослужители. При советской власти находился там детский дом, потом сидели чекисты и других сажали, с тридцатых годов устроили детский садик, а теперь филиал музея. Музейных экспонатов в этом доме мало – печи со знаменитыми балахнинскими изразцами, несколько старых самоваров, красивый кожаный диван конца позапрошлого века, выдавший виды письменный стол, патефон, настенные часы с боем, комната с чучелами животных и птиц, населяющих эти края, несколько старых фотографий на стенах, уголок бывшего детского сада с пластмассовыми пупсами – вот, пожалуй, и все. Кроме этих экспонатов, есть там такая тишина и такой покой... Достаточно сесть у окна, у колеблемой летним ветерком шторы на стул и безотрывно час или два смотреть, как в сотне метров от тебя и твоего стула медленно плывет по Волге огромная черная баржа с нефтью или лесом, как кипит, разрезаемая форштевнем, вода, как пытит толкающий баржу буксир,



как что-то кричит матрос другому матросу, как другой матрос показывает первому... Ей-богу, я бы не отказался и приплатить за час сидения одному у окна худяковского дома. Да, наверное, не только я. За небольшие, но отдельные деньги для более состоятельных туристов можно поставить рядом графин с водкой и патефон. Завести на нем «Дубинушку» или «Очи черные» в шалыпинском исполнении. Пусть слушают, тяжело вздыхают и даже смахивают украдкой слезу. И уж для тех, кто не ограничен в средствах, на словах «вы сгубили меня, очи черные» пусть входит в комнату человек, наклоняется к уху туриста и тихонько спрашивает: «Прикажете цыган?» И в сей момент, под окнами, на улице Карла Маркса грянул бы хор «К нам приехал, к нам приехал...». И под эти величальные слова и переливчатый звон цыганских монист выйти на пристань, у которой стоит белый катер с прекрасной Царь-девицей, крикнуть старшему группы «Не поминайте лихом!», и уплыть в Нижний гулять до утра, а потом, через неделю или две, продав японские часы, подаренные женой ко дню рождения, или новый фотоаппарат, купленный перед отпуском, добраться на электричках и попутках к себе домой в какие-нибудь Сухиничи или Череповец, позвонить в дверь, вернуться от утюга, пушенного точно в голову, и потом, часа через два или три, тихонько сидеть в полутемной кухне, гладить по вихрастой голове сына второклассника и второгодника и шептать ему «Не женись Витька. Никогда не женись!» и осторожно трогать при этом указательным пальцем багровый фингал под левым глазом.

<sup>1</sup> Строго говоря, средневековая технология добычи соли в разных местах была примерно одинаковой. Уж если и отличалась она, то названиями рассолоподъемных труб, которые давались сообразно местной топонимике, фамилиям владельцев и чувству юмора балахонцев. Попадай Большая, Киселиха Меньшая, Золотуха, Толстуха Большая и Толстуха Малая, Близнецы, Каменка в узкой улочке и Каменка Малая, Кошелиха а Кухтина тож... Поди теперь разбери, отчего трубу назвали Золотухой – чесалась она у них или шелушилась...

<sup>2</sup> Так богатела, что даже Иван Грозный включил ее в состав своих опричных земель. Грозный, кстати, был в Балахне проездом после взятия Казани. На радостях отдал вынесенную ему балахонцами хлеб-соль, которая в тамошнем исполнении была более похожа на соль-хлеб, сказал, что вкуснее этой соли ничего не едал, и ускакал в Москву, а в Балахне приказал построить Никольскую церковь, которая стоит и до сей поры на улице Ивана Грозного Революции.

<sup>3</sup> На самом деле бетонный, покрашенный «под бронзу» памятник в 1943 году установили в Нижнем. Почти сорок лет он там простоял. Почему он перестал нравиться местному начальству – теперь не установить, а только сослали они его в Балахну, на родину героя. Себе же нижегородцы сделали другой, побогаче, из настоящей бронзы. Не то чтобы они помнили ту атаку «лучших балахонцев посадских людей» и тушинцев на Нижний, а все же...

<sup>4</sup> Мина на них не было.

<sup>5</sup> Не умели они врать, а потому каждый раз, как возникала нужда в отливке колокола, выпивали они себе из Москвы человечка, который и сочинял им такое... Даже денег не брал. Работал, можно сказать, из одной любви к искусству и вину. Бывало, придумает он такую историю, от которой все только рты в изумлении разевают, а к ней прилетит еще самых невероятных деталей. И это при том, что колокол-то собирались лить всего один. Так рачительные хозяева завода, чтобы эти умопомрачительные детали не пропали зря, – отольют за компанию еще десяток мелких колокольчиков.

<sup>6</sup> Кокоры – это стволы деревьев вместе с корнями, но не со всеми корнями подряд, а только с теми, которые перпендикулярны стволам. Остальные, растущие под разными бесполезными углами корни, обрубали. Проще говоря, кокоры – это шангоуты, если вы, конечно, понимаете о чем речь. Признаться, я и сам не очень разбираюсь в шангоутах и часто путаю их с бимсами... Короче говоря, пусть в кокорях балахнинцы разбираются. Я даже не уверен, что все они, если разбудить их ночью и спросить что такое кокоры, без запинки ответят на этот вопрос. Даже с запинкой. Даже и днем.

## Пестяки

Проезжающему мимо Пестяков без остановки можно успеть описать их в одном предложении: поселок городского типа, медвежий угол в Ивановской области, причем медвежий угол с настоящими медведями, из-за которых в последние годы стало опасно собирать грибы и ягоды; грибы очень хороши, и местные жители умеют их сушить так, что они сохраняют свою форму; упоминается в летописях со второй половины четырнадцатого века как место ссылки литовцев, которых взял в плен Дмитрий Донской в одном из своих походов; в селе Нижний Ландех Пестяковского района родились и умерли крепостные крестьяне Василий, Герасим и Макар Дубинины, первыми в мире придумавшие, как перегонять нефть в промышленных количествах и получать из нее керосин, мазут и многое другое. Вот, собственно, и все. Можно, конечно, добавить, что работает сапоговаляльная фабрика и леспромхоз, но молокозавод закрыт, крахмалопаточный завод закрыт, льнозавод дышит на ладан, швейная, строчевышивальная и мебельная фабрики закрыты, хлебозавод и хлебопекарня закрыты, и хлеб возят из Иванова и Чкаловска, газа нет, но... это будет уже второе предложение.

Я мимо не проезжал – я ехал в краеведческий музей Пестяков, к его директору Любови Александровне Лакеевой. Меня интересовали братья Дубинины, уроженцы села Нижний Ландех Пестяковского района. Не может такого быть, думал я, чтобы крепостные крестьяне раньше всех в мире додумались до того, как устроить промышленную нефтеперегонную установку<sup>1</sup>. Без лабораторий, без колб, перегонных кубов, пробирок, весов, без белых халатов, наконец. В конце концов, в первой четверти девятнадцатого века были уже в России лаборатории, приват-доценты, профессора, реактивы в банках с этикетками, на которых был нарисован череп с костями, а тут какие-то чумазые смолокуры построили в Моздоке по собственным чертежам завод и стали получать из нефти чистый керосин, который они называли белой нефтью.

В пестяковском музее увидел я макет нефтеперегонной установки братьев Дубининых, изготовленный частью руками музейных сотрудников, частью в Доме народных ремесел соседней с Пестяками деревни Новинки по заказу музея. Нефтеперегонный куб был аккуратно оклеен обоями «под кирпич». Из печи под кубом торчали мелко наколотые дрова, которые, как рассказала Любовь Александровна, всегда хотят поджечь маленькие дети, проходящие в музей. Впрочем, и дети постарше тоже хотят.

Дубинины оказались на Кавказе в районе Моздока лишь потому, что граф Владимир Орлов, брат Григория, пожелал заселить пожалованные ему земли на Северном Кавказе своими крестьянами, отпустив их на оброк. С одной стороны, от смолокурения до нефтеперегонки рукой подать, а с другой... и даже с третьей и четвертой сторон, от кустарного смолокурения до промышленной нефтеперегонки, от закопанных в землю труб из осины, по которым течет смола и деготь, до охлаждаемых проточной водой медных, по которым течет керосин, от земляной ямы, выложенной древесной корой, до железного куба на сорок ведер – дистанции огромного размера.

Начиная с 1823 года, четверть века действовал в Моздоке завод Дубининых. Полуценный керосин был лучшего качества, чем тогдашний американский или английский. Из Моздока везли его на подводах до Астрахани, от Астрахани до Нижнего по Волге, а от Нижнего снова на подводах до Москвы и Петербурга. Такие транспортные расходы могли разорить кого угодно. Дубинины попросили ссуду в семь тысяч рублей серебром у кавказского наместника графа Воронцова. В ссуде было отказано, но совсем без серебра братьев не оставили – старший Василий, самый главный среди братьев изобретатель и заводила нефтеперегонного дела, по представлению Воронцова был удостоен серебряной медали «За полезное» на Владимирской ленте, но дело, тем не менее, пришлось свернуть. Дубинины вернулись домой, в село Нижний Ландех и прожили там до самой смерти. Могил их не сохранилось.



Любовь Александровна писала о Дубининых в местную газету «Новый путь» и даже, какется, в областную ивановскую газету, надеясь на то, что какой-нибудь нефтяной магнат обратит внимание на ее заметку и даст денег на памятник Дубининым. Пусть небольшой, пусть скромный, пусть даже и скромнее того, что поставили им в Моздоке, но... видимо, нефтяные магнаты не читают ни пестяковских, ни ивановских газет.

Раз уж зашла речь о Нижнем Ландехе, то нельзя не упомянуть о знаменитых сушеных белых грибах, которые местные жители не сушат, как все мы, разрезая на куски, нанизывая на нитку и вешая над газовой плитой, а нанизывают целиком на тонкие лучинки, лучинки вставляют в горшок, который задвигают в теплую печь. При таком способе сушеные грибы получаются как живые. Раньше нижнеландеховские сушеные белые грибы поставляли к царскому столу. За сезон один человек мог набрать грибов до двух или даже трех сотен пудов. Грибов и сейчас здесь пропасть, но к царскому столу их не берут. Потому и сушат как все, нарезаая на куски.

После рассказа о братьях Дубининых, способе сушки белых грибов, после беглого осмотра прялок, деревянных корыт, старых самоваров и утюгов, которыми заставлены все полки в наших маленьких провинциальных музеях, можно было уезжать. На прощание я спросил у Любви Александровны, как она попала в музей, памятуя о том, что в глухой нашей провинции специально образованные музейные сотрудники встречаются так же часто, как изобретатели нефтеперегонки.

Оказалось, что привел и даже притащил за руку Любовь Александровну в музей... сон. Все это похоже на явления верующим чудотвор... Нет, так не объяснишь. Лучше все рассказать, как было, с самого начала. По образованию Любовь Александровна, конечно же, никакой не музейщик, а учитель начальных классов. Работала в школе и в детском саду. Потом, когда из-за нехватки детей стали сокращать учителей в школах и воспитателей в детских садах<sup>2</sup>, пошла она работать в Госстрах и работала там вполне успешно лет десять, до того момента, как приснился ей сон или, выражаясь языком более подходящим к этому случаю, «было ей сновидение», и в этом сновидении водила она детишек по богато убранному музейному залу, что-то рассказывала им, а попутно отгоняла сорванцов указкой от экспонатов, которые они, сорванцы, норовили потрогать руками. Ну, приснилось и приснилось, – подумала на утро Любовь Александровна, и пошла на работу в свой Госстрах. Через самое малое время, быть может, через день или два сон повторился. Любовь Александровна даже смогла углядеть, что портьеры в этом музейном зале очень богатые. Проснулась она и вдруг ясно поняла, что заболит и даже умрет, если срочно не поменяет свой Госстрах на музей. Поменяет, как же. Это и в большом городе не так просто сделать, а в Пестяхках, где и музея-то никакого не было... Короче говоря, побежала она к своей однокласснице, которая заведовала в поселке отделом культуры, бухнулась ей, как говорится, в ноги и стала просить пристроить ее если не к музею, то хотя бы к той культуре, которая имеется в Пестяхках. Одноклассница вошла в ее положение и устроила в поселковую библиотеку на должность библиографа и краеведа. Библиографии ее учили, а краеведению она училась сама и с удовольствием, поскольку с детства любила историю. Даже написала в газету заметку об истории Пестяковского сапоговаляльного завода.

Через какое-то время пригласила ее одноклассница в отдел культуры и предложила возглавить музей. Дело в том, что... умом Россию не понять – музей в Пестяхках по документам давно был, но... его не было. Была какая-то, проведенная в прошлом, крошечная выставка строчевышитых изделий местных мастериц, которую для отчета назвали музеем и упрятали в подвальную комнатку под библиотекой. Любовь Александровна и подумать не могла, что это музей. И вот из этого десятка вышитых салфеток ей предлагали сделать настоящий музей. Сон оказался в руку. Даже в две руки, которые сами собой опускались при мысли о том, что нужно сделать в первую, во вторую и в тридцать третью очереди для создания музея. Две недели она ходила сама не своя и все думала, думала, думала и согласилась, конечно.

Первым экспонатом в новом музее было древнее деревянное корыто из заброшенного дома прабабушки Любови Александровны в соседней с Пестьяками деревне Керегино. Жители деревни как узнали, что Любовь Александровна стала директором музея – так и понесли к ней старую утварь – прялки, горшки, фотографии, лапти, посуду, лошадиные хомуты... По правде говоря, лошадиный хомут всего один. В деревне Курмыш умерла последняя лошадь, и от нее остался хомут, который принесли в музей<sup>3</sup>. Заброшенных деревень в округе много. Порой садятся Любовь Александровна и ее немногочисленные сотрудники на велосипеды, и вся троица едет по заброшенным деревням собирать то, что осталось от прошлой и позапрошлой жизни. Как-то раз в одном из заброшенных домов нашли даже старинную квашню с остатками окаменевшего теста. Деревенский батюшка из села Беклемищи подарил музею Бог весть как у него оказавшуюся большую чешскую супницу советских времен. Хороша супница – вся в цветочек, но лежит в запасниках – выставить ее пока нигде. Не хватает места. Запасники – это так называется на музейном языке, а на самом деле это комната, где сидят все трое сотрудников музея, заваленные чуть ли не до потолка старыми и очень старыми вещами, фотографиями и документами. Вот, к примеру, стоит поближе к двери гончарный круг. Владела им одна старушка, у которой брат был гончаром. Одним из последних, если не самым последним в Пестьяках. Уж как только ни просила Любовь Александровна старушку отдать в музей – не отдавала. Берегла память о брате, а как стала помирать – так и велела дочери после ее смерти отнести круг в музей<sup>4</sup>. Мечтает директор музея устроить детям уголок по работе с глиной, но в двух музейных комнатках и без того не повернуться. Или вот в Нижнем Ландехе умер учитель физкультуры в сельской школе, всю жизнь собиравший экспонаты для своего крошечного школьного музея. Оттуда позвонили и попросили все забрать. Не нужны им ни экспонаты, ни музей.

Дети чаще всех приходят в музей. Начинают их водить еще с четырехлетнего возраста воспитатели детских садов, а заканчивают уже учителя школы. В провинциальном музее набор развлечений невелик. Запуск космической ракеты детям не покажешь – то жидкого кислорода с водородом не завезли, то ракеты на областном складе кончились, то планеты не в том положении, чтобы к Марсу стартовать. Объясняют школьникам пословицы с поговорками, учат их загадки разгадывать, в игры играть. В самые простые детские игры, в которые и мы, и наши дедушки с бабушками играли, которые нынешним детям заменил компьютер. Рассказывают сотрудники музея детям о старых обычаях. К примеру, о постной пище. Купит Любовь Александровна за свои деньги в магазине пару буханок черного хлеба, пучок зеленого лука, покрошит хлеб и мелконарезанный лук в подсоленную воду, налитую в деревянную лохань и ставит эту крестьянскую тюрю на стол. Как-то раз весь класс уж вышел из музея на улицу строиться, а двое мальчишек вернулись и попросили разрешения эту тюрю доесть. Уж больно вкусна. Вот скоро будет Медовый Спас – так будут в музее рассказывать детям про пчеловодство. Принесла в музей Любовь Александровна дымарь, доставшийся ей от отца, зядлого пчеловода, а без меда детей не оставят.

– Для малышей я играю роль бабушки Агаши, – улыбнулась Любовь Александровна. – Наряжаюсь в крестьянский сарафан, повязываю платок и играю. Дети меня любят. Верят в то, что я старинная крестьянка. Бывает шепчут на ухо бабушке Агаше про свои детские обиды или про двойки в школе, которые от родителей утаили. Тех, которые постарше, нарядим в крестьянскую одежду, обуем в лапти, заведем им на патефоне пластинку Мордасовой, где она поет «Эх, лапти мои, лапотушечки! До чего же хороши, как игрушечки!» и давай они плясать! Заодно и расскажем им, как плетут лапти, да почему вязовые лапти прочнее липовых. Раньше деревенская молодежь на гулянки старалась приходить в вязовых. В них хоть всю ночь пляши – не развалится. Удивительное дело – нынешние даже на танцы перестали ходить. Ходят только в бар. У нас, в Пестьяках, их теперь несколько. И даже там, в этих барах, когда играет музыка, все равно не танцуют – только пьют и молчат, а как напьются – так давай драться.

Она вздохнула, покачала головой и продолжила:

– Ну, это я все про детей, а вот вам про взрослых. Недавно устроили мы в музее заседание, посвященное Дню рыбака. У нас в Пестяках, почитай, каждый первый рыбак. Пришли они к нам – и старые и молодые. Целых семь человек. Мы им тоже загадки загадывали про поведение рыб, про наживку, про то, как кого лучше ловить. После загадок стали они рыбацкие истории рассказывать. Про огромного сома, которого ловили на утку, насаженную на крюк, прикрепленный к стальному тросу. Это в наших-то речках, которые воробью по колено. Ушел, конечно, сом. Утку проглотил, трос перекусил и ушел. Видать, в землю по уши зарылся. наших рыбаков больше всего кошки любят. Только они эту пойманную нашими мужьями мелочь и едят. Да и то не все. Мой кот не ест. Подай ему из магазина.

– А где ваши мужья работают, когда не на рыбалку ходят? – спросил я.

– Кто устроился – тот лес валит и пилит, а кто нет – едет в Москву охранником. Даже женщины едут. Кто не пилит и не уехал охранником – тот водку пьет. Пропивает последнее. Ну, что про них говорить. Я лучше про лес скажу. Лес, конечно, пилят, а чистить – не чистят. Раньше мы в него чуть ли не в тапочках ходили – а теперь сплошной бурелом да сучья. Оно и горит все летом ужас как... Неужто у них в Москве нет такого министра, который бы за чистоту леса отвечал?

Я слушал ее и думал, что у них в Москве много разных министров – кто отвечает заоровство из казны, кто за то, чтобы повышать квартплату каждый год, кто за выплату нищенских пенсий, кто за футбол, кто за... а вот за чистоту леса никто не отвечает. Из Москвы и леса-то не видно. Один асфальт кругом.

Надо сказать, что и местные власти приведением леса в порядок мало интересуются. У местных властей тоже дел по горло. Они заняты выборами, перевыборами, протаскиванием своих на хлебные места, вытаскиванием чужих с этих мест. Пока чужих вытащишь и своих протаскишь – глядишь, новые выборы на носу. Нет, это не межпартийная борьба. Партия в Пестяках у всех одна – партия власти. И между собой члены этой партии борются не на жизнь, а на смерть. Тут уж не до леса и не до музея, которому нужно новое помещение.

– Какая им от культуры прибыль? – спрашивает меня Любовь Александровна. – Чем у культуры можно поживиться? Ну, ладно. Бог с ней с культурой, а вот была у нас строчевышивальная фабрика. Пятьсот женщин на ней работало. Не стало фабрики. Не стало, потому что ее директор устал бороться за нее. Он старый, пенсионер, и помощи от властей ждать ему не приходилось. Теперь кто-то арендует там один маленький цех и что-то шьет. Три с половиной человека занято. Зато сапоговаляльная фабрика работает. Может, потому и работает, что принадлежит она жене главы администрации. Вы приезжайте к нам зимой. Я вам экскурсию устрою на эту фабрику. Посмотрите своими глазами, как сапоги...

Признаться, осмотр пестяковской сапоговаляльной фабрики не входил в мои планы. Мы стали прощаться и обмениваться на всякий случай номерами телефонов, которыми никогда не воспользуемся.

И вот еще что. В той комнате, где мы беседовали о пестяковских рыбаках, все стены были увешаны забавными и смешными рисунками из рыбацкой жизни, нарисованными местным художником Юрием Кипариным. Наверное, это все лишние, ненужные читателю сведения, который никогда не поедет в Пестяки, не зайдет в тамошний музей и не увидит этих рисунков, но... они есть на белом свете – и рисунки, и Юрий Кипарин и неутомимая Любовь Лакеева, которой приснился музей, и музей со старыми утюгами, корытами, квашнями, лаптями, макетом нефтеперегонной установки братьев Дубининых, которым на родине так и не поставили памятник, и сами Пестяки, с их деревянными и кирпичными домиками, рыбаками, кошками, резными наличниками и пахучими бархатцами в палисадниках. Их совсем не видно из Москвы, их даже из областного Иванова видно с трудом, но они есть и еще будут, пока сил у них хватит быть.

<sup>1</sup> Если быть до конца честным, то на сто лет раньше Дубининых, в 1745 году, занимался нефтеперегонкой архангелогородский купец Федор Саввич Прядунов, но он получил из

ухтинской нефти лишь некий «керосинообразный продукт». Да и перегонял он нефть в небольших количествах, как мы бы сегодня сказали, в лабораторных масштабах на установке Берг-коллегии в Москве и планировал получающиеся продукты использовать в аптекарском деле. Прядунова, скорее, можно назвать первым в мире добытчиком нефти в промышленных масштабах. Конечно, мне возразят земляки Прядунова архангелогородцы, будут спорить до хрипоты ухтинцы, доказывая, что Прядунов был первым... Я бы на их месте делал то же самое. Кабы не был москвичом.

<sup>2</sup> В этом году в Пестяках выпускников в единственной школе было девять человек. На чetyре с половиной тысячи жителей.

<sup>3</sup> Кстати, о вымирающих домашних животных. На все Пестяки теперь то, ли две то ли три коровы, а раньше было три стада, и в каждом стаде до сотни коров. Еще раньше, перед самой революцией, в пестяковской округе было около шести тысяч лошадей и десяти тысяч коров. Впрочем, коров при желании еще развести можно, а вот такой умерший промысел, как вязание шерстяных чулок и варежек – это вряд ли. До революции в Пестяках и окрестных деревнях не вязали только коровы и кошки с собаками. Вязали даже слепые, на ощупь. Местные однопалые варежки или «вареги», как их здесь называли, продавались не только в губерниях центральной России, но даже и во Владивостоке, Порт-Артуре и Финляндии. Во время русско-турецкой войны в 1877 году у наших солдат, бравших Шипку, были на руках теплые пестяковские варежки.

<sup>4</sup> Большая часть экспонатов подарена музею местными жителями. Куплены только два самовара за пятьсот рублей, но не потому, что больше купить нечего, а потому, что не на что. Денег музею не дают, кроме как на зарплату сотрудникам.

## Фряново

*Саше Послыхалину и Кате Черновой*

Серым зимним днем, который только и есть, что промежуток между двумя ночами, я ехал в подмосковное Фряново по забитым машинами дорогам и думал, отчего у этого поселка такое обидное название. Сами посудите – корень у этого названия должен быть «фря». Тут же приходит на память достоевское из «Униженных и оскорбленных» (а если говорить правду, то из кинофильма «Осенний марафон»): «Да за кого ты себя считаешь, фря ты эдакая, облизьяна зеленая?» В русском языке, как уверяют нас толковые словари, «фря» означает и жеманницу, и ломаку, и гордючку, и кривляку, и задавалу, и еще десяток похожих обидных слов. И все это богатство, как пишут все те же словари, произошло от исковерканного нами немецкого «фрау» и шведского «фру». Неужто во Фряново живут... Впрочем, не буду тебя, читатель, дальше разыгрывать, а признаюсь честно, что ничего этого не думал. Перед поездкой во Фряново я начитался в Интернете до одури краеведческих статей по этому поводу и вообще не знал, что и думать по поводу топонима «Фряново».

Если представить себе этот топоним в виде кочана капусты, то первым, внешним листиком будет прочно забытые нами сведения из школьного курса истории о том, что строителями московского Кремля в конце четырнадцатого и в начале пятнадцатого веков были итальянцы – Антон Фрязин, Марк Фрязин, Алевиз Фрязин Старый, Алевиз Фрязин Новый, Бон Фрязин, Петр Френчужко Фрязин (строивший, кстати, не московский, а нижегородский Кремль), Петр Малый Фрязин... Короче говоря, потомков всех этих фрязинов, которых тогда никто и не думал называть макаронниками, хватило бы не только на поселок Фряново, но и на город Фрязино, что в тридцати километрах от поселка. Ну, пусть и не потомков, а тех, кто населял земли «Итальянской слободы» (назовем ее так) на северо-востоке Подмосковья. Получается что-то вроде нынешних клубных поселков с красивыми названиями типа «Маленькая Италия» или «Английский квартал». Красивая легенда, но... Начнем с того, что итальянцев тогда не было. Как не было и самой Италии. Даже в проекте Ломбардия была, Тоскана была, Генуя была и Венеция была, а вот Италии... На этом месте

оторвем один капустный листик и узнаем, что не только итальянцам (для простоты будем их называть так), но и любым другим иностранцам обоюдо полу было в тогдашней Московии строго-настрого запрещено владеть землей. У них была, выражаясь современным языком, только рабочая виза. Приехал – построил Кремль, научил лить пушки, рисовать тушью на пергаменте чертежи подкопов под стены Казани и все – чемодан, вокзал, Рим или Флоренция. Их, этих иноземцев, даже и называли, в отличие от русских служилых людей, «кормовыми», как свеклу. Они получали за свою службу «корм» – денежное довольствие, а наш служилый человек мог получить и землю, и людишек на ней. В общих чертах такое деление сохранилось и до сегодняшнего дня. Только «кормовыми» теперь можно назвать всех нас, а, к примеру, министр, или депутат, или... Однако я увлекся. Лучше мы оторвем еще один листик и посмотрим, что осталось.

Оказывается, что ни в Москве, ни в Подмосковье не остается ничего, что могло бы нас навести на мысль о происхождении топонима Фряново. Оказывается, что искать надо гораздо южнее – в Крыму. В те далекие средневековые времена Крым был не наш. Настолько не наш, что нынешнему патриоту даже и представить себе невозможно и обидно до хронического насморка. В Крыму, на территории, принадлежавшей туркам, находились еще с тринадцатого века фактории генуэзских купцов. Первое упоминание о рабочем визите гостей из Крыма в Москву приходится на княжение Ивана Калиты в середине четырнадцатого века. Звали гостей... Нет, не фрязинами, а сурожанами, поскольку приехали они из места, которое тогда называлось Сурож, а теперь Судак. Одни историки считают, что это были генуэзцы, а другие – что это были русские, торговавшие с генуэзцами, которых русские называли фрягами или фрязинами. Приезжали они в Москву не один и не два раза, поскольку торговля была довольно оживленной. И стали они, то есть фряги или фрязины, мало-помалу обрусевать, или русеть, или белобрысеть... Короче говоря, завелись у них русские жены с русыми волосами и такими голубыми глазами, что не только в службу к великому князю Московскому перейдешь, а и православие примешь. Они и перешли, и приняли, и вступили в привилегированное сословие «гостей», которым как раз и разрешалось покупать вотчины, владеть землей и людьми. Уф... Оторвем и еще листик, но кочерыжки в виде топонима Фряново не увидим.

Те историки, которые не одни, не другие, а вовсе третьи, считают, что гостями из Крыма тут дело не обошлось. К примеру, византийского посла, который привез Ивану Третьему портрет его будущей жены Софьи Палеолог, звали Иван Фрязин. Этот, напротив, ничем не торговал, а был монетный мастер, а вот уже его племянник Антон Фрязин строил Тайницкую башню в Кремле и вообще... фрязинами могли звать совершенно русских купцов, торговавших с генуэзцами. Кстати сказать, точно таких же русских купцов, торговавших с греками, называли «гречниками» или «гречинами». Отчего бы, спрашивается, и фамилии «Фрязин», а вслед за ним и топониму «Фряново» не образоваться таким же манером? Надо заметить, однако, что изначально, еще в конце шестнадцатого века Фряново, как и близлежащий городок Фрязино, называлось Фрязиново.

Сорвем еще один листик, и под ним увидим, что... недолго жили фрязины в Подмосковье – Иван Третий переселил их в Новгород, который как раз с его помощью перестал быть Великим, и в окрестности Вологды. Почему переселил? Неприязнь к ним испытывал. Подозревал в тайных умыслах. Он и вообще был страшно подозрителен, и потому регулярно переселял то фрязинов в Новгород, то новгородцев во Владимир, а то и москвичей (разумеется не всех, но богатых и тоже не всех) выселял из столицы куда подальше. Кстати говоря, фрязины переехали на Вологодчину вместе с названием своих подмосковных земель. До сих пор в Вологде существует район «Фрязиново».

Поскольку пустошь Фряново переехать никак не могла, то стала она переходить из рук в руки новых владельцев. То купит ее дьяк, то царский стольник, то московский стряпчий, то воевода... Из всего длинного списка владельцев Фряново с конца пятнадцатого века до начала восемнадцатого упомянем лишь двух – дьяка Разбойного, Разрядного и Поместно-

го Приказов Андрея Вареева и Михаила Желябужского. Первый был знаменит не только тем, что получал тройное жалование (он его и не получал вовсе, поскольку работал в этих приказах в разное время), но и тем, что был в составе посольства в Кострому для призвания Михаила Романова на царство. Подпись Вареева стоит под Грамотой о единогласном избрании на Российский престол царём и самодержцем Михаила Фёдоровича Романова, и еще тем, что на его руках скончался князь Пожарский, под началом которого он служил не один год. Что же до Михаила Васильевича Желябужского, то был он при Петре Первом обер-фискалом. Должность большая, генеральская – что-то вроде нынешнего начальника Главного Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией. С такой должности падать... Короче говоря, попался Михаил Васильевич на подделке завещания некоей вдовы, квартиру в Лондоне деревню которой он переписал на жену. Этого ему показалось мало, и спустя три года он еще одну деревню таким же манером переписал на своего заместителя. Поскольку при Петре Алексеевиче выйти в отставку, перейти на другую работу, уехать на ПМЖ в Женеву или на Лазурный берег было довольно сложно, то пришлось признавшему свою вину бывшему обер-фискалу ответить сполна – имущество у этого человека с хитрожопой головой и липкими руками конфисковали, били кнутом и сослали на пять лет в каторжные работы. Буквально за год до того, как Желябужского схватили за руку, успел он продать Фряново некоему Игнатию Францевичу Шериману.

Тут надобно несколько отступить во времени назад, чтобы объяснить читателю, откуда взялся во Фряново уроженец персидского города Новая Джульфа армянин Игнатий Шериман. Пока Иван Третий из бывших крымчан делал бывших жителей Подмосковья, Персия делала жизнь проживающих там армян, мягко говоря, невыносимой. Помогали ей в этом некрасивом занятии турки. Так помогали, что бедные армяне, которые на самом деле были довольно состоятельными торговыми людьми, стали думать о том, что неплохо бы поискать счастья в России. Они рассуждали точно так же, как Лермонтов, который спустя полтора года писал: «Быть может, за стеной Кавказа сокровись от твоих пашей...». Армяне хотели скрыться от турецких и персидских пашей, и пересекали они Кавказский хребет, начиная с середины семнадцатого века, в обратном направлении – в сторону России, которая им не казалась такой невыгодной, как Михаилу Юрьевичу. Видимо, при Алексее Михайловиче и его сыне Петре Алексеевиче она еще не успела так изгваздаться, как при Николае Павловиче.

Игнатий Францевич Шериман<sup>1</sup> был то, что теперь называется деловым человеком. На одном месте сидеть не любил. Часто ездил из России в Персию и обратно, снабжая русские мануфактуры шелком-сырцом. Сложно сказать, каким образом, но через малое время после приезда в Россию оказался он одним из пяти соучредителей одного из самых крупных в России предприятий с неблагозвучным для современного уха названием «Штофных и прочих шелковых парчей мануфактура». В это, так сказать, закрытое акционерное общество, созданное по царскому указу в 1717 году и призванное за три года полностью удовлетворить спрос на российский рынке в дорогих тканях, сначала входили вице-канцлер и президент Коммерц-коллегии Петр Павлович Шафиров, граф Толстой и генерал-адмирал Апраксин<sup>2</sup>. Вся эта компания корыстолюбивых государственных мужей, хоть и обещавшая Петру удвоить ВВП догнать и перегнать, в текстильных мануфактурах не понимала ничего (ткать-то они умели отлично, правда, не шелк, а паутину и совсем для других целей), но в ее руках оказалась монополия на ввоз дорогих тканей из-за границы. Понятное дело, что ввозили их временно, только до того момента, как заработает свое собственное производство, понятное дело, что ввозили только образцы, чтобы на них учились наши мастера, понятное дело, что образцов этих ввозили столько, что прибыль от их продажи... Короче говоря, дело не шло, а стояло на месте. Где его Петр своим указом поставил – там и стояло. После того как вмешался откуда ни возьмись появившийся Александр Данилович Меншиков – дело уже и стоять не могло, а стало разваливаться на глазах. От расстройства главный иностранный специалист, привезенный из Франции для обучения русских шел-



коткачеству, запил горькую. Понятное дело, что именно на него списали начальники все неудачи и отправили, от греха подальше, домой, чтобы не болтал здесь лишнего.

Окончательно разладились все из-за какой-то свары между Меньшиковым и Толстым по поводу... Все равно по какому. Написали учредители Петру письмо о том, что трудно им без опыта в купеческом деле. Наживаться на ввозе импортных тканей они готовы были сколь угодно долго, а вот что касается производства, шелка-сырца, ткацких станов, всех этих сиволапых мужиков, которых надо обучать ткацкому мастерству... Хорошо бы включить в состав учредителей каких-нибудь купцов-промышленников. Пусть они завозят сырье, плетут, вяжут, ткут и что там еще делают в подобных случаях. Включили пять купцов, в числе которых и оказался Шериман. Он первым понял, что в таких, собранных по царскому указу колхозах дела не сделаешь, и решил отделиться, забрав свой пай. Игнатий Францевич действительно хотел заниматься шелкоткачеством не на бумаге, а на собственной фабрике. И не где-нибудь, а во Фряново, которое он приобрел незадолго перед тем, как расстаться со своими компаньонами.

Не с голыми руками приехал Шериман во Фряново, на берега маленькой речки Ширенки<sup>3</sup>. Он привез с собою двадцать шесть ручных ткацких станов и двадцать три мастера-ткача. С этих двух десятков с лишним ткацких станов и такого же количества ткачей и началась первая в Подмосковье текстильная мануфактура, а уж с фряновской шелкоткацкой мануфактуры, в свою очередь, началось все то великое множество подмосковных текстильных производств, которое уже в первой половине девятнадцатого века назовут «Русским Лионом и Руаном».

Шериман подошел к делу серьезно – завез из Персии сырье, выстроил просторные каменные корпуса, дополнительно набрал рабочих и стал учить их шелкоткацкому мастерству... На самом деле, не от хорошей жизни он выстроил каменные. Игнатий Францевич сначала построил деревянные, но их сожгли местные крестьяне, а они бы их не жгли, кабы их по указу императрицы Анны Иоанновны от 1736 года не прикрепили к фабрике навечно, а их бы не прикрепили, если бы не было страшной нехватки ткачей (не только на фряновской фабрике), а откуда было взяться ткачам, если Шериман, как уже было говорено, привез с собою во Фряново всего два с небольшим десятка<sup>4</sup>.

Шеримановские ткачи представляли собой довольно живописный срез тогдашнего российского общества. Безусловно, срез его нижней, даже подводной части. Это была в некотором роде Австралия времен первых поселенцев в миниатюре. Петр одним из тех указов, что «писаны были кнутом», отправлял на фабрики тех... Кого могли поймать на больших дорогах, в кабаках и даже на папертях – тех и отправляли без всякого суда рабочими на мануфактуры. Получалось что-то вроде трудовых колоний, в которых жили и работали «тати, мошенники, пропойцы, винные бабы и девки», профессиональные нищие, проститутки и беглые крестьяне. Во Фрянове, кроме, так сказать, вышеуказанных категорий граждан, был даже один пленный швед, которого угораздило попасть в плен во время Северной войны. Справедливости ради надо сказать, что было еще несколько мальчиков-преступников, но общей картины они изменить не могли, а лишь придавали ей еще больше экспрессии. Всю эту команду, как могли, обучали ткацкому ремеслу французские мастера.

При фабрике была постоянная вооруженная охрана, которая не столько охраняла рабочих, которые и сами могли обидеть кого угодно, а, скорее, охраняла местных жителей от этих рабочих.

Вернемся, однако, к сожженным производственными корпусам. Надо сказать, что поджигатели были не из числа тех, кто понаехал из Москвы, а местные монастырские крестьяне из близлежащей деревни. Поначалу они занимались на фабрику сезонными рабочими, обычно с осени до весны, пока не нужно пахать, боронить, сеять, косить и делать все то, что делают крестьяне с весны по осень, как вдруг одним хмурым утром прискакал в их деревню взмыленный, как лошадь, вестовой из Москвы, всех согнали на площадь, и приказчик Шеримана зачитал на общем сходе царский указ о том, что они теперь «вечноот-



данные» фабрике и ее владельцу, а после зачитывания еще и назидательно выпороли тех, кто громко кашлял в крепко сжатые пудовые кулаки. Воля ваша, а тут и сам не заметишь, как станешь жечь ненавистную фабрику.

Несмотря на все эти, мягко говоря, отягчающие обстоятельства, продукция фабрики Шеримана была очень высокого качества. Достаточно сказать, что золотая парча коронационного платья Елизаветы Петровны была не французской, не персидской, а именно фряновской работы. Тончайшие немецкие золотые нити искусно переплели с нитями персидского шелка. Парча так сверкала, что у статс-дамы Натальи Лопухиной, извечной соперницы императрицы в амурных делах, случился жестокий приступ куриной слепоты.

Понятное дело, что получить госзаказ на парчу для коронационного платья можно было не более одного или двух раз в жизни, а потому в годы, когда коронаций не случилось, фряновские мастера ткали шелковые штофные обои, шерсть, бархат, платки и серую шелковую ткань с цветочным орнаментом под названием гризет<sup>5</sup>.

Уже на собственный счет Шериман купил несколько сот крестьян у окрестных помещиков для своих собственных нужд, а прежде всего для нужд фабрики<sup>6</sup>. Заодно разбил регулярный парк, построил дом и, когда он в 1752 году скончался, то оставил после себя успешно работающую фабрику, которую его сын Захарий Шериман... через несколько лет продал вместе с приписанными к ней рабочими-крестьянами и всеми земельными угодьями двум своим землякам и соплеменникам из Новой Джульфы – двоюродным братьям Лазарю и Петру Лазаревым. Почему он так поступил, теперь уж не выяснить. Проигрался в карты тут не подходит ни по буквам, ни по смыслу. Может, потому, что был армянином-католиком, а католиков в России не любили никогда. Может, потому, что в российском деловом и инвестиционном климате он часто простужался и кашлял. Так или иначе, Захарий Шериман уехал в Европу, осел где-то в Италии, написал там обширное полуфантастическое сочинение о некоей загадочной стране, напоминающее одновременно и свифтовы «Путешествия Гулливера» и «Персидские письма» Монтескье, в котором эту загадочную страну подверг суровой критике. На этом его следы теряются.

Мы же искать их не будем, а вернемся во Фряново. Новые его хозяева, хоть и происходили из Новой Джульфы, но были православными армянами. Людьюми они были, мягко говоря, не бедными. Настолько не бедными, что выписали «из Италии искуснейших красивых мастеров, не щадя при том немалых издержек как на содержание сих, так и на обучение собственных своих людей мастерствам красильному, рисовальному и иным, для которых также нанимались иностранные мастера», построили еще несколько каменных корпусов, и к началу семидесятых годов восемнадцатого века шелкоткацкая фабрика производила на сотне станов ежегодно четыре сотни пудов персидских, турецких, итальянских и китайских шелковых тканей.

Между прочим, ткач в процессе работы видел лишь изнанку ткани, а потому должен был уметь безошибочно высчитать, сколько и через какое количество синих нитей нужно вплести красных, потом снова синих, потом две зеленых, потом... и не дай бог перепутать, а чтобы не перепутать и чтобы не выпороли или не отделили багогами, необходимо было постоянно сверяться с заранее нарисованным рисунком орнамента. Это как смотреть на рисунок самолета и делать его на глаз, не пользуясь ни штангенциркулями, ни микрометрами, ни даже простой линейкой, а высчитывая все размеры в уме.

Рисунки, по которым работали мастера-ткачи, делали художники, называвшиеся десигнаторами. Первых десигнаторов привезли из Италии и Франции (вместе с рисунками), а вот первую в крае школу для крестьянских мальчиков, в которой обучали профессии десигнатора<sup>7</sup>, открыл в 1782 году Иван Лазаревич Лазарев – старший сын Лазаря Лазарева и владелец фряновской мануфактуры.

Сказать об Иване Лазаревиче «владелец фряновской мануфактуры» – значит ничего не сказать. Он был настоящий мистер Твистер екатерининского царствования. В самом, однако, хорошем смысле. Миллионер, владелец пятнадцати тысяч крестьян, огромных земель-

ных угодий в семи губерниях, Лазарев был не просто финансовым воротилой, олигархом и человеком, который был на дружеской ноге с братьями Орловыми, князем Потемкиным и государственным канцлером Безбородко. Иван Лазаревич строил чугуноплавильные, железоделательные и медеплавильные заводы на Урале, осваивал новые рудники, экспортировал металл собственного производства, и не куда-нибудь, а в Англию<sup>8</sup>, управлял соляными промыслами в Пермском крае, был советником государственного банка России, автором проекта переселения армян на Северный Кавказ и в Крым, в результате которого десятки тысяч армян стали подданными Российской империи, строил за свой счет школы, детские приюты, наконец, он вместе с другими промышленниками хотел вложить огромные деньги в развитие Аляски. Если бы не Екатерина, которая не дала ходу этому предприятию... И хорошо, что не дала. Берингов пролив – это вам не Керченский. Восемьдесят шесть километров не четыре с половиной, и мост, который пришлось бы строить... Зато в Беринговом лед не в пример толще, и по нему хоть на танке... Оставим, однако, эти опасные для здоровья параллели и вернемся к Ивану Лазаревичу. Правду говоря, все эти достойные удивления, уважения и самого пристального внимания ученых историков стороны деятельности Лазарева для нас, обывателей, затмеваются одним-единственным фактом его биографии – продажей бриллианта весом почти в две сотни каратов графу Орлову, который преподнес его Екатерине Великой в день ее рождения. Екатерина Алексеевна повелела вставить камень в Императорский скипетр, и почти все европейские монархи, исключая только самых бедных, не имевших скипетров, узнав об этом, почернели от зависти.

Трудно после упоминания, даже беглого, о таком огромном бриллианте продолжить рассказывать о маленьком Фряново... И все же я попробую.

При Иване Лазареве качество бархата, парчи и штофов несколько не уступало французскому, но даже и превосходило его<sup>9</sup>. Отрезы фряновских тканей (всего их выпускалось до тридцати видов) даже дарили иностранным послам, и те просили отрезать еще. Штофные шелковые обои были так хороши, что ими украшали стены елизаветинских, екатерининских и павловских дворцов. Растительные орнаменты, лебеди, павлины, пастушки, нифмы, фавны... Мало кто знает, что разнообразие самых фантастических птиц на фряновских штофах было так велико, что по специальному заказу Ивана Лазаревича гоф-медик и аптекарь Екатерины Великой Леопольд Карлович Гебензимирбитте составил их (птиц) специальный определитель, где подробно описал не только экстерьер, но даже реконструировал возможные голоса этих удивительных пернатых, размножавшихся при помощи изнаночных узелков.

Еще и теперь образец фряновских шелковых шпалер украшает стены одной из комнат Большого Царскосельского дворца, и на нем, кроме клейма владельца фабрики, стоит фамилия крепостного мастера.

Иван Лазаревич часто бывал во Фряново. Для своих нужд он выстроил там деревянную усадьбу<sup>10</sup>, в которую я и приехал. В те времена никто не рассчитывал, сколько должен простоять дом, прежде чем его снесут и на этом месте устроит торговый центр с подземной парковкой, а потому строили навсегда. К примеру, доски пола второго этажа положили дубовые, шириной от шестидесяти до восьмидесяти трех сантиметров. Они выдержали все – и революционную поселковую администрацию, и драмкружки, и общеобразовательную школу, и квартиры учителей, и до сих пор никто от них не услышал ни единого жалобного скрипа. Теперь в усадьбе живет фряновский краеведческий музей. Его организовали десять лет тому назад местные энтузиасты. Самым активным энтузиастом был настоятель местной церкви Иоанна Предтечи, построенной еще Иваном Лазаревым, отец Михаил (Герасимов). Батюшка имел большое влияние на тогдашнего главу местной администрации – женщину богобоязненную и воцерковленную до такой степени, что без его благословения она не предпринимала... Впрочем, нет. Без благословения отца Михаила глава администрации ополчилась на языческую Бабу Ягу и требовала от устроителей детских спектаклей на новогодних елках вычеркнуть ее из списка действующих лиц<sup>11</sup>. Как бы там ни было,

отец Михаил при активном содействии фряновских краеведов-энтузиастов В.Н. Морошкина, А.Ф. Круподерова и Г.Н. Донченко смог убедить главу администрации организовать в усадьбе Лазаревых краеведческий музей. В первое время существования музея не обошлось, конечно, без перегибов на местах. Фряновцы несли в музей все подряд – от старых угольных утюгов до старых пустых бутылок. Мало того, какой-то не очень остроумный человек шепнул первому директору музея, что большое количество экспонатов автоматически переводит музей в более высокую категорию, а более высокая категория – это, понятное дело, более высокая зарплата. Директор, не мудрствуя лукаво, просто установил план каждому сотруднику по сбору экспонатов. Сотрудники с директором спорить не стали и несли, тащили и волокли в музей экспонаты в промышленных количествах. Очищать экспонаты от грязи директор строго запрещал – почему-то ему казалось, что чем они грязнее, тем древнее. Сам ли он до этого додумался или кто-то ему подсказал – теперь уж не имеет значения. Так или иначе, музей ожил и заработал. Неутомимый В.Н. Морошкин написал письмо в Армянское посольство, и в усадьбу стали приезжать армяне. Три раза общество «Арагат» проводило во Фрянове Лазаревские чтения по истории армян в России. Около ста человек приехало. К первому разу администрация поселка сделала и установила памятную доску «Усадьба И.Л. Лазарева» и устроила банкет для участников чтений. Во второй раз сотрудники музея устроили для армянских гостей экспозицию, посвященную Лазаревым, прочли доклад, и снова был банкет за счет администрации поселка. В третий и в четвертый приезды все было так хорошо, что после банкета армяне даже запели. Правду говоря, каждый раз после банкетов сотрудники музея заглядывали в ящик для пожертвований на развитие музея, который стоит в вестибюле, и каждый раз надеялись там увидеть... но не увидели. Потом приезжала какая-то армянская школа, армянский писатель, написавший книгу о детище Лазаревых – Институте восточных языков, армянская певица, пытавшаяся продать во Фряново диски со своими песнями... Кто-то из приезжих подарил музею небольшую керамическую вазу, в которую не только заглянули, но даже и потрясли, перевернув вверх дном. Что ни говори, а среди работников музеев еще встречаются у нас наивные люди. Хотя... Нынешний директор музея, Екатерина Чернова, рассказала мне, что ждут они в гости Лазаревых. Этим Лазаревым кажется, что они потомки тех Лазаревых. Поскольку род тех Лазаревых по прямой линии пресекается еще в девятнадцатом веке, то эти Лазаревы скорее всего им даже не однофамильцы, но эти Лазаревы, как доносит разведка, очень богатые люди. Когда Екатерина Евгеньевна об этом рассказывала, то глаза у нее так блестели... Константин Сергеевич в таких случаях не верил. И я не поверил. Снова примут, проведут экскурсию, накормят, напоят, помашут вслед и потом с недоумением будут смотреть в сохшийся от постоянного незаполнения ящик для пожертвований<sup>12</sup>.

Кстати, о прямой линии. К несчастью, единственный сын Ивана Лазаревича Артемий, офицер русской армии, бывший адъютантом у князя Потемкина, погиб в одном из сражений русско-турецкой войны в 1791 году за десять лет до смерти своего отца. Когда Иван Лазаревич скончался в самом начале девятнадцатого века, то по завещанию все имущество Ивана Лазаревича перешло к его родному брату Екиму, который... Вы будете смеяться, но Еким Лазаревич, как когда-то Захарий Шериман, тоже стал продавать шелкоткацкую фабрику<sup>13</sup> вместе с Фряново и усадьбой впридачу. Причины тому были, однако, другие.

На дворе стоял девятнадцатый век. Мануфактуры с прикрепленными к ним навечно так называемыми посессионными крестьянами к тому времени превратились в анахронизм. С одной стороны их теснили новые фабрики тех помещиков, на которых работали их собственные крепостные крестьяне, а с другой – вольнонаемные рабочие, содержание которых обходилось куда как дешевле, не говоря о более высокой производительности вольнонаемного труда. Посессионные крестьяне, считавшие себя казенными, всеми силами сопротивлялись своему закабалению. Ткачи бунтовали почти каждый год, отправляли бесчисленных ходоков с жалобами на свое бесправное положение и маленькую зарплату в столицу, вредили, как могли, производству, запрещая, к примеру, своим женам брать из

фряновской конторы коконы тутового шелкопряда на размотку, или брать, но у конкурентов, или все же на своей фабрике, но держать месяцами дома, из-за чего останавливалось производство. Управляющий фряновской фабрики доносил Екиму Лазаревичу, что рабочие требуют «не взыскивать за испорченные к отделке материи, не требовать в установленное время являться на работу, а когда они хотят, говоря притом, что у них имеются домашние надобности, субботные дни и накануне праздников не заставлять, или не требовать их работы, а предоставить в их волю когда кто и сколько пожелает, то и работает; а по сигналам де на каторге работают, а мы де казенные и свободные люди». Как у них в головах мирно уживались эти два диаметрально противоположных прилагательных «казенные и свободные» – ума не приложу...

Надо признаться, что причины бунтовать были. Достаточно одного четырнадцатичасового рабочего дня, чтобы начать от злости делать узелки на шелковых нитках. Дело дошло до того, что на фабрику был послан с инспекцией представитель министра внутренних дел, «который не замедлил усмотреть, что фабрика очень терпит от господствующего между фабричными духа своеволия и безначалия». И вообще, у Екима Лазаревича было и без того полно забот, связанных с металлургическими заводами на Урале, доход от которых был не в пример больше, чем от фряновской фабрики.

И стал он ее продавать. Двадцать лет продавал. Три раза он хотел продать фабрику казне, и три раза казна отказывалась ее покупать. Делить фабрику по закону нельзя, продавать без бунтующих крестьян нельзя... Уже и нашел Лазарев покупателя на фабрику – московских купцов второй гильдии старообрядцев братьев Рогожиных, уже и заключил с ними договор, но начались бюрократические проволочки, и окончательно все оформить удалось лишь спустя пять дней после смерти Екима Лазаревича в январе 1826 года. Рогожины купили фабрику с обязательством возродить пришедшее в упадок шелкокачество.

То ли кнут у Рогожиных был длиннее, то ли пряник слаще, но, по всей видимости, пользоваться они умели и тем, и другим. Рогожины первыми в России установили на своей фабрике машины француза Жаккара, изобретение которого состояло в том, что рисунок на ткани можно было запрограммировать при помощи специальных металлических перфокарт. Фактически, жаккардов стан был до некоторой степени прообразом аналоговой вычислительной машины. История его появления в России была сложной. Сначала правительство, стремясь оправдать слова Пушкина о том, что оно единственный европеец в России, купило в 1822 году за границей жаккардов стан, привезло его вместе с описанием и чертежами в Москву, где и выставило на обозрение текстильным фабрикантам. Еще через год в Россию приехал иностранец Каненгиссер<sup>14</sup> с усовершенствованной моделью стана, и в этом же году жаккардовы машины заработали во Фряново. В действительности же все было совсем не так просто. Машины Жаккара были довольно несовершенны и представляли собой скорее опытные, нежели серийные образцы. Работать на них было сложно, но до какой степени сложно, представить себе было нельзя, поскольку в работе этих машин никто не видел. В 1826 году Рогожины установили первый стан на своей фабрике и выписали за немалые деньги людей, которые могли обучить фряновских рабочих тонкостям новой технологии. Уже через два года местный умелец скопировал и улучшил машину Жаккара так, что можно было приступать к ее серийному производству<sup>15</sup>.

Новая технология позволила на порядок увеличить объемы производства и улучшить качество получаемого узорного шелка<sup>16</sup>. Через три года после приобретения фабрики Рогожиными в Петербурге проходила «Первая публичная выставка Российских мануфактурных изделий». Это был звездный час рогожинского предприятия. Очевидец писал: «Ни одна мануфактура не сделала столь быстрых успехов. Три залы наполнены были шелковыми всякого рода изделиями, которые, будучи развешаны по стенам и разложены на столах, представили зрелище, сколь великолепное, столько же отрадное для сердца всякого патриота». Список образцов тканей, представленных Рогожиными на выставке, можно хоть со сцены декламировать – столько в нем неизъяснимой прелести. «Ленты гроденаплевые,

разных цветов и узоров; ленты кушачные; платки, газ фасоне омбре, а ла Наварин, гренадиновые фасоне; вуали газ фасоне; эшарф газ фасоне омбре; платки лансе Александрин, Александрин омбре, тож де суа Перс; пальмерин с атласными каймами; эшарф пальмерин тож; газ Марабу лансе; материи узорчатые, гроденапль а ла Грек, бархат разных цветов<sup>17</sup>, полубархат, муслин Ориенталь, пальмерин...». Читаешь и просто кожей ощущаешь, как из-под вуали газ фасоне тебя прожигает насквозь заинтересованный взгляд таких черных глаз... или воображаешь, как гибкую, точеную шею обвивает тончайший, золотистый и узорчатый шелковый шарф из ткани сорта газ Марабу лансе, или руки у тебя чешутся от непреодолимого желания распрямить все оборки и воланы на блестящем пышном платье из гроденапль а ла Грек, или ты медленно, как только возможно, и еще медленнее укутываешь опарные купеческие плечи платком из Александрин омбре де суа Перс...<sup>18</sup> и какая-нибудь монументальная Домна Евстигневна, зябко поводя под этим платком огнедышащими своими плечами, зевнет и скажет...

Впрочем, мы отвлеклись от выставки. Успех был таким полным, что братьям Рогожиным не только вручили специальные именные медали «За трудолюбие и искусство», но и по представлению Мануфактурного Совета Николай Первый удостоил Павла и Николая званиями мануфактур-советников.

Еще через четыре года, в 1835 году, в Москве была устроена вторая «Выставка мануфактурных произведений». И снова «Из произведений известных наших фабрикантов Мануфактур Советников Рогожиных, искусная отделка полосатых гроденаплей заслужила наиболее внимание знатоков. Выставка их была очень разнообразна; их муселин-де-суа, крепы, газы, фуляры... были одобрены всеми». Сама фабрика была самым тщательным образом описана как образцовая, а ее владельцы, братья Рогожины, были награждены орденами Св. Анны третьей степени. И тут... Да, вы не ошиблись – ровно через тринадцать лет после приобретения братья Рогожины решают избавиться от своей фабрики. Оказалось, что под ворохом гроденаплей, муселинов-де-суа, и вуалей газ фасоне постоянно тлел бунт посессионных рабочих. Дошло до того, что в 1837 году суд Богородска признал фряновских ткачей «закостеневшими в буйствах» и «безнадежных к повиновению».

Перед тем, как принять решение о продаже, отказались Рогожины от идеи построить при фабрике школу и устроить музей, в котором хранились бы десятки и, вероятно, сотни досок с рисунками набивных цветочных и геометрических орнаментов.

В 1839 году фабрика начала управляться московскими купцами третьей гильдии братьями Павлом и Гаврилой Ефимовыми. О «ефимовском» периоде, который продлился без малого почти два десятка лет, сказать особенно нечего, кроме того, что фабрика стала именоваться «шелковой и суконной», а посессионные рабочие, наконец, получили свободу. Первое было связано с тем, что узорное шелкоткачество уже к началу второй половины девятнадцатого века стало приходить в упадок из-за недостатка сырья. Да и требовались все эти газ фасоне омбре куда как в меньших количествах, чем добротное теплое сукно, поскольку у нас на дворе, как известно, не май месяц почти весь год. К недостатку сырья прибавилась, как на грех, еще и первая Крымская кампания, о которой никто тогда и знать не знал, что она первая, а для кампании потребовалось большое количество шинельного сукна. Что же до посессионных фряновских рабочих, то они после указа 1840 года, определявшего порядок увольнения их в свободное состояние, отказались перейти в разряд государственных крестьян. Трудно себе это представить, но они вообще были против освобождения. После всех просьб, после всех беспорядков, после десятков лет борьбы за свободу – отказаться от нее?! Оказалось, что ларчик открывался просто. Рабочие боялись, что их лишат земли и домов. В 1846 году, когда Ефимовы объявили рабочим, что намерены их освободить, а землю оставить себе, те отказались дать подписку о своем согласии на увольнение. В конце концов, их причислили к мещанам уездного города Богородска. К 1852 году количество рабочих на фабрике сократилось вдвое, а те, кто остались, стали вольнонаемными.

В 1857 году купившие у братьев Рогожиных фабрику и усадьбу братья Ефимовы продают и то и другое третьим братьям – Залогиним (их, кстати, было трое – Михаил, Константин и Василий). Надо сказать, что фабрика им досталась в плачевном состоянии – жаккардовы станы требовали уже не ремонта, но замены, фабричные корпуса обветшали, а паровая машина могла запарить кого угодно своими бесконечными полочками. Пришлось модернизировать фабрику, возводить новые кирпичные корпуса, покупать мощную паровую машину, проводить электричество... И всего этого счастья могло бы не быть, кабы не несчастье, которым стал пожар 1892 года. Фабрика была застрахована, и полученные страховые суммы пошли аккуратно на техническое переоснащение. Кроме всего прочего, Залогины окончательно перевели фабрику на шерстопрядение. Шелковый путь, который с течением времени превратился сначала в проселок, потом в тропинку, в конечном итоге закончился тупиком.

Правду говоря, и с сырьем для шерстяной пряжи были подчас не меньшие проблемы, чем с сырьем для производства шелка. Самое лучшее сырье приходилось везти из Австралии и Египта, которые уже тогда сели на шерстяную иглу и до сих пор с нее и не слезают. Отечественное сырье годилось только для производства очень грубой пряжи<sup>19</sup>. Его привозили из Средней Азии и с юга России.

Как бы там ни было, а при Залогиних фабрика в очередной раз пришла в «цветущее состояние» и стала одним из крупнейших предприятий России по выработке шерстяной пряжи. К тринадцатому году ее выработывалось более чем на полмиллиона рублей в год. Через год, уже на краю пропасти, чистая прибыль составила почти миллион. Хозяйка фабрики не жалела средств на обустройство быта рабочих – больница с электричеством и канализацией, школа с библиотекой, земское училище, духовой оркестр и драматический кружок<sup>20</sup>. Коротче говоря, к национализации все было подготовлено в лучшем виде.

Рабочие теперь были во Фрянове только вольнонаемные, очень часто и вовсе не местные. Вот этих-то приезжих местные потомки посессионных крестьян терпеть не могли, называли их «вольными» и били. Били нещадно, с остервенением. Били за то, что Петр Первый отдал их в кабалу мануфактурам, за то, что Анна Иоанновна эту кабалу сделала вечной, за то, что прожили они в этой беспросветной кабале без малого полтора века... Посессионное право давно умерло, а они еще были живы. В конце концов, кто-то же должен был им ответить за все эти бесконечные мучения. Самое удивительное, что это деление на коренных и вольных (которыми автоматические объявлялись все иногородние) и эта ненависть сохранились и при советской власти. Воистину «Долгая память хуже, чем сифилис. Особенно в узком кругу».

Вольнонаемный труд быстро укоротил «закостеневших в буйствах» и «безнадежных к повиновению» – ежемесячно до четверти рабочих, при общей численности около четырех сотен человек, увольнялось администрацией за нарушения трудовой дисциплины, при изменениях загруженности фабрики и принималось вновь, при том, что около трех четвертей работало на предприятии постоянно.

Вернемся, однако, к Залогиним. В усадьбе есть зал, посвященный их семейству. Помимо различных фотографий, где запечатлены семейные чаепития на усадебной веранде, выходящей в сад, посаженный еще при Лазаревых, крестильной рубашки одного из Залогиных, швейной машинки «Кайзер», садовой скамейки и других мелочей быта того времени, есть там столетняя дубовая кровать с резными спинками удивительной красоты. Привезли ее сюда из московской квартиры хозяев усадьбы. На ней умирала... Арина Петровна Головлева. Само собой, не всамделишная из романа, а киношная. Года три или четыре назад снимали в усадьбе очередную экранизацию «Господ Головлевых». На этой самой кровати, как рассказывала мне директор музея, «умирала изо всех сил артистка, игравшая Арину Петровну». Екатерина Евгеньевна переживала страшно. Не за Арину Петровну, конечно, а за сохранность кровати. За каждый ее старческий скрип. К счастью, «Господа Головлевы» это все же не «Гусарская баллада».



В восемнадцатом году в терновом венце революций пришла национализация. Теперь уже бывшего члена правления и акционера Товарищества Фряновской мануфактуры Георгия Васильевича Залогина приняли на фабрику ответственным кассиром, а бывшего управляющего фабрикой Сергея Ивановича Ставровского взяли рядовым специалистом. Тут же завелись во Фрянове комсомольские ячейки, молодые коммунисты устроили свой клуб в здании старого фабричного корпуса, но не прошло и трех лет, как кто-то его поджег, и те, кто радовались в семнадцатом приходу новой власти, обрадовались еще больше тому, что «сгорел чертов угол». В начале двадцатых годов Залогин и Ставровский окончательно покинули Фряново и фабрика, которая стала к тому времени называться «Фряновской интернациональной шерстопрядильной фабрикой Камвольного треста» стала жить советской жизнью. В усадьбе поселилась администрация поселка, погорельцы из клуба молодых коммунистов и различные кружки вроде драматического<sup>21</sup>.

Между тем от австралийской и египетской качественной шерсти оставались одни воспоминания, и пришлось фряновцам осваивать грубую и полугрубую отечественную шерсть. «Фряновский способ приготовления смеси» даже описан в учебниках по шерстяной промышленности. Ничего, конечно, хорошего в этом способе не было, просто голь, как известно, хитра на выдумки. В сырье для прядения добавляли пух грубошерстных овец и короткие штапельные волокна. Дешево и сердито. Из полученной пряжи, понятное дело, шевитовое сукно для выходного костюма не сделаешь, но шинельное получится.

К концу шестидесятых годов прошлого века во Фряново были построены еще корпуса, и то, что начиналось когда-то как мануфактура с двумя десятками рабочих, набранных на больших дорогах и в кабаках, стало одной из крупнейших советских камвольно-прядильных фабрик с четырьмя тысячами рабочих... Вот я сейчас написал это и подумал – кого теперь, после того как все утонуло и уже наполовину или даже на две третьих объединено рыбами или заржавело, все эти тысячи рабочих, все эти переходящие пражные знамена, все эти тонны пряжи могут интересовать... Но вы только представьте себе цех по выработке трикотажной пряжи на пятьдесят тысяч веретен. Только представьте себе на мгновение, как оглушающее они жужжали, точно Большое Магелланово Облако пчел, как носились рабочие с третьей космической скоростью между ткацкими станками, чтобы не дай Бог не допустить обрыва нити, как посреди этого всепроникающего жужжания, от которого не загордиться никакими затычками в ушах, мастер энергичными жестами показывал ремонтнику, что он с ним делает, если немедленно не будет заменен подшипник на шпуре, как в окошке счетчика длины пряжи появлялись и исчезали цифры, означающие расстояние от Фряново до Москвы, потом от Москвы до Нью-Йорка и, наконец, от Нью-Йорка до Луны...

Увы, все это был расцвет, напоминавший румянец на щеках у чахоточного. Четверть тысячелетия истории текстильного производства во Фряново неумолимо подходили к концу.

В лазаревской усадьбе есть зал, посвященный советскому периоду. Стоит в нем на старом буфете раскрашенная копилка в виде кошки с красным бантиком на шее, сифон для получения газированной воды, пылесос «Чайка», подаренный музею местным батюшкой, несколько ржавых и продырявленных касок времен войны, первый телевизор «КВН», большая картина, писанная маслом и изображающая танкистов на привале, огромный гипсовый бюст вождя мирового пролетариата, принесенный сюда с фабрики... Она не полуживая, не полумертвая даже, а мертвая совсем. В ее цехах ютятся какие-то мелкие, почти насекомые, предприятия, штампующие пластмассовые тазики и делающие керамическую плитку, поговаривают, что какие-то китайцы или вьетнамцы много лет уже шьют какую-то одежду в подвалах, но никогда не выходят на свет, и только в рабочей казарме из красного кирпича, построенной еще при Залогиных, до сих пор живут люди. У стены казармы стоят две деревянные скамейки, между которыми сделан круглый столик из положенной на бок большой кабельной катушки, а на самой стене белой краской написано два слова – «Фря-



ново» и «Победа». Хотел, было, я написать «Пиррова», да не стану – уж больно красивая и театральная концовка получится.

Когда экскурсия по усадьбе подошла к концу, мы пошли пить чай с директором музея Катей, с ее мужем Сашей, главным редактором журнала «Подмосковный краевед», который знает про музей, про Фряново, про Лазаревых, Рогожиных и Залогиных столько, что, кажется, Катя им, то есть музею, Лазаревым, Рогожиным и Залогиным самую малость завидует может рассказать биографию каждого гвоздя в стене усадьбы и по памяти может воспроизвести любой рисунок на лазаревских штофных обоях<sup>22</sup>.

Мы пили чай с пышными фряновскими пирогами и ватрушками, разговаривали о краеведении, о черных копателях, которые, как оказалось, совершенно бескорыстно приносят в музей множество интересных экспонатов, о том, что, по уверениям доподлинно знающих аборигенов, все местные храмы соединены еще в глубокой древности подземными ходами на случай атомной войны и о том, что в двух флигелях усадьбы еще живут люди. Катя рассказала, что в одном из флигелей еще с двадцатых годов прошлого века живет семья Морошкиных. Тех самых Морошкиных, один из которых был инициатором создания музея в усадьбе. Владимир Николаевич, которому уже девяносто три года, уже и сам в некотором смысле часть музейной экспозиции. Во втором флигеле живет семья погорельцев, которую рано или поздно выселят, и еще одна семья, которая правдами и неправдами сумела приватизировать свою квартиру. Вот их вряд ли выселят, а хотелось бы. Разместить бы в этом флигеле часть музейных экспонатов из запасников... Я слушал Катю и думал о том, что будь я на ее директорском месте – костью бы лег, но этих приватизаторов выселил бы к чертовой матери и... вселился бы сам. Какая красивая и мечтательная жизнь могла бы у меня быть... Утром встал, велел жене подать чай в кабинет. Она тотчас все приготовила и зовет тебя, зовет... а ты уже в запасниках и, забыв обо всем на свете, вытачиваешь на миниатюрном токарном станке новую бронзовую ручку к старинному комоду взамен утерянной, а не то сканируешь старинные фотографии, чтобы вставить их в свой доклад «К вопросу о тонких различиях между шелковыми тканями российского производства второй четверти девятнадцатого века газ Марабу лансе и газ иллюзион лансе», который будет прочитан в Париже на ежегодном конгрессе историков моды. Ну, а обедать уже можно на балконе второго этажа. Смотреть на сад, пить армянский коньяк двухсотлетней выдержки из подвалов графа Ивана Лазаревича Лазарева... но, если честно, то без коньяка можно вполне обойтись. В нынешнем штате музея есть сотрудник, дядя Костя, бодрый еще старик восьмидесяти четырех лет. У него имеется самогонный аппарат собственной конструкции, на котором он производит что-то удивительное, благородного коньячного цвета, пахнущее апельсиновой и лимонной свежестью, забирающее после трех рюмок так...

<sup>1</sup> Правду говоря, Игнатий Шериман ехал в Московию совсем не по целине, а по довольно проторенной дороге. Еще при отце Петра Первого, Алексее Михайловиче, отец Игнатия Шеримана Захарий Саградов (Шериманян) приезжал в Москву по делам Армянской торговой компании из Новой Джульфы. Чтобы дела этой компании шли в России не просто хорошо, а очень хорошо, подарил он русскому царю трон. Покрытый золотом и слоновой костью трон был инкрустирован жемчугом, яхонтами и восьмьюстами алмазами. После этого дела Армянской торговой компании пошли так хорошо, что английские купцы, торговавшие в Московии в то время, довольно долгое время испытывали такую неприязнь к армянам... Не только на свою любимую жареную треску с картошкой смотреть не могли, но даже и от черной икры отвращивались. В скобках все же должен заметить, что некоторые историки сомневаются в том, что Захарий Саградов был отцом Игнатия Шеримана. Ну, может, и не отец. Может, дядя. Может, даже двоюродный. Может, и не дядя вовсе. Согласитесь, однако, что с отцом вся эта история выходит гораздо занимательнее.

<sup>2</sup> Шафиров и Толстой получили от правительства жалованную грамоту на «исключительное заведение в России фабрик серебряных, шелковых и шерстяных парчей и штофов, також

бархатов, атласов, камок и тафт, и иных всяких парчей... лент... и чулков». Еще и торговать беспроцентно всем произведенным добром разрешили на всех ярмарках пятьдесят лет. Еще и дали беспроцентную ссуду. Наверняка Петр наградил бы их рубанком или стамеской с царского плеча, если бы они произвели хоть что-нибудь, сравнимое по качеству и цене с заграничными шелками.

<sup>3</sup> Будете ехать из Москвы во Фряново – у моста через р. Ширенку посмотрите направо – увидите синюю табличку, на которой так и написано «р. Ширенка». Станете этой же дорогой возвращаться в Москву (а другой там и нет, поскольку во Фряново дорога кончается), то на табличке с противоположной стороны моста тоже увидите синюю табличку, на которой будет написано... «р. Ширинка». То ли «топограф был, наверное, в азарте иль с дочкою судьбы накопотке», то ли еще что...

<sup>4</sup> Была и еще одна причина, по которой текстильные фабриканты (в том числе и Шериман) обратились с прошением к Анне Иоанновне о закреплении рабочих на фабриках – воровство. Одна мануфактура у другой мануфактуры тащила все, что не только плохо, но даже и хорошо лежало. Воровали технологии крашения, рисунки по тканям и образцы самих тканей. И ведь что удивительно – одной рукой подписывали прошение к императрице, а другой (всеми остальными руками), даже и не подозревавшей о том, что делает первая, продолжали воровать.

<sup>5</sup> Вот на этом месте вы, поди, ждали какой-нибудь фривольной шутки о гризете и гризетках? Ее не будет. Гризетки тема совершенно другого рассказа. Да и какие, спрашивается, гризетки в России во времена Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны? О них тогда и знать не знали. То есть, знали, конечно, но называли по-другому.

<sup>6</sup> Нельзя сказать, что государство ему не помогало. Помогало, как могло и умело, а умело оно прислать во Фряново несколько десятков рабочих с разорившихся фабрик, лихих людей, промышлявших на большой дороге, и пьяниц (куда же без них), которых у государства всегда было в достатке. К примеру, в 1748 году на фабрику была отдана за «пьянство и позднегождение» крестьянка Анна Васильева из деревни Мневники, которую, как следует из материалов ее дела, в деревню Фряново «за непотребством староста со крестьянами не принимают».

<sup>7</sup> Первая школа просуществовала около десяти лет. Родители не хотели отдавать детей учиться. Дети, как и взрослые, зарабатывали деньги, трудясь от зари до зари на фабрике. Хоть и платили им не в пример меньше взрослых, а лишними эти копейки в семьях не были. Да и крепостного права никто не отменял. Сегодня ты десигнатор, а завтра конюх, если барин захочет, и на конюшне тебе спину изрисуют плетью так, что никакому десигнатору такие узоры не снились.

<sup>8</sup> Спроси у любого из тех, кто прочел хотя бы школьный учебник истории, знает ли он Демидовых? Конечно, знает. И про уральский чугун и пушки знает. А вот про Лазаревых вспомнят только специалисты да те энтузиасты, что до сих пор каждые четыре года устраивают Лазаревские чтения. И это при том, что семейство Лазаревых, в отличие от Демидовых, управляло своими уральскими заводами полтора столетия до самого начала военного коммунизма, а не уехало в девятнадцатом веке на ПМЖ в солнечную Италию.

<sup>9</sup> Между прочим, в жалованной грамоте Екатерины Второй, подтверждающей дворянское достоинство рода Лазаревых, сказано «... выехал он Лазарь с детьми с имением в нашу Империю, здесь же здесь завел знатную Мануфактуру и всегда оказывал с детьми своими нам многие услуги, за что Мы 1774 года 20 мая его Лазаря Лазарева, его детей и их потомков пожаловали в российские дворяне».

<sup>10</sup> Выстроил, но пожить в ней не успел. Иван Лазаревич скончался в том же самом году, в котором усадьбу достроили. Тем не менее, с его жизнью во фряновской усадьбе связан целый ряд легенд, которые с большим удовольствием и каждый раз с новыми подробностями вам расскажут... нет, не в музее. В музее теперь все поставлено на научную основу, а вот от краеведов-любителей можно узнать, к примеру, легенду о Красном Алмазе.

Мало кто знает, что отец Ивана Лазаревича Лазарева, Лазарь Назарович Лазарев вывез из Персии вместе с бриллиантом «Орлов» еще и Красный Алмаз. Дело в том, что Лазарь Назарович был казначеем персидского шаха и понравившиеся ему казенные алмазы откладывал на черный день. Красный Алмаз был отложен на черный день одним из первых. К тому времени, когда усадьба была построена, Лазарь Назарович уже давно умер, и в стену усадьбы Красный

Алмаз пришлось замуровать его сыну Ивану. Обо всем этом, начиная со службы Лазаря Назаровича у шаха, откладывания алмазов на черный день и до самого места, куда Красный Алмаз замуровали, подробно написано в старых бумагах\*, которые были найдены под обоями при ремонте усадьбы. К несчастью, бумаги вместе с обоями куда-то потом запропастились, но еще первый директор музея в знак особого доверия показывал то место в усадьбе, куда был замурован драгоценный камень. Ну, не то, чтобы указывал конкретно то самое место, где Иван Лазаревич крестиком отметил схрон с алмазом, а подымал указующий перст к потолку второго этажа, возводил очи горе и таинственно молчал. То место, в котором первый директор музея многозначительно молчал, закатывал глаза и поднимал вверх палец, мне показали. Крестика, который оставил Иван Лазаревич, я там не увидел – должно быть случайно забелили при очередном ремонте. Тем не менее молва о Красном Алмазе дошла до столицы, и телевизионный Третий Мистический Канал оборвал все телефоны нынешнему директору музея, умоляя пустить их в дом с бриллиантоискателем, чтобы если и не отыскать сокровище, то хотя бы сделать о нем мистическую передачу. Уже и ведущий натренировался поднимать палец вверх, уже и перемерил он на плане усадьбы все комнаты, все коридоры и чуланы, не оставив невымеренной ни пяди. Оказалось, что высота всего дома десять саженей три аршина и шесть пядей, а если взять отдельно высоту комнат, расположенных одна над другой, и сложить, и еще прибавить толщину перекрытий, то окажется, что общая высота равна не более десяти саженей одного аршина и трех пядей. Значит, куда-то исчезли целых два аршина и три пяди... или две. Короче говоря, совершенно ясно, что Красный Алмаз надо искать наверху. Конечно правильно, что директор их не пустила в усадьбу, но если бы пустила – какие сокровища Агры могли бы получиться...

Еще одна легенда связана с виноделием. Могли ли Лазаревы, природные армяне, не заниматься виноделием? Нет, бутылок с коньяком в усадьбе или в усадебном парке не находили. То есть находили, но пустые и к Лазаревым отношения не имеющие никакого. И все же... Однажды в парке, в беседке, которая не сохранилась, какой-то мальчик, в тот самый момент, когда то ли в карты играл с товарищами, то ли просто курил в рукав тайком от родителей, провалился под землю и вылез пьяный там обнаружил огромный подвал глубиной с четырехэтажный дом\*\*, в котором стояли не менее огромные бочки с коньяком, полусладким армянским шампанским и даже с армянским портувейном, против которого португальский просто карлик... Вино, как и беседка, не сохранилось. И бочки тоже. Вы хотите спросить – а был ли мальчик? Может, и был, но он тоже не сохранился.

Совсем в отрывках до нас дошло еще одно предание о посещении усадьбы князем Потемкиным-Таврическим и канцлером империи князем Безбородко. Собственно говоря, кроме этого факта ничего более и не известно. Читателю предлагается самому додумать, что из армянских вин и коньяков было подано к столу, подарил ли Иван Лазаревич своим гостям шелковые халаты, расшитые павлинами и куропатками, родились ли у нескольких крестьянских девок через положенное время младенцы, и не живут ли до сих пор во Фряново в полной безвестности и нищете внебрачные дети Григория Александровича и Александра Андреевича, скрывающие свои знаменитые фамилии под самыми обычными.

\* В этих же бумагах было написано, что за продажу бриллианта «Орлов» русской короне императрица положила Ивану Лазареву ежегодную пенсию в четыреста тысяч золотых екатеринских рублей, а не в ассигнациях, как думают незнающие люди.

\*\* По другой легенде, которая является ответвлением от этой, в таких же четырехэтажных подвалах, но под самой усадьбой, выращивали тутового шелкопряда, чтобы не возить его из Персии. Выращивали, понятное дело, в самом строгом секрете.

<sup>11</sup> Да понимаю я прекрасно, что этот факт к созданию музея не имеет никакого отношения. Просто мне жалко выбрасывать такую затейливую деталь. Пусть она и от другого рассказа. Из точно таких же деталей отмечу бюст Сталина и аптеку на площади рядом с усадьбой. Сначала о бюсте. В начале пятидесятых решили строить во Фряново дом культуры, выкопали котлован под фундамент и... в это самое время лучший друг физкультурников и велосипедистов отдал Повелителю мух то, что было у него вместо души. Фряновцы, как только пришел приказ из столицы о том, что физкультурники, не говоря о велосипедистах, показали на следствии, что

никакого друга у них нет и не было, не медля ни дня, снесли бюст к чертовой матери, а для того, чтобы впредь избежать ненужного поклонения каменному идолу и, не дай Бог, жертвоприношений, его бросили в котлован и сделали частью фундамента. На тему сталинских основ фряновской культуры вы пошутите сами у себя в голове, а я расскажу вам об аптеке. На самом деле ничего особенного в этой аптеке нет. Еще в советские времена она была построена по типовому проекту во Фрянове. В лихие девяностые кто-то из тех, у кого в тот момент были руки по локоть во власти, смог приватизировать это здание. Аптечный бизнес дело тонкое и его, как здание, украсть невозможно. Бизнес заупрямился и не пошел, а здание аптеки осталось. Не пропадать же добру, подумал удачливый приватизатор и поселился вместе с семьей в крепком бетонном здании аптеки, огородил его железным забором и протянул во дворе веревки для сушки белья. Говорят, что дня не проходит, чтобы фряновские мальчишки не позвонили в звонок у ворот и перед тем, как стремглав убежать, не спросили – нет ли в продаже презервативов, анальгина или зеленки.

<sup>12</sup> Мне бы не хотелось делать из этих фактов никаких и тем более далеко идущих выводов. Представим себе, к примеру, ящик для пожертвований в доме-музее Пушкина в Кишиневе или такой же, но Гоголя в Полтаве. Представили? То-то и оно. Особенно в Полтаве.

<sup>13</sup> И это при том, что Иван Лазаревич хотел сохранить фабрику «яко памятник трудов своих собошедший благотворными одобрениями Монархов российских, трудолюбию подданных своих покровительствовавших, и для того никогда не соглашаясь оною продать в чужие руки и за самые знатные суммы, – хотя удобные к тому случаи и встречались».

<sup>14</sup> Написал бы я сейчас, что иностранец по фамилии Каненгиссер остался жить в России и понемногу превратился в Каннегисера. Царская паспортистка ошиблась и при выписывании вида на жительство – потеряла одну букву «с», а вторую «н» случайно задела пером и передвинула на другое место. Обычное дело. С поручиком Кижее еще и не такое приключилось. Внук Каненгиссера, поэт Леонид Каннегиссер пристрелил в восемнадцатом году из нагана ядовитую жабу – чекиста Урицкого. Это о Каннегиссере писал Бальмонт «Пусть вечно светит свет венца бойцам Каплан и Каннегиссер». И никто бы проверять не стал. Так ведь не напишу же, потому как совесть без зубов, а загрызет. Жалеть, однако, буду обязательно.

<sup>15</sup> Местные жители называли машины Жаккара «жигарками».

<sup>16</sup> Довольно быстро жаккардовое ткачество распространилось по всей округе, а потом и по России, и только богородский купец первой гильдии Лев Дмитриевич Лезерсон, имевший свою шелкоткацкую фабрику, отказался устанавливать у себя французские станы, а взял да и усовершенствовал обычный стан. Тут бы надо написать, что дальше опытного образца дело не пошло, и правительство, к которому Лезерсон обращался с просьбой, показало ему... Не обращался он. Даже и не думал. Сам запатентовал свое изобретение, наладил производство своих станов и стал их продавать не куда-нибудь, а в Европу, и даже французские текстильные фабрики лезерсоновские мистралы охотно покупали. Вообще Лезерсон был человеком удивительной судьбы. Родом он был из Любавичей, из очень религиозной и очень бедной еврейской семьи и, конечно, должен был стать раввином, тем более что его папа был очень дружен с самим Шнеерсоном, часть книг из библиотеки которого у нас через много лет так коварно умыкнули и вывезли за океан. Лезерсоны часто ходили в гости к Шнеерсонам, в доме которых было, как известно, ужасно шумно из-за постоянных религиозных диспутов. Обычно маленький Лева забивался куда-нибудь в угол и немножко шил. Никакими силами его невозможно было оторвать от иголки и нитки. В конце концов, родители поняли, что раввина из него не получится, дали ему денег для покупки небольшой швейной фабрики, купили удостоверение купца первой гильдии и посадили на поезд до Москвы.

<sup>17</sup> Кстате о бархате. «Папа всячески поддерживал промышленников, как, например, некоего Рогожина, который изготовлял тафту и бархат. Ему мы обязаны своими первыми бархатными платьями, которые мы надевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета. К нему мы надевали нитку жемчуга с кистью, подарок шаха Персидского». «Папа» здесь император Николай Первый, а «мы» – его дочери, великие княгини Ольга и Мария. Написано о рогожинском бархате Ольгой Николаевной, королевой Вюртембергской в воспоминаниях в 1883 году. Хорошего качества, значит, был бархат, раз о его производителе не забыли и через пятьдесят с лишним лет.

<sup>18</sup> Тут понятно почти все. Александрин – это полосатая ткань из смеси льна и хлопка. Омбре – узор на тканях набитый, или вытканый полосками и переливами оттенков, а вот что такое «де су Перс»... «Шишков, прости: не знаю, как перевести».

<sup>19</sup> Правду говоря, оно и сейчас годится только для него. В Товариществе фряновской шерстопрядильной мануфактуры, которое создали Залогины, одним из акционеров был фабрикант Сергей Иванович Четвериков, тоже имевший свою фабрику. Так вот он как раз и поставил перед собой задачу вывести именно таких овец, шерсть которых будет годна для производства тонкой пряжи. И почти вывел, но тут случилась революция, и все его овцы просто переходили от бескормицы.

<sup>20</sup> Со всем тем работа на фабрике медом не показалась бы никому. Работали круглосуточно, но не в три, а в две смены. Первая смена начинала по гудку паровой машины в пять утра и работала до восьми вечера (вторая с девяти вечера до пяти утра). В десять утра перерыв на сорок пять минут на завтрак. В три часа дня – часовой обед. Под праздники рабочий день был на два часа короче. Неделя ночной смены, затем неделя дневной и снова дневной. Дети работали с двенадцати лет. Драмкружки и библиотеки, конечно, были нужны, но, как говорил герой чеховского рассказа, «Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки».

<sup>21</sup> Среди местных краеведов, любителей рассказывать, как было на самом деле, бытует легенда о том, что в процессе национализации усадьбы новые хозяева выставили за порог дома ненужные им буржуазные пальмы в кадках. Это увидел старый и седой как лунь садовник бывших хозяев. Ночью он отнес пальмы в дальний угол усадебного парка и, поскольку дело было зимой, каждый день ходил поливать их кипятком. Так и вижу эту душераздирающую картину – луна, трескучий мороз, узкая тропинка, протоптанная между сугробами, и по ней осторожно пробирается сгорбленный старик в нагольном тулупе с большим медным чайником в руке, от которого валит пар. Пальм с тех пор, понятное дело, не сохранилось, а вот прекрасный парк остался. Растут в нем яблони, сливы, малина и смородина. Летом работники музея устраивают небольшие грядки и сажают на них овощи. Приезжающих на экскурсии детей отправляют в парк есть яблоки, а сами пьют чай с малиной на веранде второго этажа.

<sup>22</sup> Мало того, что при написании этого рассказа о Фряново я вовсе пользовался краеведческими работами Александра Послыхалина и Екатерины Черновой, так я еще и умучил их бесчисленными вопросами.

*Продолжение следует*

Алексей ГОЛИЦЫН

МЕЖДУ АДСКИМ ВЕТРОМ И НЕТЛЕННЫМ ЛЕНИНЫМ:

*Материалы к биографии Валентина Ярыгина*

Валентин Ярыгин считается первым неподцензурным поэтом Саратова. Читателю уже известен основной корпус его стихотворений и поэм. Наиболее объемные публикации появились в «Волге» (№5-6, 1995; №3, 1999; №413, 2000; №1-2, 2009; №11-12, 2009), а также в журнале «Дети Ра», №9, 2008.

В последнее время стали доступны документы, позволяющие достаточно полно представить биографию поэта. Валентин Ярыгин родился 13 августа 1920 года в городе Сердобске Саратовской губернии (ныне – Пензенской области) в семье сельских учителей. Его мать Анна Григорьевна Ермишина вышла замуж за Акима Еремеевича Ярыгина, для которого это был второй брак. Молодые жили в селе Хованщина Никольской волости в 30 верстах от Сердобска.

Как сообщил в автобиографии красноармеец Ярыгин, его отец с 1917 г. числился на партийной работе, был членом ЧК и упродкомиссаром по бывшему Сердобскому уезду. В марте 1921 г. через село проходила банда Антонова, которая учинила расправу над сторонниками советской власти. Анна Григорьевна впоследствии рассказывала, что ее мужа и родного брата Василия Ермишина повстанцы пытали с особой жесткостью в течение целого дня и в конце концов зарубили. Ей самой проломили голову, а маленького Валу выбросили из зыбки (колыбели) на снег. Мать с сыном выжили только потому, что их посчитали мертвыми.

Эту историю Анна Григорьевна неоднократно пересказывала близким друзьям сына, однако ее внучка Наталья Креленко помнит и другой рассказ бабушки, из которого следует, что на этом злоключения семьи не кончились. По словам Анны Григорьевны, ее с грудным младенцем подобрал и выходил фельдшер-еврей, но через какое-то время антоновцы вернулись, убили его, отрезали ему руку и этой рукой избивали вдову комиссара Ярыгина.

Каким-то чудом и на этот раз мать с ребенком остались живы.

Пензенский краевед Михаил Полубояров так описывает события тех лет: *«Летом 1921 г. через село <Хованщина> проходила одна из банд Антонова. Бандиты схватили местных комсомольцев и членов сельсовета Фалькина, Вишнёва, Колышкина, увезли в Язовку и после пыток казнили. Похоронены в родном селе, могилы не сохранились»*. И далее: *<В селе Пяша Бековского района> «перед зданием сельсовета находится братская могила жертв Антоновщины, убитых в 1921 г.: воспитательницы детского дома имени III Интернационала в селе Никольском, комсомолки М. Н. Воскресенской (1900–1921), несмотря на пытки, не давшей ключи бандитам от помещения с продовольствием; председателя Пяшинского волсполкома, убитого в с. Яковлевке, Д. П. Гаврикова (1884–1921), учителя школы из с. Гранки В. Г. Еремина, убитого в с. Никольском (?–1921), учителя школы из с. Пяша А. Е. (или А. С.) Ярыгина, члена Сердобского уисполкома, убитого в с. Никольском (1892–1921)»* (М. С. Полубояров. *Весь Пензенский край: историко-топографическое описание Пензенской области*, 2014).

Судя по всему, учитель В. Г. Еремин – это и есть родной брат Анны Ярыгиной Василий Ермишин, убитый вместе с Акимом Ярыгиным в Хованщине, одно из названий



которой – как раз село Никольское. Почему одни тела были захоронены в Хованщине, а другие – в селе Пяша, до которого более 11 километров по прямой, а по дороге – более 30 км, можно только догадываться. Скорее всего, похороны жертв контрреволюции имели политическое значение. Тем не менее, судя по приведенным свидетельствам, антоновцы действительно проходили по этой местности дважды: в марте и летом 1921 года.

Как бы то ни было, некоторое время спустя молодая вдова с сыном перебираются в Саратов. Анна Григорьевна после пережитой трагедии становится убежденной атеисткой, вступает в ВКП(б) и начинает преподавать историю в средней школе. Валентин оканчивает в 1938 г. школу на улице Брянской (ныне МОУ «Кадетская школа №16») и в том же году поступает в Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского. Самое раннее стихотворение Ярыгина датируется 1933 годом.

Здесь надо добавить, что мать Валентина Ярыгина после гибели первого мужа пережила еще одну личную трагедию. В Саратове за ней начал ухаживать сосед по коммуналке Валентин Гололобов. Она не приняла его ухаживаний, и однажды молодой человек повесился на рушнике, подаренном ему Анной Григорьевной. А через непродолжительное время Анна Григорьевна вышла замуж за его родного брата – Константина Гололобова и впоследствии родила ему двух детей: Майю в 1926 г. и еще через пять лет Владимира. Добавим, что отчима Константина Ивановича маленький Валентин называл папой.

В вузе будущий поэт сразу же становится «звездой» и ему прочат славу второго Плевако. Косвенным подтверждением этого факта служит групповое фото студентов и преподавателей СЮИ, где по правую руку от Валентина Ярыгина – ректор Петр Иванович Угрюмов, а по левую – Анна Григорьевна, мать, единственная женщина, которую пригласили на торжество из-за успехов ее сына. Кроме того, в 1939 году Валентину назначают стипендию, учрежденную в честь 60-летия Сталина.

Однако грядущая карьера блестящего юриста Ярыгина была прервана финской войной. В январе 1940 г. по настоянию матери, убежденной коммунистки, он уходит добровольцем на фронт. С марта по апрель 1940 г., вплоть до заключения мира с Финляндией, Ярыгин в составе 68 отдельного легко-лыжного эскадрона принимает непосредственное участие в боях на Петрозаводском направлении.

Не успел комсомолец вернуться в родной институт и вступить в партию, как началась Отечественная война, и уже 28 июня 1941 г. Ярыгин вновь пишет заявление о вступлении в ряды Красной армии. Его направляют в Военно-политическое училище Приволжского военного округа, которое находилось в Елабуге. Впоследствии Ярыгин узнал, что во время его учебы в том городе погибла Цветаева, и этому факту он придавал большое значение.

13 февраля 1942 г. Ярыгин успешно оканчивает училище в звании младшего политрука. В марте 1942 он *«работал политруком в 179 курсантской стрелковой бригаде, откуда был отозван и через Главное политическое управление Красной армии вместе с большой группой политработников направлен в действующую армию»*. С 9 апреля по октябрь 1942 Ярыгин работал политруком 7 стрелковой роты в 51 гвардейском стрелковом полку 18 гвардейской Краснознаменной дивизии. С октября 1942 г. по 22 февраля 1943 г. Ярыгин был заместителем командира по политической части в той же роте. *«В октябре 1942 года мне присвоено командное воинское звание – гвардии старший лейтенант»*, – пишет Ярыгин в автобиографии.

22 февраля 1943 г. Валентин Акимович был тяжело ранен при наступлении на ст. Букань в Калужской области. Ранение – «перелом нижней челюсти с обширным дефектом костного вещества» помешало ему получить заслуженную награду. К ордену Отечественной войны II степени он был представлен только 5 июля 1945 года.



В наградном листе отмечается *«хорошая работа Ярыгина по партийно-политическому обеспечению боевых действий роты как командованием части, так и на страницах фронтовой газеты «Красноармейская правда» (в начале 1943 г.) под заглавием “Три дня” и др.»*. Т.е. указанную дату можно считать началом признания поэта Ярыгина, которое, правда, очень быстро закончилось. Более ни одна его строка в официальной печати не появилась.

В этом же документе содержится и описание подвига политука: *«В наступлении на станции Букань штурмовой взвод роты был сильным огнем противника <прижат> к земле, требовалось немедленное продвижение его вперед. Тов. Ярыгин, направившись во взвод, поднял его личным примером храбрости, но в это время был тяжело ранен и эвакуирован в тыл»*.

До августа 1943 г. Ярыгин находился на излечении в госпиталях Москвы, Ижевска и Иркутска, а затем был направлен в Забайкальский военный округ. Там он получил назначение на должность заместителя командира дивизии по политической части в 21-е конное депо. До лета 1946 года служил в Монголии, затем на острове Итуруп. Войну закончил в 1947 г. на Курилах.

Оставив службу, капитан Валентин Ярыгин вернулся в Саратов. Его семья проживала по адресу: ул. Челюскинцев, д. 83, кв. 38. В этом здании ранее располагалось общежитие Высшей партийной школы, а затем его отдали под коммуналки. Вчерашний фронтовик наконец получил возможность окончить юридический институт и в начале 1950-х попал по распределению на должность прокурора в село Березняки Воскресенского района Саратовской области.

Сведения об этом периоде жизни Валентина Ярыгина крайне скудны. Известно, что в это время он женился и у него родилась дочь Елена, с которой он после развода с ее матерью контактов не поддерживал. С государственной службы был уволен якобы из-за пьянства, в 1953 г. вернулся обратно в Саратов и стал работать слесарем. Однако несколько стихотворений 1954 г. были написаны в селе Туголуково Тамбовской области.

В декабре 1960 г. Ярыгин вступил в профсоюз рабочих машиностроения, где числился до апреля 1963 г. В этот период он работал автосварщиком в «п/я 214» – так в те годы назывался Саратовский агрегатный завод (ул. Астраханская, 45). В дальнейшем постоянной работы поэт не имел, обвинений в тунеядстве ему помогало избежать фронтовое ранение. В пенсионном удостоверении указано, что в 1961 г. Ярыгину назначена III группа инвалидности с ежемесячной выплатой сначала 30 руб. 80 коп., а затем – 76 руб. 50 коп.

Примерно в 1964–1965 гг. поэту «повезло» еще раз. На ночной улице на него напали хулиганы и снова повредили челюсть. Нападавших нашли, они оказались отпрысками высокопоставленных родителей, но Ярыгин предпочел не давать делу ход, а согласился на дорогостоящее лечение. Возможно, тогда же группа его инвалидности была «усилена», потому что в последние годы жизни он ни в чем не нуждался: государство платило ему 120 рублей – пенсию, сравнимую с зарплатой инженера.

Помимо того, Ярыгин был крайне неприхотлив в быту, если не сказать беспомощен. Ту же пенсию он получал не самостоятельно, а частями от соседки Елизаветы Ивановны, которая следила за порядком в их многоквартирном доме и заодно готовила непутевому жильцу еду. Помогала Валентину и мать Анна Григорьевна до самой своей смерти в ночь на новый 1968 год.

Богемный образ жизни регулярно приводил Валентина Ярыгина в психиатрическую больницу – знаменитую саратовскую Алтынку. Дочь известного психиатра Александра Гамбурга Ирина вспоминала, что поэт часто передавал свои стихи ее отцу, известному собирателю запрещенной поэзии. В семейном архиве Гамбургов произведения Ярыгина не сохранились, осталась только фотокарточка, на которой по моде тех лет запечатлены

доктора со своими пациентами: основатель саратовской психиатрической школы Михаил Кутанин, профессор Александр Гамбург с коллегой-женой и знаменитый подпольный поэт Валентин Ярыгин.

В конце концов алкоголь и эфедрин фатально сказались на его здоровье. Тело поэта было найдено в квартире на улице Челюскинцев, где он прожил почти всю жизнь. Между печкой и входной дверью Ярыгин постелил на полу газету, свернулся на ней и умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила 30 августа 1970 г., в возрасте 50 лет, от сердечно-сосудистой недостаточности.

\*\*\*

Документы и фотографии Валентина Ярыгина сохранила племянница поэта Наталья Креленко, стихи и рисунки – художник и наш автор Вячеслав Лопатин. Фронтовые документы стали доступны благодаря сайту «Подвиг народа».

Основной источник текстов Валентина Ярыгина – машинописный сборник, отпечатанный его близким другом Львом Ивановым в количестве четырех экземпляров в конце 1962 года. Поэт неоднократно его редактировал: один из уцелевших томов испещрен пометками, новые стихотворения вписаны от руки, другие – тщательно зачеркнуты или вырезаны маникюрными ножницами. При этом поражает соседство под одной обложкой интимной лирики и партийных агиток, боевого листка и эротической миниатюры. Над стихотворением «Десятилетия уже» рукой Ярыгина выведено: «*Перепечатать в самой плохой стенгазете*», над «Нашим Первомаем» – «*Сделать то же, что и с предыдущим*». Однако оба гимна «негленному гению» автор оставил в книге, не зачеркнул и не вырезал. Значит, были у Ярыгина причины донести строки о Ленине до читателя. А значит, и у нас нет причин нарушать авторскую волю. Публикуемые ниже тексты, пожалуй, открывают нам и слабые стороны Ярыгина-поэта, воспринимать их нужно в контексте предыдущих публикаций.



*Ректор СЮИ П. И. Угрюмов, В. А. Ярыгин, А. Г. Ярыгина (в нижнем ряду). Фрагмент групповой фотографии*



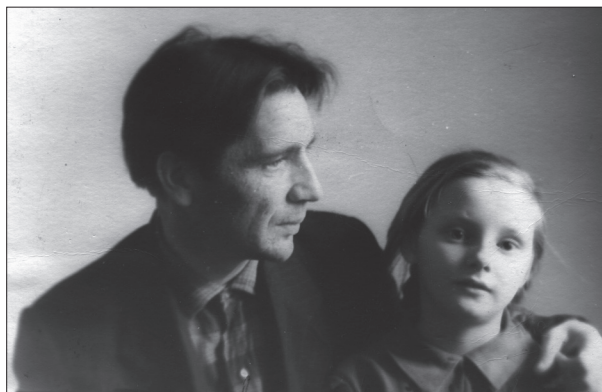
*Ярыгин (справа) перед отправкой на фронт*



*Ярыгин в госпитале*



*Ярыгин на Алтынке*

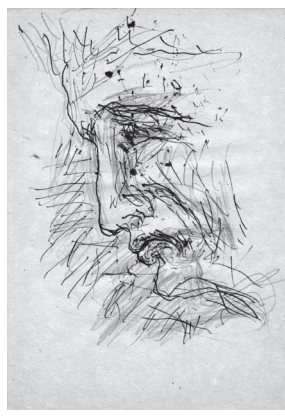
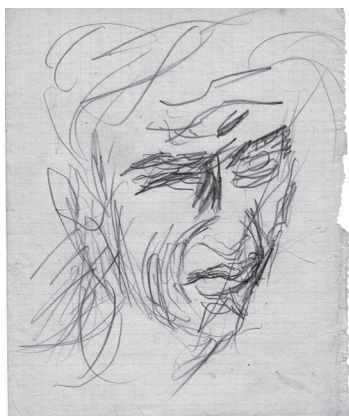


*Ярыгин с дочерью Еленой*





*Саратовские психиатры и их пациенты. В. Ярыгин (третий слева, верхний ряд), А. Гамбург (второй слева во втором ряду), М. Кутанин (четвертый слева во втором ряду) (1952-1953)*



*Рисунки В. Ярыгина*

\*\*\*

День был прекрасен, безоблачен, ясен.  
Майской красою горя,  
Он разливался волной светозарной,  
Чудную прелесть творя.

Солнце блестело в лазури небесной,  
Пряча в сиянье свой облик чудесный.  
Зеркалом пруд берега отражал,  
Золототканною зыбью дрожал.

Птиц голоса там и здесь раздавались.  
Пары кудрявых берёз красовались.  
Дальше, поникнув кудрявой главой,  
Дубы стояли свободной четой.

Краешек Волги виднелся вдали,  
Травы коврами востока легли.  
Борозды вспаханной пашни чернели,  
Пышной листвою сады зеленели.

*1933 год, Саратов*

\*\*\*

Вот и светлая юность зачахла.  
Если плакать и петь, то по ком?  
То, что свежестью вешнею пахло,  
Провоняло теперь табаком.

Никогда ты не будешь иною,  
Никогда не полюбишь меня.  
Пусть всему, дорогая, виною  
Я умру, никого не вина.

*1938 год, Саратов*

\*\*\*

Воспоминание... Да, это было так:  
Цветущая земля и золотые кущи,  
Блаженный синий знойный полумрак  
И страстный крик любви, голодный и влекущий.  
И, наконец, свирепая возня,  
Когда упругое нагое тело  
Вдруг ускользало от тебя, дразня,  
Ты ж настигал и мял остервенело.

Тугие груди, полны и круты,  
 Точно любви, огня и меда сбитни,  
 И все детали юной наготы,  
 Одна другой милей и любопытней.  
 И поцелуи, что прожечь могли б  
 Любое полотно, не будь она нагая,  
 И твой прерывистый звериный хрип,  
 Когда ты сатанел, тугую плоть влагая  
 Преображенным зверем диких стад  
 В ее еще нетронутые недра,  
 Где прелесть пряная и раем черный ад  
 Вознаграждает мученика щедро.  
 Воспоминания... О незабвенный миг!  
 Что знаем равное мы той минуте?  
 Когда впервые наш напор проник  
 В глухую глубину той первожданной сути  
 Всех наших подвигов и смрадных дел,  
 Геройств сияющих и преступлений,  
 В глухую глубину, где ищет свой удел  
 Презренный скользкий червь и величавый гений.  
 Воспоминания... И вновь одно и то ж:  
 Постыдной наготой влекущее виденье  
 Прелестной самки, огневая дрожь  
 И ярость жгучего соединенья.

1940 год

### Стой насмерть!

Товарищ, Родина в крови!  
 За дело честное и правое  
 Стой насмерть – и останови  
 Орду насильников кровавую!  
 Запомни: если рубежа  
 Не отстоял полосу узкую –  
 Не отстоял от грабежа  
 Родной народ, Отчизну русскую!  
 И если бросил свой окоп  
 Или тебя позорно выбили  
 И ты бежал, спасая лоб,  
 То кто ж укроет от погибели  
**Твою** стареющую мать –  
 Лишь на тебя она надеется.  
 Сумеет сын врага прогнать –  
 Одним душа старухи греется.  
 А ты пути в родимый дом  
 Не преградил ползущей гадине!  
 Отца зароет гад живьём,  
 Повесит мать на перекладине!

Найдёт любимую фашист,  
 На землю свалит оголённую  
 Под дикий хохот, гам и свист  
 И опозорит всей колонною!  
 Всё превратит в сплошной костёр,  
 Одних погонит прямо в полямя,  
 Других же братьев и сестёр  
 Погонит босыми и голыми  
 Распродавать как вьючный скот!  
 Боец, ты слышишь их рыдания?  
 Скажи же, кто потом найдёт  
 Тебе за это оправданье,  
 Если в родные города  
 Вползут чудовищные гадины?  
 Зачем же Родиной тогда  
 Тебе ружье с гранатой дадены?!  
 Зачем твой штык отец ковал,  
 Благословила его милая?  
 Чтоб гитлеровец ликовал,  
 Всё истребляя и насилюя!  
 Чтобы на Родине твоей,  
 В краю родимом страшно высились,  
 Качая в петлях матерей,  
 Десятки тысяч чёрных виселиц!  
 Смотри: ещё идёт подлец,  
 Свой каждый шаг в крови печатая.  
 Стреляй без промаха, боец,  
 Коли штыком, рази гранатой!  
 И близок вражеский конец,  
 И сгинет рать его проклятая.  
 В тяжелом яростном бою  
 Не избежав разгрома скорого,  
 Свой штык и Родину свою  
 Не опозорь же, внук Суворова.  
 В горячей схватке впереди  
 За дело честное и правое  
 Стой насмерть, стой и победи  
 Орду немецкую кровавую!  
 Телами вражьими устлал  
 Ты путь былого отступления.  
 Но ты не скажешь, что устал,  
 Ты слышишь Родины веление.  
 Ты видишь, вся она в крови.  
 За дело честное и правое  
 Стой насмерть и останови  
 Орду насильников кровавую.

*1942 год, Западный фронт*



\*\*\*

Радуюсь, весёлыми стадами  
И поём и пляшем мы одни,  
Мы всегда одни, когда страдаем,  
Перелистываем наши дни.

Что наши тоскующие лица  
Праздным толпам! И с глухонемым  
Можно им, поющим, поделиться:  
Празднующим он явился к ним.

Если мы, то мы на праздник вышли,  
Чтобы лишь большее каждый смог  
Осознать, какой он в жизни лишний,  
Как в своём страданье одинок.

*24 июня 1954 г. Саратов*

\*\*\*

Как голубеющая эта  
Сквозь доцветающую медь  
Осенних дней полоска света  
В безбрежность тянет посмотреть!

Полунамёк, полупризнание,  
Она – связующая нить  
Чего-то с тем, что мы не знаем,  
Но без чего безумье жить.

От закатившегося солнца  
До покотившегося вниз  
Листа – мы все ещё очнёмся,  
Мы ненадолго разошлись.

*сентябрь 1955 г.*

\*\*\*

Я что-то ждал, чему-то верил,  
Слагал сонеты, водку пил  
И, полагаю, в должной мере  
Все, что изведал – оценил.

Химера всё: достаток, слава.  
Любую боль перетерплю

Лишь за единственное право  
Пролететь тебе ЛЮБЛЮ!

*15 марта 1957 г.*

\*\*\*

Десятилетия уже  
Мы без него, но разве чудо  
То, что на каждом рубеже,  
Где атакуем, Ленин всюду!  
Где и умри, но победы.  
С наводчика до полководца –  
Неукротимое в груди  
Его живое сердце бьется!  
Десятилетия уже!  
Но перед каждым новым боем,  
На каждом новом этаже  
Того великого, что строим,  
Неугасимый, это он  
К наисчастливейшему внуку,  
Одoleвая даль времен,  
Простер отеческую руку.  
И над несметными рядами  
Бойцов и тружеников лес  
Могучих рук вздымает знамя –  
Бессмертный стяг КПСС!  
Над беспредельем поколений,  
Какую грань ни перейди,  
Ведущий свет, нетленный гений –  
Владимир ЛЕНИН впереди!

*22 апреля 1959 года, Саратов, проспект Ленина*

### **Наш Первомай**

Огни знамен в голубизне.  
Земля и небо, расцветая,  
Поют великий гимн весне  
В чудесный праздник Первомай.  
Студенты, школьники идут,  
Солдаты, труженики строим –  
Миллионы, двигаясь, поют:  
«Мы наш, мы новый мир построим!»  
Как солнце нынче горячо!  
Как пожилым и самым юным –  
Всем улыбаются Хрущев,

Лю-Шао-ци с Мао-Цзе-дуном!  
А с пламенеющих знамен,  
Неувядаем и нетленен,  
Наш свет, тепло и радость он,  
Своим сынам кивает Ленин!

*28 апреля 1959 года, Саратов*

\*\*\*

Пора очнуться, понимая,  
Что как случайный поздний снег  
На молодую зелень мая,  
Ты здесь излишний человек.  
Невесела альтернатива:  
Оскотинеть или уйти,  
Вновь заплутаться у обрыва,  
Где все кончаются пути.  
Все непогоды отбушуют,  
Где отошедшие ко сну  
Не заглядятся на чужую  
Такую светлую весну.  
Ступай и ты. Я не ревную.  
Горячей ласковой рукой  
Свою желанную, родную  
Пусть обоймет тебя другой,  
Один из тех, кто ныне нужен,  
Той наделенный правотой,  
Что принимает жизнь, как ужин,  
Подъемлет рюмкой налитой.  
Иль кто иной из умной массы,  
Что воздвигает новый свет,  
Мир обтекаемой пластмассы,  
Телеэкранов и ракет.  
Все не мое. Я раб недужный.  
Так среди статуй и колонн  
Плененный скиф плевал на южный  
Самодовольный небосклон.  
Но всех зовет своя дорога,  
Своя заветная стезя.  
Судить чужую зло и строго,  
Сказать по совести, нельзя.  
Пусть мой до черного обрыва  
Все тяжелей, все жестче путь.  
Ты невиновна. Будь счастлива.  
Будь хороша. Любима будь.

*Август 1962 года, Саратов*

\*\*\*

Нет, тебя не оценишь с налета,  
Не разбудишь любовью на час.  
И осенняя в них позолота  
Гордой юностью смотрит из глаз.  
То степенная чья-то подруга,  
Тяжела ты, как спелая рожь,  
И внезапно взметнувшись упруго,  
По-девически стройно пройдешь.  
Говорят, переменчиво море.  
А вот я почему-то никак  
Не могу надивиться на зори  
На опять заалевших щеках.  
Хороша ты, дичась и робея,  
Восьмиклассницей ставшая вновь!  
Грустно, что не такой, не тебе я  
Незабвенную отдал любовь.  
Но прошло наше время. Не надо  
Шевелить застаревшую боль.  
Красоте безотказного взгляда  
Посвятить эти строки позволь.  
Жизнь прощальными машет крылами.  
Но пускай наши рамки тесны –  
Вихревое осеннее пламя  
Иногда горячее весны.

*30 сентября 1962 года, Саратов*

\*\*\*

Не помешает волнение,  
Хочется, сердце готово,  
Мне о товарище Ленине  
Вымолвить нежное слово.

Мне не даётся патетика,  
Лики, из бронзы литые.  
С простенького портретика  
Милые помню черты я.

Папу убили антоновцы,  
Но озарили мне детство  
Слава буденновской конницы,  
То, что сам Ленин отец мне.

Как и в тифу и усталые  
Били буржуев поганых

И вынимали их старые  
Их боевые наганы.

Полки томами завалены,  
А ни в одном не сказали,  
Как его лик целовали мы  
И обливали слезами.

Скромный, с такими же рядышком,  
Помню, на стенке висел ли.  
Грустно-увядшие ландыши  
Пахнули утром весенним.

Воспоминание радостно  
Вспыхнет и снова поникнет,  
Жили убитые рядом с ним  
Красные Роза и Либкнехт.

<1962?>

\*\*\*

Ну как же мне, прошедшему глухие  
Пески пустынь, где адский ветер выл,  
Не ликовать, что, может быть, впервые  
Я понял жизнь и вновь благословил.

1962

\*\*\*

От моря света снизу еле  
Заметно небо так близко  
Я на прогулке пру без цели  
Через несметное б...ьё.

Ну, а еще девать куда мне  
Глаза поодаль, а впритык  
Любуясь ляжками, грудями  
Чуть, не особенно привык.

Но что и всё заметней чуть не  
У каждой, выставившей всё,  
Свое иное проститутке  
Как в маске смутное лицо

Как будто в радужные дымки  
Перезакутано до пят

Толкают полуневидимки  
Куда-то призраки спешат.

И атмосфера все угарней  
Сдается-чудится, пройти  
Везде мешающие парни  
Сотворены не из плоти

А для подкраски этой пены  
В неопикуемой красе  
Разряженные манекены  
С витрин повыпрыгнули все.

.....  
.....  
.....  
Фантасмагория течет

И что не выпустит поводья  
Над пузырящимся бурля  
То сам во время половодья  
Курс держит дьявол у руля.

\*\*\*

Навсегда уволившее чудо,  
Перешагиваем тот порог  
В ту страну туманную, откуда  
На попятный нет нужней дорог.  
По каким по формулам собака,  
Чёрт с ним кто он – господ или бес –  
Жизнетворец сплавил вечность мрака  
И один ее мгновенный взблеск.  
Здесь чихнув – туда без поворота  
Знать и ей умка не занимать  
Коли то придумала природа  
Наша, в горло, в дышло, в душу мать.  
Мы коленом с этим злом покончив,  
Проводили им спиритуа-  
листов мистиков под копчик,  
Совершив весь нужный ритуал.

\*\*\*

Никому – Где же он? – из богов я  
не шумел. Человеку пришлось.  
И откликнулась только Голгофа,  
И сошел с нее в душу Христос.

Упоенно – к такому концу ведь  
добредаем – витии шумят.  
Чернь хмельна. Магдалина танцует.  
Как всегда, там и пир, где чума.

Призываем спасителя мира.  
А явился – всё чин-чинарем:  
в кандалы долгожданного и ра-  
спни его, снова орём.

А у нас на прогрессик не сетуй,  
ту мы дикость забыли давно.  
Посильней терапия, чем с этой  
поперечиною бревно.

\*\*\*

Пусть каждый шаг, как в пропасть, труден,  
И через ад промяв версту,  
Я верю, знаю – снова люди  
Придут к Прекрасному Христу.

Забыв их гордую науку,  
Под кровянеющую вновь  
И вновь дарующую руку  
Тепло им, радость и любовь.

И все, что подло, низко, ложно,  
До праха спустится опять.  
Лишь он один, что невозможно  
Ни покорить, ни закопать.

Лишь он один, какой бы камень  
Ни положили на груди,  
Поднимет детскими руками  
И скажет смерти: изыди!

*25 августа 1964 г.*



Олег РОГОВ

ШТРИХИ К ТЕМЕ

*О журнале "Контрапункт"*

Страницы? Да, желтоватые и белоснежные, прозрачные до пробоя закруглений при ударе клавиши. Ленты, копирки, средство «Штрих». Удивление малой продуктивностью «Эрики» в песне Галича – и по 6 в закладке торчало... Невозможность первое время запомнить, что точка и запятая в компьютерном раскладе – это не 6 и 7 с нажатой клавишей прописных...

Конкретику по «Контрапункту» можно посмотреть в замечательной статье Сергея Рыженкова («НЛО», № 48, 2001). Здесь же – несколько штрихов, то, что было в затакте, впрочем, едва ли не большем по времени, чем сама музыкальная тема «Контрапункта».

Замысел литературного журнала родился в начале 1980-х из вопроса Бориса Иванова во время моего очередного к нему визита на Карповку за свежей порцией самиздатской периодики: «Почему бы вам в Саратове не выпускать журнал?»

Вопрос был вполне закономерен – связи Саратова с двумя столицами по части неофициальной литературы были налажены уже несколько лет. «Часы» и «Обводный канал» читались в Саратове узким, конечно, кругом, но в процентном соотношении населения вполне сопоставимым с ленинградским. Не только, конечно, периодика, но и реки текстов текли полноводно в обе стороны.

То время, тесное и удушливое, его тактильность, его свойства и качества сейчас трудно вспомнить, а представить – возможно ли? А ведь их нужно умножить на порядок, когда мы говорим о Саратове – он был закрытым городом с жесткими консервативными традициями. Еще и поэтому настолько мощным был для нас этот свежий порыв ветра, воздух настоящей литературы, которая, оказывается, автономно существует при государственной монополии на печатный станок.

Конечно, это было до перестройки, когда каждый год прибавлял окружающему какую-то почти реальную тусклость и ущерб. Тем дороже были эти контакты; поезда сновали: ночь дороги до Москвы, а от нее еще одна до Питера повторялась много раз в год, а дни в столицах собирались в недели. И, если использовать метафору взаимного обмена, то можно сказать, что это был живой организм.

Начиная с 1984 года в «Часах» и «Обводном канале» было несколько публикаций саратовцев (питерцы вообще охотно печатали провинциалов), наши полуофициальные поэтические вечера проходили в «Клубе-81».

Но вопрос Бориса Иванова оказался актуальным только через какое-то время. Тогда я мыслил, скорее, форматом поэтического альманаха и несколько раз предпринимал попытки его собрать, но неизменно спотыкался из-за нежелания некоторых авторов по тем или иным причинам выходить на такой уровень публичности. Ведь альманах – это как бы уже что-то вроде организации, коллективного действия, а не просто подборка стихотворений, кочующая из рук в руки. А уж журнал...

Но прошло совсем немного времени, и журнал стал вполне органичен. Первый номер помечен 1988 годом – «Контрапункт» в виде литературной ассоциации уже существовал, и отсутствие журнала стало ощущаться достаточно остро. Несмотря на название, это был отдельный проект двух издателей – Сергея Рыженкова и меня – с определенными договоренностями о редакционной политике.

В то время стали появляться журналы нового типа – прежде всего, фактурно. По сравнению с солидными пальто-переплетами «Часов» и «Канала» пробитая дыроколом стопка страниц была одета в легкую курточку прозрачной папки для бумаг; первым эту практичную моду ввел «Митин журнал», если я не ошибаюсь, такой же гардероб был и у «Контрапункта».

Провинциальные литературные журналы медленно, но верно стали появляться в обозримом пространстве самиздата, общению и обмену способствовали квартирные конференции независимых издателей и открытые частные библиотеки. «Контрапункт» был вполне выделяем на этом фоне, благодаря многолетним контактам издателей с иногородними литераторами их произведения органично выглядели на страницах саратовского журнала, да и задумывался «Контрапункт» отнюдь не как издание сугубо регионального направления.

Нужно сказать, что политические в тогдашнем смысле материалы в «Контрапункте» были неизбежны – именно благодаря «диким нравам» нашего города в плане секретности и прессинга. Какие-то публикации на общественные темы мне сейчас кажутся упречными, но в то время наш мирный фронт противостояния системе был весьма разнообразен, и то, что сейчас может неприятно удивлять, тогда казалось не имеющими значения деталями.

Напоследок отмечу, что в последние годы в Интернете стали появляться оцифрованные коллекции периодического самиздата (сканы машинописных страниц). Центр Андрея Белого, помимо прочего, может гордиться полным комплектом «Часов» (<http://arch.susla.ru>), а на сайте университета Торонто (<http://samizdatcollections.library.utoronto.ca>) появилась коллекция с номерами журналов «37», «Обводный канал», «Северная почта» и многих других.

К О Н Т Р А П У Н К Т    В 1	
Евгения Малякин. Стихотворения .....	3
Рафаэль Левчин. Детские игры, или хроника по- последних дней Забубельской школы черных магов. Коллаж. ...	20
Где корыто зарыто? и др. расска- зы .....	44
Окончательный текст. Фантасти- ческая повесть в восьми новел- лах .....	59
Константин Кедров. Комментарий к отсутствующему тексту .....	81
Дмитрий Александрович Пригов. За столом никто у нас не лишняя, а у вас? ...	84
Л/О "Контрапункт". Автобиография .....	89
Андрей Деревянкин. Так кто же тени? .....	93
Предать гласности преступления против демокра- тии. Обращение к СМД .....	99
Приемы к развертыванию Народно-демократическо- го фронта .....	100
"Саратовские известия" .....	102
Письмо в редакцию газеты "Правда" /1973г./ .....	103

Из журнала «КОНТРАПУНКТ», 1988, №1

Евгений МАЛЯКИН

\*\*\*

Неважно, как будешь писать –  
каракулями или вязью,  
что пылью истории стать,  
что стать ее горькой грязью.

Решенье приходит из рая,  
последствия следуют в ад,  
на вдохе в клавиш попадаешь,  
на выдохе вынут назад.

Завистник над свечкой зависнет,  
держат за язык огонек –  
играй, пока время не свистнет  
волшебную флейтой в свисток.

\*\*\*

Видно ты не страна – сторона,  
так и жизнь стороной обойдешь,  
да полны мешок наберешь,  
сам не зная, какого рожна.

И гремят во хрусталь синева  
крутолобые колокола,  
и царевы летят сокола  
из ворот белотканной Москвы –

соколиной охоты твоей  
глухарям ли твоим не любить!..  
дай хотя бы по-волчьи завывать  
над снегами холмов и полей.

для приюта твоим головам  
зарываешь, Россия, столбы,  
и привычно бредешь по грибы,  
суковатую бьешь по буграм...

А я, пасынок твой, дурачок  
с камышовою дудкой в руке –  
от пеленок усвоил шесток,  
да от камня круги по реке,

и, наверно, преданье не врет –  
если надо, воспрянешь, спасешь...  
но теперь меня вынь да положи  
примороженной шукой на лед.

\*\*\*

Слух, как плюшевая губка,  
всё впитает, что дадут –  
воркование голубки  
и Октябрьский салют.

Обоняние постыло,  
в носоглотке пыли ком –  
от того воняет мылом,  
от того – плохим пивком,

Осязание упруго,  
только радость в нем не та –  
то под пальцами супруга,  
то на коже краснота.

Вкус воспитан на подножном  
и сомнительном меню –  
то отравишься пирожным,  
накиряешься в свинью.

Пропитание для зренья  
как у граждан бангладеш –  
в полном смысле совпадение –  
что не хочешь, то и ешь.

Правде, есть шестое чувство  
для избранных небес  
и подвижников искусства –  
но и это темный лес.

...Жизнь гораздо на подсечки  
тем, кто слишком с ней знаком –  
ляжешь чистенькой овечкой,  
а проснешься – пауком.

\*\*\*

*О, сад моих друзей...*  
А.П.

Как бы не вышло сломаться садовой трещоткой  
на смех скворцам и рассветной воде полуголой

медленной лодке  
скользящей по омуту лодке  
с хлебом на задней скамье и каменной солью.

если бы выйти в тягучий надрез винограда  
блеском холодного мяса и сладкого сока,  
в темный разлом деревянной садовой ограды  
к спящей дороге  
к тропинке, уснувшей до срока...

### Разговор с отражением

Когда допьешь себя до пустоты  
ночной степи под желтым лунным веком  
войди в меня – чем я тебе не ты?  
читай меня – чем не библиотека?

играй меня – чем я тебе не роль?  
вселенная без времени и края...  
и слаще соли будет только соль,  
и хуже жизни – только жизнь иная...

*Дмитрий Александрович ПРИГОВ*

---

### За столом никто у нас не лишний, а у вас?

В определенные исторические периоды язык описания какой-либо сферы человеческой деятельности становится предпочтительным языком описания как всей суммы культурной активности человека, так и ее отдельных областей (зачастую, конечно, способом метафорических уподоблений). Обнажая со временем как свою историческую ограниченность, так и абсурдность тотальных амбиций описать всё в его предельной специфике, подобная тенденция в конкретный момент своего объявления и стремительного завоевания людских умов отражает какие-то новые, неизвестные или не работающие досель механизмы и уровни единства всей человеческой деятельности. Такими языками объявлялись (естественно, не претендуя на какую-либо полноту перечисления, просто помянем некоторые последние) языки биологии, социологии, психоаналитики, структурализма и т.п. Как мне представляется, сейчас наиболее соответствующим как состоянию человеческих дел в мире, так и по способу освоения единства человека с миром является экологический способ мышления и язык.

Теперь более конкретно о делах искусства.

Буквально в течение полугода культурная жизнь Москвы выплеснула на зрителя, слушателя, читателя гигантский поток неведомых ему до сей поры не только произведений и имен, но и стилей, направлений и способов существования в искусстве. Объявилось огромное количество нерешенных, неартикулированных отношений, типа «новоявленный художник» – зритель, «новоявленный художник» – «официальный художник», «новоявленный художник» – функционер, «новоявленный художник» – «новоявлен-

ный художник», «новоявленный художник» – искусствовед, «расширившаяся культура» – зритель, «расширившаяся культура» – искусствовед, «расширившаяся культура» – художник. Многие из этих отношений, возможно, являются модификациями уже известных, но в сумме они порождают ситуацию.

Очевидно, что кроме просто пока узнавания, образовательного уровня и разного рода социальных моментов, вносящих определенную путаницу, основные несходства в разрешении этих взаимоотношений будут зависеть от того, функциями какой основной культурной модели они предстанут.

Посему, буквально после двух-трех так называемых «авангардных» выставок проблемой оказалось не пестование новых стилей и направлений (я не имею в виду социальный аспект происходящего), так как в своем прежнем, докультурном существовании они, как оказалось (в подтверждение неумолимости существования и манифестации вечных внутренних, имманентных законов развития искусства), уже вполне сформировались, набрали максимально-необходимую массу как деятелей, так и зрительского окружения, чтобы оформиться в отдельно функционирующий организм. Проблемой стало осмыслить их место в культуре. И следом, буквально тут же, в процессе неловких попыток осмыслить и описать всё это посредством нарративных способов и терминов, отработанных в пределах старого культурного сознания, встала почти глобальная проблема – проблема нового культурного сознания.

По причине стремительного наверстывания упущенного (кстати не впервые в нашей истории), нам приходится синхронно решать проблемы, которые должны были решаться во временной последовательности (что, конечно, вносит в этот процесс определенную смуту «вечного покоя» и «вечных истин»; и из-за временно синхронности – непонимание неизбежности прослеживания всё-таки логической последовательности этого процесса). То есть речь идет о переходе от моностилевого сознания к плюрализму (накопление и одновременное сосуществование множества стилей) и затем к экологическому сознанию (структурному осмыслению этого явления и образованию метакультурного сознания, способного отразить этот процесс и созидать на этом уровне).

Надо сказать, что наличие и функционирование достаточно долгое время так называемой «неофициальной культуры» тоже не способствовало этому процессу, так как в состоянии социально навязанного ей противостояния как способы выжить, в противовес официальному моностилевому сознанию неофициальная культура мыслила, а многие ее бывшие представители мыслят и до сих пор, оппозициями (которые, как показывает опыт, являются основными принципами мышления в пространстве преимущественно мифологически-идеологического напряжения), сводя проблематику культурного строительства к проблемам вековечно воспроизводящегося противостояния живого, нового и застойного, академизирующегося. Но в нынешней культурной ситуации проглядывается проблема не вечного единства борьбы противоположностей, но проблема единства многофункционального организма; вернее, не отменяя первую, вторая на данный момент объявляется как бы доминантной, «стягивающей» на себя все другие.

Уже первые экспозиции невыставившихся художников и буквально несколько месяцев их открытого функционирования обнаружили картину сложную. Оказалось, что все, кто внешними обстоятельствами был сбит в один круг запрещенных, невыставляемых, при разрушении внешних ограждений тут же разлетелись столь далеко, что через некоторое время степень родства между ними и вовсе трудно будет установить. Иногда легче определить связь некоторых направлений и стилей с другими родами искусства, нежели между ними внутри изобразительного искусства; так абстракционизм и конструктивизм прослеживают общие структурные основания с джазом; концептуализм и вовсе существует на границе с литературой, и многие его произведения только волевым авторским назначением определяются на службу в изобразительное искусство (иногда они мигри-

ругую со временем, или бываю двойного подданства); деятели нью-вейна и постмодерна зачастую являются деятелями рок-движения; о степени родства перформансов, хеппингов и акций с новой театральностью и говорить не приходится.

Так что нынешняя ситуация, когда в культуре функционируют множество тенденций, без видимых признаков ущербности и аутсайдерства, многим из них, и при условии, конечно, дальнейшего естественного развития культуры и функционирования по естественным законам, трудно будет воспользоваться для описания всего этого наиболее распространенной у нас прогрессивистской моделью. То есть моделью, когда все сменявшие и сменяющие друг друга стили и направления как бы служат для выстраивания и торжества последнего, самого истинного, отменяющего все предыдущие по причине их тотальной неистинности или временной обветшалости, разрешая некоторым из них существовать в сферах маргинальных или кичевых.

Точно так же, когда набор параллельно существующих стилей (и к тому же многих отважных и отчаянных попыток самым немислимым образом выяснить, либо обострить взаимоотношения искусства и неискусства, попыток радикального пересмотра их границ, ставших уже стилевым актом), значит, когда набор сей достаточно велик, когда накопилось уже порядком и нео-стилей, когда сам стиль еще не успевает отжить, а уже воспринимается с позиции ретро – авангардистский способ мышления тоже не в состоянии описать нынешнюю ситуацию.

Пожалуй, понять культуру в ее нынешнем состоянии можно только как экологическое пространство, где каждый занимает свою нишу и исполняет свою миссию, взаимодействуя с соседями, не навязывая им свой способ порождения произведений искусства, законы функционирования среди зрителей, законы конституирования «художников» и «гениев». Ни одному из них не дано «стянуть» на себя глобальное артикулирование культуры (как это было возможно раньше при одном, доминирующем направлении в искусстве). Ясно, что при таком понимании культуры ущерб одного из ее составляющих есть ущерб для всех остальных, так как только культура целиком (и в отношении каждого из ее членов и в презентации наружу) может осмыслить и артикулировать целостное понимание мира.

Подобный подход порождает и новый способ, и новый уровень художествования, который, конечно, как было сказано выше, не мешает взять на себя описание мира в целом, но являет возможность внутриязыковых связей всех ниш экологического пространства культуры, т.е. тот уровень, который осмысляет все стили и направления как художественные позы и художественный язык описания, обнаруживает законы поведения в культурной ситуации и работает с ними.

В свое время схожими проблемами, правда, на более узком пространстве, занимался концептуализм. В наше время, уйдя от жестких норм стилевого проявления концептуализма, его «табу» и тотальной серьезности, многие художники вполне отрефлексированно, и в то же время волне искренне «впадая» в стиль, являют в сфере художественного творчества аналог метакультурного, экологического сознания – метахудожественное сознание, которое (дабы отделаться от навязывания у нас всему непонятному и будоражащему имени концептуализма, но и памятуя все-таки, что он стал некой точкой отсчета нового измерения в культурном сознании) я бы назвал концептуалитетом. Концептуалитет предполагает понимание каждого стиля и направления истинным в пределах своей аксиоматики и дает возможность спокойного сосуществования их в культуре.

И под конец следует заметить, что всё это не отменяет вдохновенный, «откровенческий» способ существования в сфере культурно-экзистенциальной и напряжение эстетического противостояния в сфере социо-культурной.



Марина КУЗИЧЕВА

«В УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗЕ –  
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ...»

*О стихах Татьяны Грауз*

За стихами Татьяны Грауз мне слышится ее реальный голос – теплого, чуть приглушенного тембра. В нем есть тишина, какой-то из звуковых изводов тишины. Стоит послушать, как читает автор, чтобы потом, глядя на текст, помнить этот неторопливый темп и ясный тон.

В пространстве этих кратких стихотворений слова расставлены, кажется, легко рукой. Но за этой – сродни музыкальному слуху – легкостью сквозит опыт боли и радости, роднящий нас со всем, что живет внутри времени, а значит – уходит.

Когда мы говорим о поэтике скупотемперенного, выстраивающего собственное пространство слова, мы сразу вспоминаем Геннадия Айги. Есть и более веская причина назвать здесь это имя: дружба двух поэтов всегда значит больше, чем факт биографии. Существует ли школа Айги, можно спорить, но, говоря о стихах Татьяны Грауз, стоит привести его слова о самом себе: «..У меня через каждую строку все меняется. И все должно быть цельно. И тут ритм становится главной силой». В каждом стихотворении Геннадия Айги ритм образует мощное, почти осязаемое смысловое поле, и оно удерживает все здание стиха вернее рифмы и регулярно метра. В этих стенах – сосредоточенное молчание: оно отсекает лишнее, растит созерцание. Это поэзия мета-языка, акустика мета-разговора.

В поэзии Татьяны Грауз – та же свобода ритмического высказывания: у каждого стихотворения складывается («сказывается») свой легкий канон. С поэзией Айги ее роднит и лаконичность, порой заставляющая вспомнить о формах танка или хайку, и «хлебниковский» умный

глаз, проникающий внутреннюю жизнь слова, – всегда бережно, как отделяют живой корень растения, не повредив. Но пространство этих стихов – иное. В нем больше предметов, касаний, окон, дальних голосов, меток памяти, мелодий речи. Пушкинские «цветок засохший, безуханный, забытый в книге» или «татьянин» первый снег из «Онегина» – вот какое дополнительное родство просится для этой лирической стихии, исполненной высокой простоты и печали.

Старинное лирическое чувство – и новая свободная форма. Чувство ищет новой точности выражения, – и вот перед нами паузы-пробелы, лесенка, прихотливый рисунок строфы. А вольная форма ищет границы, гармонии, соединения частей в целое. Именно чудо целого – найденного сверх-ритма, обнимающего целое стихотворения поверх ритма отдельных строк, – может быть, главное в стихах Татьяны Грауз. И это целое чудесно не силой, а мягкостью жеста, легкостью мелодического хода, которым оно удерживается вместе. Мы перечитываем стихотворение и повторяем этот жест и ход: слова расцветают.

В каждом стихотворении сверх-ритм свой. Он выстроен из иерархии пауз, из перекличек звукоочетаний, из соотношения ритмов, из сразу угадываемых при чтении, словно припоминаемых (таких знакомых!) интонаций – письма? жалобы? утешения? Графическое расположение текста дополняет то, что выстроено дыханием. Нет словов, разрывов; есть долгие и короткие волны:

день строго говоря как день  
и ночь нестрогая  
и сумерками выструганные  
из темноты дерева

Форма этих стихотворений легка, как след только что прозвучавшей фразы. Верлибр и в целом – летучее вещество: он

хранится в книге лучше, чем в памяти, а полное всего существует в живом авторском чтении. XX век показал нам, что верлибр может быть замкнуто-герметичен, а может быть и бесконечен, как джазовые импровизации. Поэзия Татьяны Грауз на этом фоне наделена особыми свойствами: она замкнута и открыта одновременно. Вдруг внутреннее высказывание складывается в ясный иероглиф стиха. Рука выводит его на запотевшем стекле автобуса, наполненного людьми. Послание медленно исчезает, но кто-то успевает его прочесть, и уносит с собой.

*Андрей ПЕРМЯКОВ*

#### ВЫЧИТАНИЕ ВРЕМЕНИ

**Д. Тонконогов. Один к одному. – М.: Ваймега, 2015. – 36 с.**

**А. Дьячков. Игра воды – б.м.: Издательские решения, 2015. – 198 с.**

Иногда данное критиками определение группы авторов оказывается столь точным, что его продолжают употреблять вопреки явной перемене обстоятельств или времён. Чаще всего, конечно, времён. Скажем, прозаики, пришедшие в литературу около середины семидесятых годов, оставались «сорокалетними» и в XXI веке. Нечто подобное, пусть и не на столь масштабном отрезке времени, произошло с поэтами, вошедшими в антологию 10/30 «Стихи тридцатилетних»<sup>1</sup>. Хотя в этом случае всё обстоит чуть сложнее. Например, Евгения Вежлян, близкая и по возрасту, и, возможно, по эстетике к этим авторам, утверждает, что «...было, по сути, два круга. Один, внешний, – это поэты, вошедшие в антологию “10/30. Стихи тридцатилетних” (М., 2002)... Другой, внутренний, – это так называемая группа

“тридцатилетних” (Амелин, Кузнецова, Шульпяков, Тонконогов, Янышев)»<sup>2</sup>.

Однако Максим Амелин, во многом и ставший виновником появления той антологии на свет, говорит вещи ровно противоположные: «...объединение это было чисто механическим – живые и мертвые, эмигранты и здешние, жители обеих столиц и провинциалы...»<sup>3</sup>.

Заметим: при таком текстоцентрическом подходе с упором на качество текстов антология включала совсем немногих авторов. Соответственно, о каждом из них возник довольно серьёзный и аргументированный разговор. Не стал исключением и Дмитрий Тонконогов. Вернее, о нём было написано едва ли не больше, нежели о прочих участниках проекта. Очень уж трудноопределимой оказалась его поэтика. Дмитрий Бак удивления не скрывал: «Отдельного разговора заслуживают стихи Дмитрия Тонконогова, в некотором роде загадочные. С одной стороны – и тут рассказываются истории: про одинокую старуху, проводившую из дому навсегда сестру и “лучшего мужа” и теперь только протирающую чёрный телефон; про престарелого Гамсуна, у которого “прохожие уже не спрашивают дорогу”; про последнее ночное купание перед отъездом прочь от летней Балтики... Однако эти (равно как и другие) истории при ближайшем рассмотрении обнаруживают нечто странное. В сюжетно выстроенных и по видимости логичных и последовательных рассказах на поверку присутствуют три совершенно разноприродных, не сведённых воедино измерения: протекание во времени событий как таковых, впечатления их участника и созерцателя, наконец, предметы, служащие антуражем. Происшествия, ощущения, вещи живут обособленно друг от друга, но – одновременно; потому-то и описываются они параллель-

<sup>2</sup> Евгения Вежлян. Портрет поколения на фоне поэзии. Молодая литература в поисках мейнстрима // Новый Мир. 2006. №10.

<sup>3</sup> Максим Амелин, Вероника Зусева. «Тридцатилетние» семь лет спустя // Арион. 2010. №1.

<sup>1</sup> 10/30. Стихи тридцатилетних: [антология] – М.: МК-Периодика, 2002.

ными курсами, при этом ничто не доминирует безоговорочно»<sup>4</sup>.

Спустя два года после выхода антологии появилась дебютная книга Тонконогова<sup>5</sup>. Естественно, сборник без внимания не остался, заслуженно получив премию «Московский счёт». Рецензий на него появилось немало, и рецензий весьма не дежурных. Выказались Мария Галина, Владимир Губайловский, Валерий Шубинский... Кроме моментов, отмеченных Дмитрием Баком, почти все критики говорили про обращённость автора к поэтике обэриутов – в её метафизическом аспекте. Действительно, в книге эта нога оказалась много отчётливей, нежели в антологии. Впрочем, звучали и не то чтобы упреки в некотором пассаизме, но скорее указания на этот самый пассаизм. Дескать, Тонконогов использует средства, вошедшие в обиход «актуальных» авторов десятилетием ранее.

Следующей книги пришлось ждать долго. По нынешним временам – очень долго. При этом автор постоянно «оставался на слуху», «пребывал в процессе». Или какие ещё существуют формулировки для обозначения того, что поэт работает? Но книга появилась лишь теперь. И опять тоненькая. Даже тоньше дебютной. Что ж, сперва прочтём её самым поверхностным образом, на уровне приёмов. Остались ли отсылки к обэриутам? Вполне. Например, вот:

### Лифт

Мечется в кабине Белла Исааковна,  
давит на кнопки и уже начинает  
рыдать.  
Муж выносил помойное ведро  
после завтрака,  
сразу всё понял и жену побежал  
извлекать.

<sup>4</sup> Максим Амелин, Вероника Зусева. «Тридцатилетние» семь лет спустя // Арион. 2010. №1.

<sup>5</sup> Дмитрий Тонконогов. Тёмная азбука. – М.: Emergency Exit / Запасный выход, 2004. – 48 с.

Видит: топчутся тапочки парусиновые,  
розовая ночнушка выглядывает  
из-под халата.  
Он схватился руками, напряг  
лошадиные силы,  
дрогнули тросы, и раздвинулись  
двери как надо.  
По этому случаю Белла Исааковна  
поставила тесто.  
Заполночь пили чай и говорили  
о многом.  
Знаешь, Белла, я буду спать рядом,  
там моё место,  
мало ли что, трясение земли,  
воздушная эта тревога.  
И они полетели, как осенние листья.  
Белла Исааковна чихала  
от уличной пыли.  
Он притворялся кузнечиком,  
притворялся рысью,  
а кем ещё притвориться, чтобы  
любили?

Заметим: речь идёт именно об отсылках, о приёме. Финал-то совсем не обэриутский!

Остались ли особые отношения со временем и пребыванием в этом самом времени? Конечно. Приведённый выше текст – один из самых линейных в книге. А вот, например, в стихотворении «Сёстры» идёт длительное перечисление имён, фамилий и занятий каких-то молодых женщин. Имена их подчёркнуто надёжны и старообразны: Марфа, Прасковья, Клеопатра. Занятия тоже: сбор черники, разглядывание репродукций известных художников, сетования на подступающие времена вечного эскалатора и квартирных ремонтов... Финалы у текста возможны разнообразные, но предсказуемые, так или иначе. Ну, да. Кажется, все эти сёстры умирают: «Но пока, сёстры, Господь приготовил санки...». И вот тут начинается самое интересное. Бабули, оставаясь вполне присутствующими («Их видели с вертолётки») поднимаются по ступенькам в небо. Тоже, вроде бы, неновый приём для описания посмертных приключений. Однако и подъём не оказывается финалом! На-

верху женщины похоронили товарку Праксиковую, превратившуюся в сугроб, а стало быть – умершую после смерти, и

...заскользили вниз, подпрыгивая  
на трамплинах,  
ныли полозья, не оставляя следа  
на льду,  
закрывали глаза и видели  
пульсирующие перья павлина.

В 2003-м году.

Это о чём? О реинкарнации? А павлин откуда? Из Мандельштама? Или автор подразумевает христианский символизм этой птицы? И почему год именно 2003-й? Явно ж не случайно, но и без объяснений. И такой сад расходящихся тропок возникает в стихах Тонконогова раз за разом. Причём тропки эти расходятся и во времени, и в пространстве физическом, и в мире литературы. Расходятся одновременно будто бы в разных измерениях. Вот относительно простой снаружи текст:

2

Метро ещё не открыли, и мы пока  
стоим у прозрачных дверей,  
как два мудака:  
Иванов и я, типичные представители  
народных масс.  
Но почему-то искусство поэзии  
требует нас,  
вытаскивает из постели, из-за  
обеденного стола.  
А если я устал, в самом деле, или  
ко мне баба пришла?  
Так говорит Иванов, протискиваясь  
в вагоны.  
На «Площади Революции» держат  
небо Лаокооны.  
А мы ничего не держим, лишь  
наблюдаем или пробуем на вкус.  
И несём себя, словно аквариум или  
иной, но бесценный груз.

3

*В этом месте Бог водит моей рукой,  
потому и почерк, как видите, не такой.*

Аллюзии на двух классиков и на один умеренно похабный анекдот распознает каждый. А вот про Иванова догадаетесь? На мой взгляд, это не Иванов как типичный образ согражданина, и не гребенщиковский «Иванов на остановке», а костромской поэт Владимир Иванов. Образ узнаваемый, одной строкой созданный. Но почему Иванов протискивается не в вагон, но в вагоны? Не в силу корпулентности своей, конечно, а по причине квантовой неопределённости: в этих стихах можно и нужно попадать одновременно в разные вагоны и двигаться по всем направлениям.

Для чего нужно? А для того же, для чего в текстах Тонконогова сосуществуют приёмы из поэтик, казалось бы, несопоставимых меж собой. Здесь вновь можно попридираться к его манере стихописания, ещё раз отметить использование путей, вроде бы освоенных актуальной поэзией несколько лет назад. Взять те же «зоны непрозрачного смысла», безусловно, важные для поэтики Тонконогова. Термин предложил Данила Давыдов, предложил достаточно давно, и тогда же обильно проиллюстрировал примерами из творчества современных авторов. С тех пор авторы эти в количествах освоили новые тропы. Проблема не в именительном падеже существительного – «троп» или «тропа» – а в том, что освоение это служит вещам сиюминутным, создавая поэзию сэлфи, поэзию офиса, поэзию среднего звена. Именно такую поэзию, о которой Дмитрий Тонконогов отзывается вполне однозначно: «В неизменный антураж фотостудии приходят все новые и новые лица, а электронная камера не устает делать однотипные снимки.

Если мне, как герою Аверченко во время революции, придется довольствоваться чтением виселиц в виде буквочек “Г”, но при этом предложат на выбор еще и стихи менеджеров, то Полозковой предпочту Улюкаева. Хотя бы потому, что он не среднего звена. И вообще министр»<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Дмитрий Тонконогов. Все хотят быть поэтами // Арион. 2014. №3.

Так вот. Разнообразие освоенных и очевидных стихотворных приёмов и техник служит лирическому герою поэзии Тонконогова для обживания в мире, где

Шаг вправо не расценивается никак,  
шаг влево не приравнивается ни к  
чему.

Важное: это не проблемы пространства, это проблемы времени. Время сделалось настолько странным, что можно идти в любую сторону: всё равно рано или поздно побываешь во всех точках мироздания. Отсюда и бесконечные параллельности существования персонажей этих стихов.

Так что же, постмодерн оказался прав? Мир это текст? Да. И этот текст точнее, вернее, интереснее мира:

...

Золотая лежала оправа,  
отражая Московский вокзал.

Там и я, бледнолицый и хмурый,  
выношу на перрон рюкзаки.  
Всё закончилось литературой  
и продолжилось ей вопреки.

Да, заглянув в биографические справки, мы увидим в анамнезе автора и работу в экспедициях, и многочисленные путешествия. А в стихах не увидим – мир, созданный из слов и взаимоотношений этих слов, оказался интересней. Случай не уникальный. У многих ведь так. Очевиднейший пример – Сергей Гандлевский. Вопрос не в средствах, а в целях. Хотя какими могут быть цели в мире, где время остановлено навсегда и любой путь приводит в любую точку?

Повторим вопрос, чуть его переменяем. Так что же, постмодерн оказался прав? Все слова одинаковы, никакое высказывание не имеет смысла? Нет. Просто целью вновь становится не итог пути, а сам путь. Причём в каждый из моментов пути ты выбираешь не только следующий шаг, но и начальную точку. Это, опять-таки, парадокс из области квантовой физики, но

парадокс, работающий и в нашем макроскопическом мире. Дмитрий Тонконогов это отчётливо понимает и действует соответственно пониманию. Но понимание своё прячет. Когда я рассказал ему, что пишу рецензию на «Один к одному», вернее, почти уже дописал, он спросил:

– А ты заметил, что я туда взял кое-чего из старого?

– Заметил, конечно. И даже, наверное, понял почему.

– Нет, я просто так. У меня новых мало, так я старыми добрал.

Я, конечно, сделал вид, будто поверил. Будто не понял, отчего Дмитрий включил в новую книгу кратчайший верлибр про переход на зимнее время, а громокипящий и едва ли не самый известный свой текст со строчками «Рот мой – Аральское море. Неужели все это я? / Две морщины глубокие – Сырдарья и Амударья» включать не стал. Для восполнения нехватки строчек логично ж печатать более длинные стихотворения?

Ладно, не хочет рассказывать – не надо. Сами догадаемся. Для этого вполне достаточно внимательно прочесть книгу. Но отчего б хорошую-то книгу не прочесть? Тем более такую компактную. Не маленькую, а именно компактную, длящуюся ровно столько, сколько нужно. Вот как это стихотворение:

### Game Over

Говорила тебе Ленка Смирнова,  
не прерывая процесса:  
Мандельштам твой, ну честное слово,  
грустная копия де Фюнеса.  
Небеса намалёваны синие,  
бестолковые бродят жандармы.  
И улыбки приплюснутой линия  
не покинет свои кинокадры.  
Там песок распыляется солнечный,  
бутафорская хлопает дверь.  
В легкомысленной комнате горничной  
составляются списки потерь.  
Улетят кистепёрые мальчики –  
старший Осип и младший Луи.  
Хитроумный идальго Ламанчский

над тобою склонится в пыли.  
 Поднимай безударную роту,  
 береги от детей и огня,  
 одолеешь любую пехоту,  
 отползая средь белого дня.  
 И поедешь в Москву или в Питер,  
 перешитый цыганской иглой.  
 Будет книжная полка событий  
 нависать над твоей головой.  
 Поживи среди тех или этих,  
 научи мужиков говорить.  
 Хорошо в безударном столетье  
 безопасную бритву купить.

Мужиков научил, бритву купил. Вернулся, а тут опять условная ленка смировна и процесс вдругорядь не прерывается. Такой уж нам континуум достался. Зато как погуляли и определённую дорожку прошли-таки. Что-то чуть сдвинулось в мире кругового движения и странных бесконечностей.

Так, как Дмитрий Тонконогов, говорить о странностях времени, не говоря, вроде бы, о времени вовсе, умеют очень немногие. И к этим немногим, безусловно, относится житель Тулы Алексей Дьячков. Его, кстати, в «Стихах тридцатилетних» не было. Мог ли он там в принципе оказаться? Да, наверное, мог. Книгу ведь действительно собирали по сугубо поколенческому признаку. Он ко времени выхода Антологии 10/30 уже печатался, но пребывал на относительной периферии процесса. Серьёзное внимание к нему привлек лишь выход собственной книги. И даже не дебютной<sup>7</sup>, а следующей, совсем недавней<sup>8</sup>. На тот сборник откликнулись многие, и в частности – авторы, относящиеся к бывшим уже на тот момент «тридцатилетним» или для этих бывших тридцатилетних важные: Евгений Абдуллаев, Эмиль Сокольский, Вадим Муратханов. Рецензии их были весьма разнообразными, но два момента отметили, кажется,

<sup>7</sup> Алексей Дьячков. Райцентр. – М.: Мир энциклопедий, Аванта+. Астрель, 2009.

<sup>8</sup> Алексей Дьячков. Государыня рыбка. – М.: «Водолей», 2013.

все. Прежде всего, кажущуюся бесхитростность, бесприёмность стихов – при внятном содержании и глубококом смысле. Но, пожалуй, главное – интереснейшую работу со временем. Собственно, цитата из Муратханова и стала краткой аннотацией нового сборника Алексея Дьяčkова: «Мало кто из современных авторов владеет искусством материализации времени так, как тульский поэт Алексей Дьячков. И мало кто делает это так безыскусно, внешне незамысловато».

Да, во многом эта книга выросла из предыдущих стихов Дьяčkова. Перемещение во времени всё так же легки:

### Молочный зуб

Не допрыгнул атлет до перины,  
 И метатель прервал свой разбег.  
 Стадиона Динамо руины  
 Засыпает рождественский снег.  
 В гипсе традиционное лето  
 Бог с веслом и турист налегке.  
 Крутит обзериут пируэты  
 В одиночку на старом катке.  
 А в сугробах трибунные грядки,  
 И сухое колонн молоко  
 Убывают себе без остатка,  
 Как какое-нибудь рококо.  
 Но снежок продолжает вертеться  
 Собирать по земле облака,  
 На катке дивный вечер из детства  
 Сохраняет мне память пока.

Но вот я б не сказал, что здесь нет приёма. И приём этот взят из кинематографа. Взрослый человек смотрит на засыпанный снегом стадион. Кстати, не знаем мы места жительства Алексея Дьяčkова, можно было б предположить московский стадион «Динамо»: там сейчас как раз реконструкция и оттого – вполне себе руины. Далее камера фокусируется на одиноком фигуристе в центре катка. И тут пусть будет какая-нибудь деталька, показывающая несовременность этого фигуриста. Скажем, ушастая шапка или устаревшего фасона коньки. При этом человек на коньках, конечно, не должен принадлежать



времени обэриутов, это из авторского детства человека. Помните ведь, как это бывало в юные времена? Занимаешься боксом, и все вокруг тебе кажутся боксёрами, начинаешь собирать старинные монеты – по городу сплошь ходят нумизматы. Здесь же будущий поэт, видимо, познакомился со стихами Хармса, и на катке вот тоже Хармс. А потом камера возвращается, а человек, глядящий на стадион, уже немного другой. Тот же самый, но другой. Как это показать? Тут вопрос к актёру и гримёрам.

Понятное дело, поэту приходится совмещать и актёрское искусство, и гримёрское, и сценаристское с режиссёрским тоже. Но зато и возможностей больше, а затрат меньше. Материальных затрат, конечно. Вот раз! и поплыл кораблик от Хлебникова к Лермонтову, а потом дальше. И кому какое дело, скольких трудов тот кораблик стоил:

#### Паломники

Ползем неторопливо на пароме  
К постройкам монастырским вдалеке.  
Над нами небо, бэби, бобэоби,  
И перед нами небо – на реке.  
Флаг мельтешит на мачте без надежды.  
Помощник отвечает головой:  
Найн пива, капитан! А тот мятежный  
Все ищет бурю, топает ногой.  
Теперь и мы, дружок, пьяны без пива.  
И нам хватает солнца, чтоб весь путь  
Развязано, легко, неторопливо  
Балакать ни о чем. О чем-нибудь.  
Корыто наше борется с теченьем  
И путается речь. Но мы, дай Бог,  
До берега дойдем без приключений,  
К строфе четвертой выровняем слог.

Вот так. Ради стихов этот кораблик плывёт. И время отключается ради стихов. Что же касается литературных приёмов, то они у Дьячкова отнюдь не отсутствуют, они полускрыты. Вернее, специально их прятать не надо, достаточно лишь не педалировать. Например, отсутствие глаголов прошедшего времени очень хорошо

работает на бесконечность этого самого времени. Приезжает лирический герой в восьмидесятый год, так, стало быть, и в самом деле, они ещё будут – зарядка, фасольный суп, прощальный костёр. Но повторим: времени-то на самом деле нет, оттого будут они разом и вперемешку. Точно (опять-таки применим околокинематографический образ) плёнки наложили друг на друга и крутят одновременно, проецируя на один экран. Так уж наша память, видимо, устроена:

#### Четвёртая смена

Ворота в лагерь с белым аистом,  
Дорога пыльная, сады.  
Забыл, как местность называется,  
И день, и год какой забыл.  
Как лес потрескивал, попискивал,  
Динамик пел наоборот.  
На стенде кольца олимпийские,  
Восьмидесятый, значит, год.  
Мы долго, значит, не расстанемся,  
Расплачемся, костер сложив.  
Под вечер дискотека с танцами,  
Обида, значит, на всю жизнь.  
За что? Зарядка, суп фасольный.  
Висишь, как плеть, на турнике.  
За то, что все равно особенный,  
Так и не понятый никем.

Бывает приём внутри приёма. Это когда кинематографическое наложение образов вызывает наложение смыслов. Как в следующем стихотворении, где автор снимает в собственном сне кинофильм о съёмках кинофильма, а тут неожиданно появляется иное кино. И пастух в финале оказывается не пастухом, но пастырем. Айзек Азимов в рассказе «Сны – личное дело каждого» назвал такое явление «обертнами». И каждый из нас те сонные обертны видел. Видел каждый, а рассказать многие разве смогли?

#### Сон

За затяжной грозью пауза,  
В воздушных складках влажный вяз.



Простая музыка добаховская  
 Над серым полем поднялась.  
 Пейзажа глубина не резкая  
 И простота без пестроты –  
 В окне за пыльной занавескою,  
 За высохшим пучком травы.  
 За дверь проводишь жизнь  
 с застольями,  
 И дым развевается костра.  
 На съемках Сталкера в Эстонии  
 Расплатится актер в кустах,  
 Когда разрушит ливень целое,  
 И стадо гулкое овец  
 В полуразрушенную церковку  
 Пастух загонит наконец...

Словом, я никогда не воспринимал Дьячкова простым автором. Напротив, считал его поэтику выстроенной на очень тонких и неприметных приемах. Вот тут, собственно, и начинается самое интересное: эти приёмы, эта работа со временем – они для чего? Позволю себе предположить: для текста. Для текста как в очень широком смысле слова, так и для собственно текста, написанного или напечатанного на листе. Порой, хотя и не слишком часто, автор говорит нам это самым явным образом:

### Пицунда

Море. Мясо. В сотах мед.  
 Чистый пляж. Пустые урны.  
 За сосной гора встает,  
 Как развал макулатурный.

Сборд купейный. Борщ в чалме.  
 Делят перламутр перловки.  
 Тетка. Братья Дыр, Бул, Щер,  
 И сестра их Припячь с полки.

Двор тенистый, старый дом.  
 Челентано сладко воет.  
 Еле слышен палиндром,  
 Набегающий волною.

До свиданья, сладкий сон.  
 Фотография на память.

Крайний справа. Пара слов.  
 Орфография хромает.

Назывной, неподвижный текст, спроецированный на сей раз не на экран, но в бесконечную художественно-документальную книгу, в длинный-длинный палиндром, где, например, Кручёных рассказывает нам о Чернобыле. И строчки в этой книге всё прирастают и прирастают. В том числе – и с участием Алексея Дьячкова.

А ещё порою метацель автора становится очевидной через своеобразные оговорки, даже и не имеющие непосредственного отношения к его стихам. Например, в этой книге присутствуют два совершенно разных стихотворения с названием «Четвёртая смена». Одно из них мы привели выше. Редакторский ляп? Наверное. Но в то же время – крайне важный для рассматриваемой поэтики образ. В отличие от трёх реальных, четвёртая смена в детском лагере отдыха длится навсегда. Точнее – она локализована вне времени.

Итак, вот две разных книги двух разных поэтов. Может быть, даже бывших антиподами на каком-то из этапов своего поэтического развития. Формально их тексты ближе не стали. Хотя та же «Пицунда» чем-то напоминает стилистику Тонконогова, а, в свою очередь, его стихотворение «Я, Сашка и она» содержит образы, очень характерные для Дьячкова. Например, «Райские кущи находились на окраине роши». Но да: это, скорее, случайные совпадения. Важнее другое. Поэты оказались в некоторой культурной ситуации, не имеющей пока своего названия, невнятно формулирующей вопрос, но упорно требующей ответа. И ответ этот, кажется, звучит примерно так:

– Ну, хорошо, вы правы. Времени нет, автор умер, читатель умер, текст умер, постмодерн тоже умер, словом, все умерли. При этом смерти нет, а мир есть текст. Чего делать станем? А вот примерно это и станем. Продолжим созидать сей умерший текст и умирать в мире, где смерти нет.

Вряд ли эта формулировка явная, но она присутствует. Осваивать новую конфигурацию пространства и времени именно таким способом пока умеют немногие. Например, Ирина Перунова совсем недавно выпустила книгу о примерно схожих вещах. Впрочем, много авторов в этом сегменте и не будет: мир, рухнув, остался довольно разным и жить в нём тоже можно разными способами.

Но пока из прочитанных книг бывших тридцатилетних следует, как минимум, одна максима, выходящая за пределы собственно поэзии. Звучит она примерно так: «Отсутствие времени не равно вечности». Чего авторы будут с этим знанием делать? Да чего захотят. Впереди ж ещё очень много времени. Или что там у нас теперь вместо него?

*Александр КОТЮСОВ*

СВАДЬБЫ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ.

**Алиса Ганиева. Жених и невеста. – М.: АСТ, 2015. – 285 с.**

Вообще-то «Википедия» хотела всех нас обмануть. «Родилась и выросла в Москве», – совсем еще недавно эта запись стояла на странице, посвященной Алисе Ганиевой, молодой, но далеко уже не начинающей писательнице. В преддверии церемонии вручения премии «Русский Букер» запись скорректировали, негоже дезинформировать читателя, тем более, когда речь идет об авторе, чей роман «Жених и невеста» попал в шорт-лист одной из самых престижных литературных премий страны. «Замкнутый прикаспийский поселок, нового потерянного типа, без корней. Там живут переселенцы 50-60-х годов, без горского сознания, но не адаптированные и к европейскому типу», – вот так своеобразно в интервью «Российской газете» Ганиева очерчивает место действия своего романа. Алиса не дает точный адрес, но по многочисленным вешкам (флажкам, знакам), которые разбросаны

по страницам, мы понимаем, что пишет она о Дагестане, своей настоящей родине, где в действительности родилась и прожила до семнадцати лет, прежде чем переехать в Москву.

Что знает современный человек о восточной женщине? Что творится за паранджой, за хиджабом. Кто она? Какая? Чем живет? «Она непьющая, – раздаются голоса со страниц романа. – У них в стране это... мусульманство». А кто-то всезнающий добавляет: «приставать к ней... нельзя... а не то от нее женихи откажутся». Не случайно у Пати, Патимат, главной героини романа с женской, если хотите, стороны, двадцатипятилетней девушки, выросшей в дагестанском селе, а потом переехавшей в Москву (мама отправила к старшему брату, в надежде, что там, в большом городе, она сможет найти себе мужа, да не тут-то было), спрашивают – «вы, наверное, невинны... Вас опекают, контролируют? Каждый месяц на проверку к гинекологу?». И Патя соглашается – да... именно так, зачем разбивать стереотипы, которые складывались веками и въелись в сознание многих, как въедается в кожу соль, сдуваемая ветром с поверхности Каспийского моря...

Формально роман о судьбе двух молодых людей, движущихся к своей, казалось бы фатальной неизбежной свадьбе. Ему, Марату, сегодняшнему московскому адвокату, а еще совсем недавно обычному сельскому пареньку с неславянской фамилией, главному герою, так сказать, уже с мужской стороны, родители ставят ультиматум. Вырос парень, повзрослел. Значит должен создать семью, жениться. «Жениться? На ком?» – спрашивает Марата товарищ. «Еще не знаю, – звучит обескураживающий читателя ответ. – Нужно срочно найти. Свадьба уже назначена, и банкетный зал снят на тринадцатое августа, а невесты еще нет... Если не найду жену, деньги за аренду пропадут... Отец даже одну машину продал, чтобы деньги выручить».

Патю родители буквально терроризируют требованиями быстрее найти себе

мужа. «Ты уже почти старуха», – корит дочку мать. «Смотри, Эльмира дотянула до двадцати восьми и уже не может рожать», – предупреждает соседка. Ты должна, ты должен, – твердят родители героев романа детям. И Патя, и Марат едут из огромной Москвы в свой маленький поселок, где встретятся и полюбят друг друга. В опасную воронку на глубоководье несет их поток событий. Сумеют ли они из нее выбраться?! Сможет ли эта неожиданной вспыхнувшая любовь разгореться? «Свадьбы может и не быть. Зависит от предопределения», – предостерегает случайный прохожий. И мы словно спотыкаемся о его слова, чувствуя неизбежность приближающейся беды. Но это уже в конце романа, в двенадцатой главе. А их, кстати, всего тринадцать. Тринадцать глав, тринадцатое августа. Какое-то предостережение. Случайно?

Нет ничего случайного в романе Ганиевой. Каждая новая страница убеждает читателя в этом. Свадьба – лишь фон, красивые декорации, в которых разыгрывается реальная, настоящая трагедия. «А что там за контры в поселке между мечетскими? Вроде драка была», – спрашивает Марат в поезде по дороге в родной дом у друга своего детства. Вот! Ставит первую вешку Ганиева! Мы начинаем понимать, что не только и не столько о свадьбе в романе речь. Не о поиске жениха и невесты произведение. Роман о сложной и крайне противоречивой ситуации, сложившейся в поселке, в котором идет война на религиозной почве, война между соседями, различающимися не цветом кожи, не национальностью, не верой даже, а всего лишь нюансами веры. Подчеркну – не верой, а именно нюансами. В поселке, разделенном «железкой», железной дорогой, стоят две мечети, одна, официальная, поддерживается властью, другая, оппозиционная, собирает под свои минареты тех, кто не желает с этой властью сотрудничать, и, что гораздо важнее, тех, кто учение Аллаха понимает по-своему. И вроде бы ничего страшного,

в стране нашей свобода вероисповедания, хочешь – верь в одного бога, хочешь в другого, хочешь вообще ни в кого не верь, да вот беда – слишком уж похожа мечеть за «железкой» на ваххабитскую, слишком вольные речи произносит в ней имам. И перед глазами сгущается сумрак, сразу мерещатся хмурые бородачи с оружием, всплывают воспоминания о терактах, страшной болью отдает в памяти ранее неизвестная аббревиатура «ИГИЛ» (организация, запрещенная в России. – Ред). Словно серебристым кинжалом до самой крови делит «железка» республику на две части. Не поселок, а именно республику, Дагестан. И сразу кто-то из читателей романа начинает оправдывать того самого Халилбека, незримого на страницах, но проступающего сквозь них, который убил молодого парня, пособника «лесных братьев» и полковника милиции Газиева, который будет терзать и мучать Марата, подзревая его в сотрудничестве с ваххабитами. Когда идет война, страдают и невиновные. Да вот только слишком их много вокруг. Словно олицетворение погибших без вины – Русик-гвоздь, вышедший на центральную площадь в одиночестве с плакатом «Я – агностик». Он против Аллаха, объясняют его убийцы, вот Аллах и покарал. Милиция соглашается. Удобно прикрываться именем всевышнего.

Ситуацию изменить невозможно. Все оправдывается тезисами борьбы с ваххабитами. «Полицейские то и дело избивают людей, которые ходят в оппозиционные мечети...», – констатирует одна из героинь романа. Современному русскому человеку не понять этих противоречий, не разобраться в причинах войны, которая тлеет, то вспыхивая, то затихая. Вот разговор друзей о причинах конфронтации двух мечетей в их родном поселке: «Люди этого тухума считают, что все действия совершает только Аллах, даже те, которые... принадлежат человеку. То есть все предопределено сверху и свободы воли ни у кого из нас нет». У другого тухума иная позиция – «Имам учил, что Аллах узна-

ет о поступках человека только после их совершения». Вот причина, чтобы причислить имама к ваххабитам. Впрочем, тут же разводит руками собеседник, «если вдаваться в эти их религиозные тонкости, он вовсе не ваххабит, а какой-нибудь кадарит. Или, как его, мутазилит. Но не важно». Вы что-нибудь поняли, дорогие читатели? Вряд ли! А результатом этих разногласий становится гражданская война. Вроде бы действительно не важно, вот только цена всему – человеческие жизни.

«Жених и невеста» – роман о войне, которая тлеет в Дагестане. О ней мы изредка узнаем по телевизору, видя в новостях взорванные дома, читая сводки об уничтоженных боевиках. Это только кажется, что темы этой Алиса почти не касается. Просто делает это она по-женски – нежно и спокойно. Нет желанного мира и покоя в республике. Словно как бы между прочим, мелькают знакомые по новостным сюжетам картины: «Они гнали вдоль недостроенных строений и палаток, мимо дорожно-патрульных постов, забаррикадированных со всех сторон набитыми песком мешками. Из-за мешков высовывались невыспавшиеся автоматчики».

Ганиева абсолютно недвусмысленно заявляет о своей позиции по поводу сегодняшней ситуации в Дагестане. Она не приемлет тот уклад жизни, который сложился в республике. Она не принимает современный Дагестан, пропитанный не только красотой Востока, но и коррупцией и взяточничеством. «Рухнул многовековой уклад на Кавказе, утратились институты морального контроля, рассыпалась эффективная система законов... – с грустью в том же интервью отмечает Ганиева. – Плодится охлос, которые являются кавказцами лишь по крови, но не по поведению». Этот самый «охлос» Ганиева и осуждает в романе. Один похвывается украденным (формально якобы сломанным, списанным и за бесценно купленным) государственным катером. Другой – практически отобранным у жены убитого парня домом и машиной. И

всюду по роману разбросаны новые вешки – за это надо дать взятку, и за это, и за это. Мимолетно, не явно, не конкретизируя, Ганиева дает понять читателю, что современный Дагестан находится далеко вне рамок правового поля, здесь не властвует закон, здесь другой порядок, написанный теми, кто печется не о людях, а о собственном благополучии. А свадьба лишь фон, декорации. Не случайно в романе есть еще один герой, пожалуй, главнее Марата и Патимат, который не появляется на страницах (хотя это нам только кажется, а возможно, именно он видится Марату выпивхой в салатом плаще), Халилбек, благодетель и убийца одновременно, хозяин, самый богатый, самый властный, человек, который «не занимал ни одной официальной должности, но при этом контролировал недвижимость в поселке и городе, а также чиновников всех мастей». Ганиева словно указывает своим соотечественникам – вы только на словах чтите Аллаха, а на деле вы давно продали душу шайтану, продали и служите ему. А имя тому шайтану – Халилбек. Грехам его нет числа, так же как и добродетелям. Жители устраивают в его честь концерты, молятся за его освобождение, пересказывают многочисленные истории о его перевоплощении, боготворят. Впрочем, не все. Те, кто видит реальную картину жизни, не прикрытую розовыми очками, те понимают, что Халилбек убийца и вор. Увы, таких меньшинство. Ганиева словно показывает двойные стандарты, по которым живут ее соотечественники. С одной стороны, свято чтя традиции, а с другой боготворя убийц, только за то, что они построили мечеть или помогли вылететь больному.

И все же, отвлекаясь от религиозных аспектов романа, нельзя не отметить, что «Жених и невеста» это своеобразная энциклопедия обычаев и традиций Востока. Нам, людям, родившимся в пусть и не совсем европейском, но абсолютно светском государстве, многое из прочитанного на страницах романа Ганиевой неиз-

вестно, необычно и интересно. Конечно, мы видели шумные кавказские свадьбы, но вряд ли кто-то всерьез интересовался, что же стоит за ними, как проходит жизнь до этого важного в жизни почти каждого человека события. «Жених и невеста» прекрасный путеводитель по традициям мусульманского государства. Из романа мы узнаем, что в первую брачную ночь нужно ругаться и бить друг друга, свадеб должно быть две – одна мужская, одна женская, гуляния продолжаются шесть дней, невеста в жениховском доме обязана весь день сидеть на мешке муки. И так далее и тому подобное. И это только свадебные обычаи. А еще масса других. Узнаем, что каждому скорбящему на похоронах родственникам усопшего необходимо подарить три килограмма сахара и полотенце. Узнаем, что мужа, заставшего свою жену с другим за прелюбодеянием и убившего обоих, прощают, а если он убивает «только мужчину или одну только женщину по отдельности, это карается уплатой тридцати коров наследникам павших». Одни обычаи устарели, другие живы и по сей день.

«Жених и невеста» – роман о поисках счастливой жизни там, где счастливой жизни быть не может. Он о том, что в современном Дагестане невозможно поженить традиционный мусульманский уклад с навязываемой ему европейской культурой. Чрезвычайно познавательный, местами лиричный и тонкий роман Ганиевой по всем канонам жанра должен был «заработать» на хэппи-энд. Но не «заработал». Распоряжаться судьбой героев дано лишь автору. Ганиева ломает сюжет в самой последней главе, рушит все, что строила на страницах своей книги. Рушит свадьбу, рушит будущее героев, рушит будущее их родного поселка. «Жених и невеста» – роман-трагедия, в котором убивают людей за то, что они танцуют танго, а не лезгинку, за то, что они ходят в оппозиционную мечеть, а не в ту, которая одобрена государством. За, казалось бы, иногда веселыми история-

ми и воспоминаниями героев ощущается приближение грозы, урагана, шторма. Не случайно в редких описаниях окружающей жизни все серо и тревожно. «Поезд шел через душную степь. К плацкартным окнам липли насекомые...», «народ вокруг ютился мелкий, чернорабочий, на- сильно переселенный с неприступных гор и растворенный болотной степью. Не пирог – обгоревшие шкварки с противня», «проспектом называлась широкая и длинная колея, куда выходили ворота жилых домов. В дожди колея набухла и превращалась в канаву, по которой жители перебирались в колошах и на ходулях, брызгая и чавкая грязью».

Все останется, как было. Счастливого конца нет и не будет. Будет интернет, гугл, смс, чаты, форумы «красоточки-дагестаночки-мусульманочки» и статусы «я – дерзкая персона с ноль пятого региона». На этом все и ограничится. Остальное не изменится. Современность и традиции могут встречаться, знакомиться и дружить, но жить вместе, любить друг друга у них не получится. Никогда. Они словно разделены «железкой», вот только раздел этот, как рана, сочится кровью.

«Свадьбы может и не быть. Зависит от предопределения», – говорит Халилбек. Все предопределено в романе Ганиевой. Свадьбы и не будет. Никогда, – понимаем мы.

*Анна САФРОНОВА*

#### ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ЗИГЗАГИ

**Игорь Савельев. Зевс: роман. – М.: Эксмо, 2015. – 288 с.**

Одиннадцать лет назад, в декабре 2004 года Игорь Савельев дебютировал в «Новом мире»: «Бледный город. Повесть про автостоп». Так что можно говорить об условном юбилее – с учетом того, что в 2014 (десятилетие!) Игорь Савельев публику, кажется, ничем не порадовал. Последняя

крупная публикация – «Терешкова летит на Марс», вышедшая в том же «НМ» в 2012-м.

После «Бледного города» критики чуть ли не единодушно стали смотреть на Игоря Савельева как на надежду отечественной словесности, не в последнюю очередь благодаря предисловию Ольги Славниковой:

*«С первых абзацев стало понятно, что Игорь Савельев – писатель.*

*Далее оказалось (выяснилось из письма), что молодой уфимец уже в пятый раз участвует в “Дебют”. То есть каждый год, сколько существовала наша премия, Игорь Савельев присылал на конкурс тексты. Тут вспомнились рассказы, с задатками, но уступавшие тогдашним лидерам, более профессиональным, лучше понимаемым, по каким законам делается проза. Но что это значит? Это значит, что Игорь Савельев не позволил себе впасть в уныние, но рос, оборачивая себе во благо сопротивление среды. Премия “Дебют” все эти годы служила ему спортивным снарядом, как и должно быть по большому счету.*

*И вот – повесть “Бледный город”. Ее герои – неформальные молодые люди, путешествующие автостопом. Особый образ жизни, причины которого так же странны и так же неотменимы, как причины заниматься искусством. В поисках творческих влияний можно вспомнить, к примеру, Джека Керуака. Но когда герои, голосуя, рассредоточились по трассе, и вот всех увезли, остается один, – такой гоголевской грустью, гоголевской протяжностью русской дороги веет вдруг от повествования, что отечественная словесность не может не признать Игоря Савельева за своего».*

Всё сильно изменилось за одиннадцать лет. Нынешний герой Игоря Савельева – москвич, пересел на машину (не свою, жены – но все-таки не метро и уж точно не автостоп).

*«– Алло! Алло! Кир, ты?»*

*Если бы Кириллу рассказали десять*

*лет назад – он посмеялся бы. Рассказали, что он не въедет в слово «Кир» (а въедет в раскосый «Инфинити», передутый-пережнутый: создателю явно изменило чувство вкуса). Что ему послышится «Кирдык». Вот тоже, подзабытое татарское словечко».*

Не знаю, было это предусмотрено автором или нет, но весь этот абзац – первый в «Зевсе» – как будто отсылает к «Бледному городу». Там в начале – башкирское словечко, но не подзабытое, а сияющее новизной: «...по-башкирски “Уфа” звучит как “Эфэ”. Не самое приятное на слух имечко для города, замечу в скобках, но ничего – живем. Иногда, правда, интересные мысли накатывают. Например, если Уфа – Эфэ, то как же тогда “уфимский” будет? “Эфэский”? Ладно...» И «десять лет назад» в вышеприведенной цитате из «Зевса» работают на ассоциацию с «Бледным городом».

Десять (ну, пусть одиннадцать) лет спустя сталкиваются сленговое «въезжает» (понимает) и «въезжает» (в нашем случае – врезается), игра слов. В начале романа герой «не въедет» в слово, но чуть не «въедет» в чужое авто. Символично?

Вот ведь какое поле для разного рода наблюдений дает только первый абзац «Зевса»! С воодушевлением идем дальше, радуемся на «халатик суповой расцветки» (как точно охарактеризована не просто вещь, но ее унылая владелица!)...

Далее начинают мелькать слова «фонд», «ЮКОС», «олигарх»... Глаза сами собой прикрываются – газет, что ли, мало? Но приходится смириться: стало быть, перед нами социально охарактеризованный герой в каких-нибудь типических обстоятельствах. Так оно и есть.

Герой «Зевса» – москвич из Казани родом (женат на москвичке), инженер авиации в туполевской конторе, малофинансируемой, маловостребованной – всё для нашего времени типичное, узнаваемое. Элементы производственного романа. Герой не просто офисный планктон, но вынашивает открытие (Зевс,



повелитель молний!), описанное более или менее популярно. Но, как и следовало ожидать, оно тоже не может быть востребовано в стране, где бал правится коррупционерами и непрофессионалами. Вот показательная цитата: *«Мучительно, всем объемом легких ощущая бесполезность этой пыльной механической работы, осознавал он бесполезность бытия. Вот шкафы. Вот проекты. Оставленные от безденежья, сиротливые, но когда на них дадут-таки немного денег, окажется, что заниматься ими некому. Каждому, кто придет однажды (скоро) к этим папкам, придется начинать с нуля. Потому что не будет опыта, специальных знаний, да и посоветоваться будет не с кем. Тех, кто досконально в этом разбирается, удержали бы и лишней десяткой в месяц – хотя бы... Сколько сил и средств уйдет потом, чтобы вот какой-нибудь Олег (практикант, представитель нового поколения – А.С.) заново изобретал велосипед?»* Вокруг нереализованного изобретения главного героя происходит некоторая череда событий, в том числе и на высших уровнях: мелькнет тема спецслужб, мелькнет бледной тенью безымянный министр обороны (но время, как и место, в романе вполне конкретные, вычислить легко при желании, только зачем?). Есть как бы антипод главного героя – менее защищенный социально (сомнительная работа, бомж) сокурсник, друг юности; КВНовское студенческое прошлое. Он витальнее, грубее, безвкуснее, чем более или менее изысканный Зевс-Кирилл, и вместе с тем отвечает каким-то тайным запросам главного героя. Антипод предлагает Кириллу альтернативную форму жизни – пиво, футбол (недалеко до женщины, и она ближе к финалу появится), и вот они уже во Франции, выступают как КВНщики; автор ограничился квалификацией этой деятельности как глубоко пошлой и избавил читателя от описаний их выступлений, впрочем, слегка показав закулисье. *«Им всем хотелось взорвать невыносимую эту жизнь, как взрывает*

*берлогу медведь, голодный и разбуженный, расшвыривает землю своей тушей посильней гранаты»*, – это цитата уже из другого романа, из «Терешкова летит на Марс», но пришлось кстати (и попутно снова отметим игру слов: взорвать – взрывает).

Перипетии личной жизни главного героя как будто программные. Любовь, ревность, измена, примирение со сложностью жизни – и, следовательно, с самим собой, и проч. Вот опять показательная цитата: *«...он иногда с замиранием сердца ловил себя на мысли: они – Гималаи. Две личности. Две равные вершины посреди бедняцкого ландшафта, прикрытого облаками. И когда он вдруг подозревал что-то... равнинное... например, что Яна может ревновать его всерьез и только прикрывать это остроумными шутками, он терялся»*. Возможно, почувствовав некоторую недостаточность в психологическом рисунке романа, автор немного расшифровал для нас и духовные движения героя-антипода, не очень сложные – и простыми же словами: *«Нет, Кир, конечно, человек хороший, верный. И Леха его сильно, по-дружески любит. Но тем больше какие-то моменты...»*

Мелькают отступления, как будто призванные подтвердить статус романа как «актуального»: рассуждение о новом уже, совсем молодом поколении – неутешительное, рассуждение о соцсетях и т.п.. Тема носков и сандалий тоже затронута.

Да. Кажется, честному и талантливому автору как бы скучно писать социально значимые, условно говоря, фрагменты романа, скучно проговаривать необходимые «для сюжета» вещи, скучно описывать безрадостность и тупиковость нашей жизни – но зачем-то он это делает, однако время от времени являя читателю совершенно восхитительные зигзаги – вот это-то и есть лучшие страницы «Зевса». (Вообще, иррациональное и как бы случайное впечатляет сильнее, чем «основной» текст. Из проходных персонажей больше всего запомнилась неадекватная женщина-врач, которая долго и назойли-



во дает советы беременной героине – как лучше назвать ребенка, чтобы легче было эмигрировать.)

Особое внимание обратим на рефрены. Лейтмотив «неведомой смерти» впервые появляется в начале второй главы и возвращается неоднократно. «Неведомая смерть» многолика – она может быть реальной, может быть мнимой, может быть забвением или духовной утратой: приятный элемент сложности в повествовании, тяготеющем к прямолинейности. Иногда «неведомая смерть» сопровождается загадочными, сюрреалистическими вещами. На с. 23 герой встречает соседа по лестничной клетке, тому мерещится трупный запах из-за двери старушки-соседки. Сосед произносит некий краткий монолог по этому поводу. На с. 42 герой во второй раз (заметим, это второй эпизод, а не воспоминание о первом) встречает того же соседа. И сосед слово в слово, буква в букву произносит то, что уже произнес на с. 23. Прекрасный эффект: застывший персонаж с застывшей репликой; из реального мира читатель попадает в запредельный; время остановилось. И вот оно еще раз остановилось: с той же с. 23-24 размышления героя (о неведомой смерти) воспроизводятся на с. 79. И еще рефрены, и еще. Как будто простые повторы одних и

тех же слов – но становится возможным приращение смысла, создаются параллели: «Сталинизм на исходе уже не знал, как выразить, исторгнуть изобилие» (с. 63), и «Новая эпоха не знала, как еще выразить изобилие, выплеснуть, исторгнуть из себя» (с. 197, о настоящем времени).

Закольцовывается роман той же фразой, с которой начинался: «– Алло! Алло! Кир, ты?». По мысли автора, это возвращение к точке отсчета, но на новом витке – просветленный герой смирился с тем, что он «изобретатель ненужных вещей», смирился-сблизился со своим антиподом... Безнадежный оптимизм, да. «Спасение – проворно прыгать по обломкам, как при кораблекрушении».

Напоследок – одна из нефинальных фраз, ради которых «Зевса» уже читать стоит: «Вглядываясь в своё отражение, бледное, непрорисованное, поверх которого или буквы: “Не прислоняться” – и царапинами киноплёнки бежал тоннель, Кирилл подумал, что больше всего его пугает... пожалуй... неопределённость. Он терялся, когда что-то начинало идти по сценарию, будто написанному кем-то другим, и с ним начинали играть, как с мышью, которая ещё не видит кошку». Такой гоголевской грустью... – как сказала Ольга Славникова по другому поводу.

Иван КОЗЛОВ

## СКАЗКИ ЭНСКОГО ЛЕСА

**«Страшные сказки» (реж. Маттео Гарроне)**

Маттео Гарроне «внимательней, чем Гауф, нас пугает», как писала совсем по другому поводу Ольга Седакова. Да и не Гауф здесь, а Джамбаттиста Базиле, барочный итальянец XVII века, сценарий написан по его книге «Пентамерон», или «Сказка сказок» – первому сборнику европейского сказочного фольклора. Несколько новелл из сборника переведены у нас только в 2012 году (автор перевода Петр Евдокимов, «Иностранная литература», 2012, № 8), мы с детских лет, конечно, знаем эти сюжеты по позднейшим переложениям Шарля Перро и братьев Гримм.

Пугать можно разными способами. Кто-то не смог досмотреть фильм до конца, сработала какая-то зацепка, и мне потом говорили, что фильм отвратителен, начиная от тусклой цветовой гаммы и заканчивая какими-то апелляциями к темной стороне души.

Я, наверное, слишком толстокожий для восприятия таких эманаций. Мне фильм был любопытен, прежде всего, попыткой остранения сказочного материала. Камера подробно фиксирует насилие, не отворачиваясь, например, от перерезания горла злодею. Да и сам он, честно выигравший принцессу у самонадеянного короля, вызывает, скорее, сочувствие. Королева жадно поедает сердце морского чудовища, надеясь забеременеть, и мы можем насладиться окровавленной физиономией Сельмы Хаек, сосредоточенно прожевывающей колдовскую пищу.

Общее впечатление – сначала интересно, потом смешно, а потом скучно. Если честно показывать без сказочных условностей все ужасы любых сказок, то зрелище будет не для слабонервных, и это «совсем уже другая история». Если останавливаться на какой-то границе, то где она?

Сказки, используемые в фильме, микшированы, едва успеваешь вплыть в одну историю, как она наполовину заканчивается, чтобы мелькнуть к концу фильма своим финалом, а некоторые так и застрянут на полпути. Интересно, что такой же прием у Пазолини в его «трилогии жизни» («Декамерон», «Кентерберийские рассказы», «Цветок тысяча и одной ночи») вполне органичен, реальность у великого итальянца прорисована с любовью, пусть даже сама жестокая. Гарроне же – умелый фокусник, ловко меняющий подкладку у волшебного плаща: вот тут мы в сказочном мире, а вот тут я крови с перцем прибавлю. Но такой прием не заставляет сопереживать героям ни минуты – Пазолини глубоко нырял в самую глубь сюжетов, а в «Страшных сказках» вот это самое остранение дает эффект удивленного наблюдателя, который добровольно отстраняется от происходящего на экране.

**«Багровый пик» (реж. Гильермо дель Торо)**

Режиссер – тот еще сказочник. Наш зритель знаком с ним, начиная с жутких историй времен Гражданской войны в Испании, куда вторгались сказочные мотивы, не менее страшные, чем настоящая кровавая реальность (наиболее известен из этого ряда «Лабиринт фавна»).

Обласканный Голливудом, дель Торо снимает нумерованных и вполне трешевых «Блейдов» и «Хеллбоев», отрывается на «Тихоокеанском рубеже» (об этом фильме мы уже писали), пишет

сценарии эпического экранного «Хоббита». Впереди у режиссера «Пиноккио», «Халк», «Франкенштейн», так что посмотрим, как он будет удобно располагать зрителя в этом фантастическом пространстве, подмигивая прежним фанатам и развлекаая «широкую публику».

А пока что – «Багровый пик», жанрово обозначенный в «Кинопоиске» как «ужасы, фэнтези, триллер, драма, мелодрама, детектив», выбирай, что душе угодно.

Немудреная, в общем, история дома с привидениями, которые пытаются донести до романтической героини страшную правду о ее муже-злодее и его настоящей жене, которая играет роль сестры. Готические кошмары привычны, но вот интрига оказывается завязана на финансах, которые необходимы бедному негодю для того, чтобы завершить работу над машиной для добывания красной глины, из которой можно делать очень качественные кирпичи. Вполне капиталистическая интрига, да вот призраки помешали, да еще и влюбленность в очередную жертву.

Впрочем, банальность и предсказуемость сюжета отчасти искупается идеальным видеорядом. Плюс сцена жестокого убийства и инцестуальные мотивы, которые немного смещают готический регистр. Ну и, конечно, Миа Васиковска и Том Хиддлстон, которые неизбежно напомнят сыгранные ими роли современных вампиров в недавнем фильме Джима Джармуша «Выживают только любовники».

### «Убийца» (реж. Хоу Сяосянь)

Тайванец Хоу Сяосянь, один из самых изысканных режиссеров мирового кино, по опросу кинокритиков был назван в числе «надежд мирового кинематографа» еще в 1990-е годы, начиная с 2000-х его ленты, снятые за границей, перевели его в ранг живого классика, Оливье Ассаяс снимает о нем документальный фильм, своего рода признание в любви.

«Убийца» был задуман Хоу Сяосянем давным-давно, этот фильм – своего рода реверанс на правление, посвященному восточным боевым искусствам, если быть точнее – это фильм на традиционную тему «благородной воительницы», название которой звучит для русского уха слегка комично – «уся». Медитативность его прежних лент – и вдруг такой традиционный жанр? Противники будут сражаться красиво и медленно, мы увидим битву коала или ленивцев?

Почти так. Сюжет фильма прост и умещается в нескольких фразах. Девятый век, правление династии Тан. Таинственная монахиня воспитала девочку вдали от ее родителей как наемного убийцу. Однажды заметив сочувствие к жертве, она дает невыполнимое задание – порешить кузена героини, к которому та с детства была равнодушна, а в перспективе они должны были пожениться. В общем, такой восточный вариант «Убить Билла».

И здесь сходство заканчивается. Задание было с треском провалено. Привычный балет сражений присутствует, конечно, но не более, как неизбежная составляющая. Главная в фильме – абсолютно невероятный цвет буквально в каждом кадре. Такой концентрации оттенков красного – при том, что сама кровь в фильме практически не появляется – в кинематографе еще не было. Мы привыкли к восточной изощренности киноязыка, но здесь буквально устаешь от неспешной и самодостаточной красоты, переполняющей изображение.

Обращение к традиционным жанрам становится новой вехой для авторского кинематографа Азии (вспомним хотя бы «Дом летающих кинжалов»), и, разумеется, интересно наблюдать, как режиссеры решают эту задачу. Хоу Сяосянь не стал идти «средним путём», отдавая должное и мэйнстриму, и артхаусу, как большинство его предшественников, его фильм – уникальное сочетание традиции и авангарда.

В 2015 году на Каннском кинофестивале этот фильм получил приз за лучшую режиссуру.

## ПРОЗА

- Каринэ Арутюнова.** Античный путь. №3-4. С. 7  
**Михаил Бару.** Принцип неопределенности. №1-2. С. 119  
**Александр Беляков.** Возвышение вещей. №3-4. С. 33  
**Герман Бер.** Сулико. *Повесть.* №9-10. С. 8  
**Анатолий Бузулукский.** Хороший писатель. *Рассказ.* №3-4. С. 160  
**Родион Вереск.** Хальмер-Ю. *Повесть.* №5-6. С. 32  
**Дмитрий Глебов.** Роль. *Рассказ.* №7-8. С. 204  
**Татьяна Грауз.** Литании августа. №11-12. С. 73  
**Анаит Григорян.** Долгое лето. *Рассказы.* №5-6. С. 114  
**Дмитрий Калмыков.** Зов глубин. *Рассказ.* №11-12. С. 49  
**Катя Капович.** Свадьба. Яблоки. *Рассказы.* №1-2. С. 105  
**Андрей Краснящих.** Андрей и Света едут в Белгород заняться сексом (*Глава из романа «О себе»*). №3-4. С. 70; О них – о сторожах. (*Глава из романа «О себе»*). №11-12. С. 27  
**Сергей Кубрин.** Розовый танк. *Рассказ.* №9-10. С. 70  
**Андрей Ладога.** Иосиф Бродский от фотографии. *Рассказ.* №9-10. С. 50  
**Валерия Макарова.** Мишенька. *Рассказ.* №11-12. С. 8  
**Евгения Мищерская.** Тревога. *Рассказ.* №9-10. С. 53  
**Рафаэль Мовсесян.** Оттуда и туда. *Рассказ.* №9-10. С. 41  
**Александр Мурашов.** Двойной человек. Исполнитель. *Рассказы.* №11-12. С. 61  
**Михаил Окунь.** Тетерев. Колечки. «Чернеет дорога...» *Рассказы.* №1-2. С. 91  
**Анна Останина.** Как поймать стрижа. *Рассказ.* №11-12. С. 38  
**Александра Попова.** Ангел на простыне. *Повесть.* №5-6. С. 86  
**Алексей Сальников.** Отдел. *Роман.* №7-8. С. 3  
**Александр Титов.** Общежитие писателей. *Повесть.* №7-8. С. 177  
**Инна Халяпина.** Карниз Европы. *Повесть.* №5-6. С. 67  
**Вячеслав Харченко.** Сколопендра. *Рассказ.* №7-8. С. 202  
**Наталья Черных.** Слабые, сильные. *Роман.* №1-2. С. 16; №3-4. С. 82  
**Владимир Шапко.** Запечный таракан уже не играет на шарманке. *Повесть.* №5-6. С. 3  
**Алексей А. Шепелёв.** Дедушка Dead и абраюты. *Рассказ.* №9-10. С. 85  
**Вадим Ярмолинец.** Лев в Москве. *Рассказ.* №3-4. С. 51

## ПОЭЗИЯ

- Александр Авербух.** на солнце красном большом. №11-12. С. 22  
**Алексей Александров.** «По ошибке залетев, ракета...» и др. №11-12. С. 76  
**Александр Беляков.** На просторах облетевшей речи. №1-2. С. 83  
**Игорь Бобырев.** «Оси нежности» и др. №1-2. С. 88  
**Василий Бородин.** Стихи 2015 года. №11-12. С. 3  
**Ольга Брагина.** «эти бедные сироты дети “Сайгона”...» и др. №11-12. С. 44  
**Мария Галина.** «Он гуляет по берегу там на песке валяются вроде...» и др. №9-10. С. 47  
**Елена Генерозова.** «Приведет на ночлег...» и др. №9-10. С. 36  
**Маргарита Голубева.** «Это уже нами видано...» и др. №3-4. С. 3  
**Юрий Гудумак.** Камчатская геральдика. №9-10. С. 3  
**Данила Давыдов.** «в моих стихах нету метафизического измерения...» и др. №5-6. С. 23  
**Елена Дорогавцева.** «слово» и др. №7-8. С. 193  
**Виктор Лисин.** «...в окно постучалась птица...» и др. №5-6. С. 83  
**Борис Лихтенфельд.** «Ушедшие, которых пережил...» и др. №3-4. С. 61  
**Вадим Месяц.** «Кино и немцы» и др. №7-8. С. 206  
**Татьяна Нешумова.** «Летающий по небу остаток...» и др. №9-10. С. 68  
**Михаил Нилин.** Жительствует (тут). №7-8. С. 166

- Марина Палей.** «по глазу – бритвой...» и др. №1-2. С. 102  
**Андрей Пермяков.** Стихи для Жени Коробковой. №11-12. С. 32  
**Александр Петрушкин.** «Prayer of fish / Моление рыбы» и др. №3-4. С. 75  
**Наталья Полякова.** «Говорят за глаза и вешают за глаза...» и др. №9-10. С. 79  
**Алексей Порвин.** Стихи из «Поэмы определения» и цикла «Антистрофы». №7-8. С. 196  
**Татьяна Риздвенко.** Ещё один год. №5-6. С. 111  
**Сергей Сдобнов.** «жизнь поворачивается к врачу...» и др. №3-4. С. 79  
**Екатерина Симонова.** Стыд любого прощения. №7-8. С. 173  
**Сергей Слепухин.** «Есть странный свет, неяркий и недвижимый...» и др. №9-10. С. 81  
**Екатерина Соколова.** Из области донной. №5-6. С. 29  
**Иван Соколов.** Ледяное эхо. №3-4. С. 157  
**Сергей Соловьев.** Края разрывов. №5-6. С. 62  
**Евгений Стрелков.** «Летнее чтение поэтов-энтомологов» и др. №1-2. С. 3  
**Елена Сунцова.** «Султан солонка сила солнце Суламифь...» и др. №1-2. С. 10  
**Андрей Тавров.** Шестистишия. №1-2. С. 111  
**Андрей Торопов.** «От Жан-Поля смесь пива и вина...» и др. №5-6. С. 59  
**Владимир Тучков.** «усталая женщина...» и др. №11-12. С. 70  
**Феликс Чечик.** «Твоё в горошек платье...» и др. №3-4. С. 65  
**Рафаэль Шустерович.** Явления переноса. №7-8. С. 212

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

- София Амирова.** «Дальний предел зажигал кофейный зрачок...» и др. №9-10. С. 135  
**Иван Волосюк.** «Снег сам собой не образует мифа...» и др. №9-10. С. 133  
**Инна Домрачева.** «Это даже не то что печаль светла...» и др. №9-10. С. 132  
**Михаил Окунь.** «Граффити» и др. №9-10. С. 138  
**Илья Семененко-Басин.** «интуитивно постигаемая реальность» и др. №9-10. С. 136  
**Андрей Фамицкий.** «муравьиную дорожку...» и др. №9-10. С. 137

## ДЕБЮТ

- Светлана Гусева.** «на раз-два-три останется нам снег...» и др. стихи. №3-4. С. 163  
**Максим Лошкарёв.** Малыш Умкин. Рассказ. Приговор. Пьеса. №1-2. С. 161  
**Владимир Панкратов.** Шестое января, вторник. Рассказ. №11-12, С. 81

## В СВОЕМ ФОРМАТЕ

- Сергей Боровиков.** «В русском жанре–51». №5-6. С. 141; Небунин, или Россия, которую мы не потеряли. №9-10. С. 93

## ПЕРЕВОД

- Амир Ноепараст.** Русская святая в Тегеране. Рассказ. Перевод с английского Ольги Новиковой. №9-10. С. 140

## МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

- Алсу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов.** «Эй, вратарь, готовься к бою...»: Футбол в советской поэзии 1930-х годов. №9-10. С. 102

## ПУТЕШЕСТВИЕ

**Михаил Бару.** Второй сон Любви Александровны. №11-12. С. 94

## ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Николай Бернер.** «Кромешное лето». Публикация, примечания Татьяны Нешумовой. №7-8. С. 217

**Алексей Голицын.** Между адским ветром и нетленным Лениным. *Материалы к биографии Валентины Ярыгина.* №11-12. С. 156

**«Творчество – есть свобода». Письма Н. М. Гущина.** Публикация, вступительная статья, примечания Людмилы Паиковой. №1-2. С. 165

**Сергей Морозов.** «Я был и буду...» Публикация подготовлена Владимиром Орловым по материалам архива Бориса Дубина. №5-6. С. 151

**Георгий Недгар.** Смерть в кошельке (рассказы очевидцев). Публикация Владимира Орлова. №5-6. С. 158

**Рафаэль Соколовский.** Стихи: опус 58, пункт 10, или Другой Николай Шатров. №3-4. С. 170

**Николай Шатров.** Из неопубликованного. №3-4. С. 166

## СТРАНИЦЫ ВТОРОЙ КУЛЬТУРЫ: ИЗБРАННОЕ

**Олег Рогов.** Штрихи к теме: О журнале «Контрапункт». №11-12. С. 172

## БИБЛИОМАН

**Наталья Черных.** Шесть рецензий. НАШКРЫМ. Антология; Анатолий Головатенко. Изборник. *Материалы к энциклопедии вселенской жизни: стихи, проза, эссе; Ингер Кристенсен. Избранное; Р. М. Рильке. Книга Часов; Владимир Аристов. По нашему миру с тетрадью; Евгений Никитин. Стэндап-лирика.* №7-8. С. 227

## ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

**Вячеслав Лопатин, Стелла Чеботарева.** Диалоги о цвете в живописи. №3-4. С. 178;

**Вячеслав Лопатин** Две выставки (Ю. Лаврентьев, Н.М. Гущин). №9-10. С. 162

## АРХИВ

**Александр Шолпо.** Война. Публикация Елены Барановой. №5-6. С. 161

## КОНТУРНАЯ КАРТА

**Игорь Дремов.** Две разгадки Саратова. №9-10. С. 170

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Николай Аржанов.** «Целью была книга...». Владимир Кравченко. *Книга реки. В одиночку под парусом.* №3-4. С. 197

**Дмитрий Артис.** Улыбка Гуинплена. *Корамыслов А. Песни мудехара.* №5-6. С. 175

**Сергей Боровиков.** Контрольный в голову. Роман Арбитман. *Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать.* №1-2. С. 190; А я люблю товари-

щей моих. *Наталья Иванова. Феникс поёт перед солнцем; Сергей Чупринин. Критика – это критика. Версия 2.0.* №3-4. С. 195

**Александр Котюсов.** Идет беда. *Роман Сенчин. Зона затопления.* №5-6. С. 178; Жизнь за скобками. *Сергей Носов. Фигурные скобки.* №7-8. С. 234; Свадьбы может и не быть. *Алиса Ганиева. Жених и невеста.* №11-12. С. 187

**Марина Кузичева.** «В увеличительной линзе – вербное воскресенье...» *О стихах Татьяны Грауз.* №11-12. С. 179

**Борис Кутенков.** «Вынимать из души печаль...». *Алексей Кубрик. Внимательный лес.* №9-10. С. 190

**Вячеслав Лопатин.** Путеводитель для богатых. *В. Н. Шараев. Волга. Путешествие от Москвы до Астрахани: Путеводитель.* №1-2. С. 193

**Андрей Пермяков.** Новые региональные литературные издания. «*Вещь*» (Пермь), «*Графит*» (Тольятти) и др. №1-2. С. 184; Хорошая книга плохая книга хорошая книга плохая книга. *Юрий Цветков. Синдром Стендала; Татьяна Мосеева. Близость.* №3-4. С. 191; «...Я – зря? не зря? – понадеюсь на читательскую интуицию». *Д. Веденяпин. Стакан хохочет, сигарета рыдает.* №5-6. С. 171; Марафон начинается после тридцатого километра. *Тариэл Цхварадзе. «Когда молчать нельзя уже»; Александр Самарцев. «Конца и края».* №9-10. С. 193; Вычитание времени. *Д. Тонконогов. Один к одному; А. Дьячков. Игра воды.* №11-12. С. 180

**Анна Сафронова.** Восхитительные зигзаги. *Игорь Савельев. Зевс.* №11-12. С. 190

**Елена Сафронова.** Союз Евтерпы и Харона. *Ольга Дернова. Человек; Борис Кутенков. Не разрешённые вещи.* №1-2. С. 194

**Станислав Секретов.** «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной...». *Антон Ерхов. Горизонт.* №9-10. С. 202

**Иван Соколов.** Яркое впечатление. *Александра Цибуля. Путешествие на край крови.* №5-6. С. 170

**Сергей Трунев.** Жизненные траектории фигур разума. *Евгений Стрелков. Фигуры разума: Истории о науке.* №3-4. С. 200; Армия литераторов в параллельной провинции. *Провинция у моря – 2014. Сборник произведений участников IV Международного арт-фестиваля «Провинция у моря».* №1-2. С. 188; Вокруг Китая. *Игорь Сорокин. Маленькие стихи для неторопливого чтения.* №7-8. С. 233; Конформизм и нонселекция. *Нижний Новгород: литературно-художественный журнал.* 2014. № 1, 2, 3. №9-10. С. 185

**Андрей Фамицкий.** Рассуждение о птице. *Надя Делаланд. Сезонные раскопки акведука.* №7-8. С. 231; И ужасное будет прекрасно. *Феликс Чечик. ПМЖ.* №9-10. С. 198

**Сергей Шиндин.** Отраженные в ста зеркалах... *Акмеизм в критике. 1913–1917 / сост. О.А. Лекманова и А.А. Чабан; вступ. ст., примеч. О.А. Лекманова.* №1-2. С. 199

## КИНООБОЗРЕНИЕ

**Иван Козлов.** Вершины и/или бездны. «*Прощай, речь*» (реж. Жан-Люк Годар), *Ида* (реж. Павел Павликовский), *Левиафан* (реж. Андрей Звягинцев). №1-2. С. 202; Две провинции и одно будущее. «*Испытание*» (реж. Александр Котт), «*Малыш Кенкен*» (реж. Брюно Дюмон), «*Вычлитель*» (реж. Дмитрий Грачев). №3-4. С. 202; Вожди, художники и владельцы отелей – кому на экране жить хорошо? «*Уильям Тернер*» (реж. Майк Ли), «*Зимняя слячка*» (реж. Нури Бильге Джейлан), «*Исход: Цари и боги*» (реж. Ридли Скотт). №5-6. С. 182; Слабые стороны сильных и наоборот. «*Охотник на лис*» (реж. Беннетт Миллер), «*Одержимость*» (реж. Дэмьен Шазелл), «*Процесс*» (реж. Константин Селиверстов). №7-8. С. 238; Секс, смерть и политика. «*Пазолини*» (реж. Абель Феррара), «*Добро пожаловать в Нью-Йорк*» (реж. Абель Феррара), «*Медленный Запад*» (реж. Джон Маклин). №9-10. С. 206; Сказки Энского леса. «*Страшные сказки*» (реж. Маттео Гарроне); «*Багровый пик*» (реж. Гильермо дель Торо); «*Убийца*» (реж. Хоу Сяосянь). №11-12. С. 194



**Редколлегия журнала:**

Анна Сафронова  
Алексей Александров  
Алексей Голицын  
Алексей Слаповский  
Олег Рогов

Подписано в печать 14 декабря 2015 г.  
Журнал отпечатан в типографии  
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:  
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:  
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.